

ISSN 0132-0637

Октябрь

1998

Октябрь

9 1998

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

9

1998

СЕНТЯБРЬ

Общественный совет: Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ,
А. ВАРЛАМОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛ-
ГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Д. КУГУЛЬТИ-
НОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, А. НАЙМАН, О. ПАВЛОВ,
Л. САРАСКИНА, Л. ФИЛАТОВ, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е :

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Анатолий АНАНЬЕВ. Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России. Книга вторая	3
Олег ПАВЛОВ. Великая степь. Рассказы из «Степной книги» ...	54
Леонид ФИЛАТОВ. Лизистрата. Народная комедия в двух действиях на те- мы Аристофана. <i>Вступительная беседа с автором</i>	64
Вячеслав ПЬЕЦУХ. Два рассказа	94
Григорий ПЕТРОВ. Родословное древо. Рассказы	108

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Александр ЯКОВЛЕВ. О, Сахалин	128
---	-----

ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

С. А. ТОЛСТАЯ.

Моя жизнь. Предисловие В. И. Порудоминского. Подготовка текста, публикация и примечания О. А. Голиненко и Б. М. Шумовой, научных сотрудников ГМТ **136**

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Кирилл КОБРИН.
Два юбилея **178**

Записки литературного человека

Вячеслав КУРИЦЫН.
Малахитовая шкатулка–3 **181**

Мелочи жизни

Павел БАСИНСКИЙ.
Красное и белое **187**

В несколько строк

Рубрику ведет Б. ФИЛЕВСКИЙ **189**

Распространением журнала «Октябрь» в зарубежных странах занимаются государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» и акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах.

Адреса фирм-агентов «Науки-экспорт» вы можете узнать
по факсу: (095) 334-74-79, 334-71-40,
по телефонам: (095) 334-76-10, 334-70-49.

Адреса фирм-агентов А/О «Международная книга» —
по факсу: (095) 238-46-34,
по телефону: (095) 238-49-67,
по телексу: 411160.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

И. Н. БАРМЕТОВА (заместитель главного редактора),

И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (зав. отделом прозы),

А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ (зав. отделом критики),

И. А. БРЯНСКАЯ (публицистика), **В. В. ПУХАНОВ** (проза).

Технический редактор **Т. С. Трошина.**

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Сдано в набор 03.08.98. Подписано к печати 26.08.98. Формат 70x108^{1/16}.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.—отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.

Тираж 9340 экз. Заказ № 2499. Цена 16 руб. 50 коп.

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3046 экз.

Адрес редакции: 125124, Москва, А–124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор — 214–62–05, заместитель гл. редактора — 214–63–64, ответственный секретарь — 214–34–44, отдел прозы — 214–51–68, отдел поэзии — 214–63–64, отдел критики — 214–71–34, отдел публицистики — 214–60–24.

Телефон для справок: 214–31–23.

E-mail oktybr@orc.ru

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А–137, ул. «Правды», 24.

© «Октябрь». 1998. Электронная версия журнала в: Русский клуб <http://russia.agata.com>.

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России

КНИГА ВТОРАЯ

LVII

Жизнь природы, пока человек не вмешивается в нее со своим видением бытия, развивается гармонично, в соответствии с естественными законами; жизнь людских сообществ, строящаяся по произволу поводырствующего разума монархов, президентов, премьеров, вождей и «отцов народов», олигархических кланов, жаждущих власти, напротив, вроде бы не только не подпадает под понятие гармонии, но кажется прямо-таки сотканной из непримиримых (хотя, впрочем, тысячелетиями уживающихся вместе) противоречий, как если бы Творец, создававший ее (на чем настаивают теологи, да и недалеко отходят от них в своих «реалистических ревностях» историки и философы), и в самом деле не знал, что и для чего творит — ради забавы, насмешки или благоденствия; да, жизнь людских сообществ, если верхоглядно или со специальной (тронноисходной) заданностью смотреть на нее, действительно-таки не подпадает под понятие гармонии, и остается загадкой, каким образом человечеству все еще удается сохранять некую, пусть даже бутафорскую вроде бы целостность в мире бесконечных раздоров, войн, нашествий, духовных и экономических экспансий, направленных на истребление наций, народов и государств, наконец, в мире религиозных междуусобиц, кровавого дележа богатства, славы, власти и всеглобального порабощения. Похоже, мы сами создаем себе невыносимые условия общественных отношений и общественного бытия и затем, вместо того чтобы остановиться, оглядеться, реалистически поразмыслить и изменить их, стойчески приспособляемся (личностями, народами, государствами) к ним; я говорю «мы», потому что никогда бы кучка прославленных теперь иконостасных и пьедестальных поводырей не смогла бы сделать ничего противоестественного и непотребного для личностей и людских сообществ, если бы на то не было их молчаливого согласия, время от времени подменявшегося либо вяло текущим недовольством, выливающимся в обыкновенное житейское брюзжание, либо в бунты и революции, о которых уже было сказано, что это всего лишь пузыри, вскипающие на бурлящем пространстве веков и оставляющие в лучшем случае (и большей частью недолговременные) оспенные следы на лице нашей то ли развивающейся, то ли угасающей уже, что, возможно, ближе к истине, земной жизни; в целом же, если скользким взглядом смотреть на прошлое и настоящее, как это делают иерархи знаний, наши академические умы, подпитываемые тронной заданностью, а вслед за ними и мы, тянущиеся из навязанной нам тьмы невежества к свету, то вполне можно прийти к выводу, что и у человечества, как

и у природы, есть своя гармония развития, и она, как ни странно прозвучит такое словосочетание, заключена в уживании двух противоборствующих начал: власти и бесправия, господства и рабства, барства и нищеты, — гармония, которая, с одной стороны, предельно проста, потому и действительна, ибо базируется не на реализме творившегося и творящегося, но на эмоциональном восприятии и толковании нагнетаемых событий, а с другой — именно предельная простота этой формулы (ведь нас приучали во всем видеть сложности и преодолевать их) как раз и встает барьером (психологическим барьером) на пути ее постижения. Нас сбивает с толку еще и то обстоятельство, что постфараоновские правители, особенно начиная с отсчета новейшей истории, все более и более активизировались в поисках истоков древнеегипетской цивилизации, как если бы она и в самом деле дала миру не систему господства и рабства, а сущее благодеяние, стоящее даже вроде бы выше идиллических («славные Гипербореи») отношений людей; постфараоновские правители, надо полагать, были, конечно же, посвящены в действительность фараоновской формулы обмана, но, несмотря на свою посвященность, тратили новые и новые средства на вскрытие пирамид, на раскопки древних городов, особенно дворцов, гробниц, рассеянных по западно-азиатскому и северо-африканскому побережьям Средиземного моря и занесенных песками и пылью эпох, и в этой устремленности, думаю, двигал их и продолжает двигать куда больший интерес, чем только интерес к пращурному прошлому человечества. По крайней мере в ученом мире с его фундаменталистскими выкладками и творениями, отдающимися достаточно устойчивым и громким эхом в народных массах, готовых принять все, что изготавливается во дворцах, храмах и подается на просветительский стол познаний, имеют хождение две версии непрекращающегося (на определенном пяточке Земли, словно нигде больше не возникало никаких цивилизаций, и людские сообщества, жившие в альтернативных хищничеству социально-нравственных условиях, не оставили никаких следов своего пусть, скажем, не идиллического, но близкого к подобному типу общественных отношений существования) археологического бума, по одной из которых, считающейся более прямой и откровенной, в какой-то мере даже противостоящей вроде бы официальному мнению, — правители ищут истоки утраченного ими (сорок веков безмятежного фараоновского господства) былого могущества, то есть благодатный для тронов «век Богов», дабы вернуться в него, в эту безмятежно-беспробудную возможную царствования, разумеется, в новых, теперь уже глобальных масштабах (версия сия, однако, опять же не состыковывается со здравым смыслом, ибо фараоновская державность с помощью насажденного повсюду престольного чужеродства и внедренной чужеродной духовности уже почти вплотную подошла к заветной цели); по другой, более способной удовлетворить как запросы дворцов, так и потребности храмов, — ученые просто-напросто ищут истоки цивилизованного бытия народов, истоки культуры, научного и технического прогресса, попутно, конечно, исследуя и истоки власти, истоки государственности, разумеется, как блага, а не как насилия, обручно сковавшего нас в своих рэкетирских объятиях (однако и в правдивости этого суждения возникают сомнения, поскольку поиски ведутся опять же преимущественно на том же вышеназванном пяточке присредиземноморской земли), и тут невольно хочется сказать, а не стоит ли за сим сугубо научным будто бы бумом нечто иное, чем только познание древности, то есть нечто от целенаправленной тронной заданности, исходящей от увековечения своего и так уже почти увековеченного господства, от пресыщенности дворцовой (элитной, олигархической) жизни на ниве порабощения масс, и что можно было бы охарактеризовать (соотнеся именно со стремлением власти к бессмертию) как четко выраженное желание заключить в перманентно-необратимое русло изначально заложенную в жизнь людских сообществ фараоновско-державную формулу обмана. В ученом мире принято полагать (в противоположность, очевидно, насильственному ходу развития исторических событий), что так ли, иначе ли, но все, что происходило и происходит в мире человеческого бытия, и прежде всего в устройстве общественных отношений, является прямой или косвенной стихийной (естественной) потребностью в жизнедеятельности

людей, и этот оправдательный, вернее, оправдывающий свершения кумиров-поводырей тезис, хотя он ни в какой мере не согласуется с действительностью, но, подаваемый как некий научно обоснованный, не подлежащий будто бы сомнению постулат мудрости, оказывал и продолжает оказывать воздействие не только на умы историков и философов, но и через их труды на общее наше мироустройство. В последние два столетия появилось особенно много трудов, не просто констатирующих, но прямо-таки воспевающих этот стихийный ход развития. Движение от реалистического восприятия и толкования бытия к его символическому восприятию и толкованию (что имеет свою очевидную тронно-заданную подоплеку) связывается не иначе как в узел словно бы непредсказуемых, часто даже необъяснимых людских потребностей; объектом же внимания здесь главным образом берется культура как самая, можно сказать, доступная (зримая, удобная) для обозрения натура, и вся суть такого «добровольного» перехода из состояния ясности и объективности в понимании мира в состояние неких туманных, мистических представлений о нем — суть эта трактуется как поиск новых форм выражения (или проявления) духовного потенциала народных масс. Если бы люди были привидениями на земле, это одно, но ведь все мы — реальные существа, живем в реальном мире вещей и явлений, и без реального восприятия этого мира жизнь наша постепенно, но верно может превратиться (да во многом и превращается уже не без поощрительных мер правителей или, скажем помягче, заинтересованных в этом властных олигархических кругов, структур или кланов) в жизнь особой-роботов, жизнедеятельность которых заключена лишь в том, чтобы кормить, обслуживать и ублажать властей предрешающих; по крайней мере если такое сравнение не во всем приемлемо, то в любом случае оно достаточно точно отражает ход человеческой истории, начиная с тех времен, когда древо власти впервые, отпочковавшись от древа общей народной жизни в самостоятельную ветвь развития, принялось вырабатывать свои жесткие к тем, с кого собиралось теперь высасывать соки, закономерности, и каким бы отсутствием достоверных источников мы тут ни прикрывались, с каким бы скепсисом ни относилось к более или менее правдоподобным версиям, основанным хотя бы и на простой, человеческой, житейской логике, но в этой объективно будто бы складывающейся неясности все же есть обстоятельство, которое нельзя отрицать, ибо не настолько же людские массы были неразумными в сравнении с кумирами-поводырями, пьедестально заполонившими наши города и иконостасно населившими храмы, чтобы добровольно отказаться от реалистического восприятия и толкования своего бытия в пользу неких мистических (символических) представлений о нем. Вполне очевидно, что в естественный ход развития человечества, а исторический путь людских сообществ именно так и начинался, чего не оспаривают даже самые ярые сторонники троннопроштампованных версий, вторглось насилие (не только человека над человеком, но и человека над природой), и все зло на безмерном пространстве нашего исторического бытия имеет, о чем можно сказать с уверенностью, одну исходную точку отсчета, которая порождена произволом разума и насилием; любой наблюдательный историк или философ, если бы задался целью добраться до истины и отсек бы от себя самую возможность хоть какого-либо искушения барским достатком, иконостасной или пьедестальной славой, влиянием и властью (хотя бы и над своими коллегами, что отчетливо проявляется и среди нынешнего поколения ученых мужей), мог бы заметить, что в противоборстве добра и зла, сих вечных исходных жизни, как это пытаются со всех вещательных кафедр и амвонов внушать нам, никогда не было и нет переменных успехов, но на протяжении всех прожитых тысячелетий и особенно начиная с нового отсчета времени, то есть с Рождества Христова, зло постоянно и во всем одерживает верх, им уже сегодня, по сути, заполонена вся наша жизнь, к судьбе какого бы народа мы ни обратились (главным образом страдали и страдают коренные жители земель, подпавших под диктат престольного чужеродства), и если мы, упоенные техническим прогрессом, достичь которого, кстати, человечество могло бы и при иных, альтернативных хищничеству условиях бытия, до сих пор не способны разглядеть этого, то хотя бы путем самых несложных логических рассуждений, что из ни-

чего ничто не рождается и не расцветает, должны прийти к выводу, что у всей этой безысходно-катастрофической ситуации, сложившейся в результате исторического хода развития людских сообществ, есть изначальная величина, которая как раз и заключена в простейшей и традиционнo, как уже говорилось выше, игнорируемой нами фараоновской формуле обмана.

LVIII

Отказавшись от реального восприятия и толкования жизни в пользу мистических представлений о ней, человечество, по существу, совершило тот крутой поворот в историческом (естественном) ходе развития, который и вывел нас на тропу хищнических отношений личностей, наций, народов и государств; правители-поводыри (родовые старшины, вожди племен и подручное им шаманство), оказавшись впереди людских масс, довольно быстро осознали преимущество своего поводырского положения и, не задумываясь о трагизме, на какой обрекают грядущие поколения, повели доверчивый простой люд по этой тропе раздоров, разорений и войн, совершенствуясь — из столетия в столетие, из тысячелетия в тысячелетие — во власти, в притеснениях и насилиях, без которых нет и не может быть порабощения, и возводя в ранг естественных будто закономерностей узурпированное у народа (народов) право повелевать всем и вся на Земле. Результат такого исходного узурпаторства известен — цивилизация по-древнеегипетски, державно придавившая нас, в которую, однако, словно по некому злomu року, мы верим как в символ грядущего благоденствия и ждем, ждем, ждем от этого символа реального воплощения надежд; но воплощения нет, а мы, пребывая в обмане, не только не замечаем, но и не хотим замечать его. Почему такое происходит, откуда у нас сия слепота, чреватая нескончаемыми бедами, и есть ли у этой слепоты исторические корни, от которых она подпитывается, и, наконец, в чем целесообразность или нецелесообразность сего исторического (судьбоносного) явления, продолжающего и сегодня активно воздействовать на всю нашу общественную (политическую, социальную, нравственную) систему бытия? Ни официальная, ни неофициальная историографии не дают ответа на этот вопрос; в них лишь упоминается (как и в случае с переходом от бесклассового к классовому обществу), что да, такая переориентация в восприятии и толковании бытия имела место, что реализм отступил, то есть не мог не отступить под напором таких фундаменталистских религий, как буддизм, иудаизм, христианство, мусульманство, которые, в свою очередь, выросли будто бы из потребностей масс, нуждавшихся в организующих началах нравственного (духовного) порядка, словно массам этим мало было диктата тронного и они жаждали диктата церковного, и что все естественно и закономерно в этом процессе, как естественно и закономерно вообще все-все, что совершалось и совершается в рамках великой (по древнеегипетскому первородству) и хищнической (все по тому же первородству) цивилизации. Наверное, именно здесь следует заметить, что ни к чему так не приложима изошренность человеческого ума в поисках доказательств недоказуемого, как приложима она к истории, которая (в писаном своем варианте) представляет собой лишь нагромождение правдоподобий, должных вроде бы представлять правду, но несовместимых с ней точно так же, как действительность реальная с действительностью в изложениях ее современников, обычно несущих на себе либо печать личности, либо сил (кланов), стоящих за ними; ведь во все времена повседневная жизнь людей никогда не совпадала с ее героизированным толкованием, и я не думаю, чтобы те древние летописцы, трудами которых закладывался фундамент будущей исторической науки, как и шедшие за ними поколения ученых мужей, чьи работы составляют сегодня фонд нетленной классики (Сократ, Платон, Аристотель), — чтобы они не знали или не догадывались, насколько и ради чьих интересов отклоняются в своих писаниях от истины, а чтобы избежать упреков (в данном случае в тронноугодничестве), выработали за века два аксиоматичных прикрытия (успешно, впрочем, применяемые и ныне), с помощью которых все необъяснимое в истории, то есть троннозасекреченное для масс, предстает и сегодня в глазах общественности незыблемым и завершенным. Так что же представляют собой эти прикрытия? К первому я бы отнес понятие «цивилизация», ко второму — понятие естественности

(стихийности) происходящих процессов. Церковники, к примеру, чтобы примирить простолюдинов с угнетающей их действительностью, объявляют все творящееся на Земле либо промыслом Божиим, либо происками дьявольских сил (чем не аксиоматичные прикрытия?), тогда как историки и философы, стремящиеся добиться тех же результатов, но уже среди мыслящих людей, обычно перекладывают бремя оправданий либо на поступательный ход цивилизации, либо на проявление стихийных начал в народных массах, что по воздействию равнозначно или почти равнозначно вышеприведенным церковным постулатам, либо одновременно пускают в дело оба прикрытия, которые, усиливаясь, то есть дополняя друг друга, вырастают до значимости непрерываемых аргументов. Мы воспринимает цивилизацию (разумеется, после тысячелетних определенных, целенаправленных внушений) как высшее достижение человеческого разума, как итог бессмертных усилий пьедестально-иконостасных кумиров-поводырей, возводивших и продолжающих возводить троны и совершенствовать доведенную уже, по-моему, до крайнего совершенства (до высот беспредельного рэкетирства) государственность как неизбежную основу общественного мироустройства, не задумываясь даже над тем, что было первичным: классовое расслоение людей, открывшее путь к вратам цивилизации, вратам всеобщего и поголовного обмана, или, напротив, изначально явилась цивилизация, первым и наиважнейшим достижением или плодом которой как раз и следует считать появление богатых и бедных, господ и рабов. Если первичным было все же расслоение, что, полагаю, вернее приближает нас к истине, то причину всех наших вековых неурядиц и бед, связанных с тропой хищнических отношений, на какую поставили нас наши пращурные кумиры-поводыри, нужно искать в провальном для истории, то есть как бы вычеркнутом из списка исследуемых переходном периоде от бесклассового общества к классовому, когда в жесточайших, надо полагать, схватках закладывались все негативные основы будущего нашего бытия, получившие первое реальное или, сказать иначе, целостное, законченное воплощение в фараоновской системе господства и рабства, которая затем и выплеснулась на просторы обетованных земель. Система эта, как и всякое творимое зло, требовала прикрытия, и таким прикрытием явилось наполненное благородным смыслом понятие «цивилизация». Ведь мы и сегодня живем в том же мире господства и рабства, в каком пребывали народы Древнего Египта, и оттого, что мироустройство это теперь называется цивилизацией, в нем не произошло никаких кардинальных перемен; реальная жизнь людей оказалась всего лишь подмененной (в нашем восприятии) символами надежд и упований, а если откровеннее — обманом, который отработывался в веках как аксиоматическое прикрытие поработительских деяний правителей и который привычно подается теперь как естественная (предначертанная, если по-церковному) закономерность развития общественных отношений и общественного бытия. Но, к сожалению, мы ни разу не задумывались над тем, что если живем в цивилизованном мире, то должны же хоть в какой-то мере пользоваться плодами, то есть результатами, этого бытия; но те результаты, те бесконечные страдания и беды, беспросветная нищета и беспробудное бесправие, коими из века в век сопровождается наше земное пребывание, говорят лишь о том, что реальная жизнь с ее фараоновской заданностью — как она текла прежде, то есть до того, как ее благозвучно окрестили цивилизацией, так протекает и сегодня, усиливаясь в своей стержневой основе господства и рабства, и все пропагандистские усилия с привлечением так называемых «научных» обоснований, призыванные обелить и облагородить мир хищнических — от древнеегипетского первородства — отношений, если и способны внести какие-либо изменения в реальную жизнь людских сообществ, то лишь в наше представление об этой жизни, но не в саму жизнь. Цель цивилизации как реально воспринимаемого бытия — достижение общего блага; цель реальной жизни, направляемой иконостасно-пьедестальными кумирами-поводырями, — достижение мирового господства (о чем прямо говорит всемирная история царств и царствований); и хотя благопроводящая цивилизацией цель до сих пор так и остается благопроводящей, а цель реальной жизни, то есть стремление к мировому господству, близится уже почти к полному завершению, но ученые мужи как прошлых веков, так и новейшей истории, словно сговорившись, старательно обходят это более чем странное явление нашего общего бы-

тия, этот, по существу, самый сложный вопрос истории, и вместо уяснения истины лишь погружаются в разработку все новых и новых «научных» выкладок, чтобы поддержать тающее величие фараоновской (в облагороженных рамках цивилизации) заданности жизни.

ЛИХ

Между пращурными княжескими дружинами, оснащенными мечами и копьями, и нынешними армадами войск, способных одновременно действовать на суше, на воде, под водой и в небе (вплоть до космических, звездных войн, программу которых усиленно разрабатывают стратеги нынешних мировых супердержав), лежат века, помеченные бесконечными пиратскими налетами, войнами, нашествиями, в которых разрабатывались и тактика, и стратегия этих противостоительных человеческому разуму (нормальной человеческой жизни) разорительно-поработительских деяний, и одновременно, прямо-таки с завидным ускорением, шло совершенствование оружия истребления людей, технологий его изготовления, и все это, представляющееся нам (с точки зрения исторического процесса) великим или даже величайшим достижением цивилизации, вызывает чувство гордости за науку, за народ, сумевший дать миру непревзойденных светил знаний, наконец, за державу, которая не только способна теперь защитить свои политические, экономические и духовные интересы, но и диктовать, как это делали в прошлом правители Древнего Египта, Афин, Рима, владычицы морей Великобритании, а теперь делают правители Соединенных Штатов Америки, свои условия бытия другим народам, странам и континентам. Мы ликуем при виде военных парадов, нас охватывает болезненное, да, почти болезненное чувство превосходства, близкое к богоизбранности, и мы готовы прямо с площадей, как и в пращурные века, несметными полчищами двинуться по бедам чужих закабаляемых нами народов, искренне полагая, что являемся сеятелями и хранителями великой — от древнеегипетского первородства — цивилизации. В сущности же, мы лишь уподобляемся пращурам, зомбированным на кровавые побоища, ибо ведь ни одно нашествие не начиналось во имя зла, но всегда во имя добрых и только добрых деяний (вспомним хотя бы Атилу с его экологической программой очищения земли от «живых могильников», итогом воплощения которой явились пепелища от Днепра до Рейна, или Гитлера с его идеей Lebensraum, то есть расширения жизненного пространства для немцев, в результате воплощения которой вновь покрылось пепелищами городов и сел все то же пространство от Рейна до Днепра и Волги); если верить летописцам, историкам, философам, теологам, то ведь и крестоносцы ходили к Гробу Господнему не разрушать и сеять смерть, а утверждать чистоту «светлой веры», и Александр Македонский нес на остриях мечей и копий лишь прогрессивную греческую культуру дремавшим в неге, барстве и нищете азиатским народам, как и римские цезари, заливавшие кровью Европу, оправданы (все теми же историками, философами, теологами) тем, что приобщили варварские европейские племена (германцев, франков, бритов) к миру античных ценностей. Цивилизация, как мы воспринимаем ее сегодня, — это прежде всего движение человечества от дикости и варварства к веку просвещения, к эпохе прогресса и всеобщего процветания; это — исторический путь развития людских сообществ (путь становления и развития общественных отношений и общественного бытия); но если это так, если мир действительно устремлен к созданию цивилизованных отношений, то не странно ли, что движение к столь желанному идеалу всеобщего благоденствия лежит через войны, кровь, страдания и порабощение, то есть через этапы нарастающего в объемах и значимости насилия людей над людьми, через бесконечный передел богатств, славы, власти, через религиозный фанатизм народов, принесший и приносящий все те же неисчислимые беды? Такой ход истории вряд ли можно назвать движением к цивилизованным отношениям, но скорее движением к захвату мирового господства (от царства к царству, от империи к империи, от халифата к халифату, о чем свидетельствуют как древнейшая, так и новейшая истории, включая и наше двадцатое столетие). Однако из дворцов и храмов неустанно твердят нам, что и армии с их возможностями ведения действий (не только в масштабах стран, но и в масштабах континентов), и

оружие массового уничтожения людей, чреватое, если пустить его в дело, всемирной необратимой катастрофой, и вышколенный офицерско-генеральский состав (сословие, не производящее ни материальных, ни духовных ценностей, но испокон пользующееся привилегированным положением в обществе), — что все это необходимо, с одной стороны, для защиты интересов государства и народа (что весьма относительно, ибо в конечном итоге именно простолюдины, а не правители и правящая элита кладут жизни на алтарь отечества, и именно на простолюдинов перекладывается вся тяжесть военных и послевоенных невзгод), а с другой — для некоего будто бы сдерживания агрессивно настроенных диктаторов и народов. Тут следует заметить, что агрессором чаще всего оказывается не тот, кого называют, а тот, кто называет, чтобы прикрыть свое иногда прямое и откровенное диктаторство, как поступают сегодня правители известной заокеанской державы; в мире, который мы называем «цивилизованным», действует, по существу, как и в эпоху варварства, все то же право сильного, то есть какова армия, каков арсенал смертоносного оружия, такова и мера господства в мировой иерархии поводырствующих («богоизбранных») личностей и поводырствующих («богоизбранных») держав. Выходит, что отнюдь не цивилизация с ее благородными целями всеобщего благоденствия (для чего, разумеется, нужны не силовые структуры насилия и подавления, но всего лишь взаимопонимание и взаимоуважение личностей, народов, государств), а стремление к мировому господству побуждает правителей к милитаризации своих держав, к созданию военных блоков, что откровенно (хотя народы или традиционно не видят, или столь же традиционно не хотят видеть) противоречит даже просто самому понятию «цивилизация». Милитаризация осуществляется под восторженный бум «технического прогресса», патриотизм, раздуваемый на осознании своего превосходства, подается как взлет национальной духовности, и все это, вместе взятое, вырастает в глазах обманутых (одураченных) простолюдинов до свершений величайшей исторической значимости. Так было в прошлом, так происходит теперь. Однако технический прогресс и духовное состояние общества хотя и должны вроде бы (по идее, по логике жизни) находиться в гармоничной зависимости, но факты истории, как и факты текущей действительности, сколь ни парадоксально прозвучит это, говорят о другом; они говорят, что чем выше поднимается планка технического прогресса (особенно в военной сфере), тем ниже опускается планка духовности (или, во всяком случае, пребывает в стагнационном — от времен варварства — положении); и это неудивительно, ибо человечество на всем протяжении своего исторического существования только и делало, что, не успев выйти из одной эпохи войн и разорений, тотчас вступало в новую, столь же наполненную страданиями и кровью; предки наши, ведомые всемирно понятными теперь иконостасно-пьедестальными кумирами-поводырями, проходили, если так можно выразиться, школу хищничества, а не школу (пусть и на начальных основах) цивилизованных отношений; они развращались поводырско-ненаказуемой вседозволенностью убивать, грабить, насильничать и, пронеся через века этот урок разврата, сегодня мало чем отличаются в намерениях, поступках, в ликующих предвкушениях побед от своих пращурных предков. Конечно, я понимаю, что то, о чем пишу здесь, может получить превратное толкование, будто технический прогресс есть бич духовности, что он противопоставлен естеству жизни и что если бы намерения и деяния людских сообществ, сообразуясь с эволюционной гармонией бытия, не выходили за рамки естественных закономерностей, то и не было бы разрыва между духовными и материальными потребностями человека; что ж, в этой формуле есть что-то реалистическое, что могло бы поставить человечество на стезю благоразумия, а не на стезю хищничества, по которой идем, разделяясь на господ и рабов и упиваясь поработительством и властью; если бы ученые мира, стимулирующие технический прогресс, работали не на могущество тронов (прежде всего в военной сфере), а на удовлетворение насыщенных (житейских) потребностей народа (народов), то никому бы и в голову не пришло противопоставлять технический прогресс (прогресс от целей цивилизации, а не от целей мирового господства) состоянию или уровню духовного развития как отдельных личностей, так и людских сообществ; человечество жило бы в гармонии общих интересов, а не в гармонии ин-

тересов тронов, интересов поводырствующих особ, и такое торжество жизни могло бы уже не символично, не как прикрытие преступных против народа деяний правителей, но как реалистическое бытие с неподложными общечеловеческими ценностями называться великой цивилизацией. Да, человечество жило бы в правде, а не во лжи, как теперь, и не надо было бы искать никаких аксиоматических прикрытий для творимых хоть народом, хоть правителями деяний. Но ностальгия ностальгией, а реальная история требует и реального подхода к ее исследованию, и в этом плане можно лишь с сожалением констатировать, что технический прогресс, обозначенный вехами великих и величайших открытий, ориентированных на приумножение могущества тронов (в данном случае власти вообще), что технический прогресс этот, работающий на достижение мирового господства нынешними постфараоновскими — от древнеегипетского первородства — правителями (главным образом правителями от «золотого тельца»), тоже находится хотя и в своеобразной (от стержня поводырской вседозволенности), но гармонии с нравственным (духовным) или, вернее, безнравственным (из той же категории духовности) состоянием общества. Эта гармония — гармония варварства, ибо, заменив мечи, копья на автоматы, гранатометы, ракеты с ядерными боеголовками, кумиры-поводыри не только не отказались от своих зловещих притязаний на мировое господство, но словно хищники (а они и есть хищники), почуявшие близость добычи, обратили все имеющиеся в их распоряжении государственные службы, включая религию, культуру, искусство и особенно всезомбирующие средства массовой информации, на достижение заветной цели. Мы удивляемся тому, что человечество в духовном плане ни на шаг не продвинулось вперед со времен дикости и варварства и готово совершать и совершать самые массовые за всю свою историю и самые непостижимые в смысле дикости и варварства преступления (фашистские и коммунистические лагеря смерти, рвы, заполненные человеческими телами); но разве деяния нынешних правителей не повторяют в стержневой основе поработительские деяния своих пращурных предтеч, и о каком прогрессе можно говорить, сравнивая эпохи ушедшие с эпохой текущей действительности, если измененной оказалась лишь технология убийств, но не суть и не цель этого варварского деяния?

LX

Нет, человечество никогда не жило в рамках провозглашенной цивилизации, а было только ослеплено и очаровано ею, словно миражем, возникшим на вселенском пространстве веков, и творило лишь то, что продиктовывалось тронами во имя реальных благ для тронных особ и мнимых благ для народов. Понятие государственности как центрального звена цивилизации настолько (с наслоением столетий и тысячелетий) срослось с понятиями «власть» и «троны» (будь то монархические, президентские, премьерские, вождистские) и настолько укрепились чиновничьим аппаратом насилия (в дополнение к армейским и полицейским формированиям), то есть настолько приняло на себя надзирательные функции над доведенным до нищеты и невежества простым, безземельным и бесправным людом, что сегодня уже всякому даже не искушенному в делах политики человеку вполне очевидно, что формула «власть для народа» в общественном бытии давно и основательно подменена формулой «народ для власти», то есть, иными словами, не государство для защиты и обслуживания нужд народа, как это должно было быть согласно провозглашенному идеалу, а народ для обслуживания обсевших его со всех сторон чиновно-государственных или государственно-чиновничьих служб. Однако мы вновь и вновь повторяем, вернее, нас неустанно стараются убедить, что мы живем в цивилизованном мире, в котором аппарат насилия и зомбирования, то есть государственность со всеми ее структурами подавления политических, экономических и духовных свобод, есть наивысшая форма общественного бытия, и что все, что получает развитие в рамках этой государственности (в рамках обусловленных еще с древнейших времен кумирами-поводырями условностей), направлено на благополучие и повышение благосостояния людей. Армия, как уже говорилось выше, объявляется защитницей, то есть щитом и гордостью нации, на содержание которой, впрочем, тратится почти треть годового дохода всего государства, в то время

как этот «щит», эта армада войск, оснащенных самым современным оружием (на что затрачивается, может быть, самый дорогостоящий умственный, научный потенциал нации), в любой момент готова превратиться в агрессора и действовать со всеми вытекающими для подобных целей последствиями, и я спрашиваю себя: а совместима ли такая двойственность в применении войск с провозглашенными ценностями цивилизации? Нет, несовместима, ибо цивилизация в том толковании, в каком мы воспринимаем ее, предполагает постоянно совершенствующееся в своей гармонии движение ко всеобщему благоденствию, в котором, если придерживаться торжественно провозглашенных (и провозглашаемых ныне со всех вещательных кафедр) целей, возврат к прошлому, то есть к временам кровавого варварства — войнам, нашествиям, порабощениям, истреблениям себе подобных должен быть полностью исключен из общественной жизни людских сообществ. Но, как показывает история и что в еще большей степени подтверждает наша кипящая хищническими страстями действительность, войны и нашествия не только не прекратились, а, напротив, со сменой эпох лишь уплотнились или, вернее, участились в своей периодичности, а это может означать только одно, что фараоновская державность, однажды познавшая (через своих династических представителей) сладость безмятежного царствования на клочке нильской земли («век Богов», век безраздельного господства, растянувшегося на четыре тысячелетия и обозначившегося в истории стойбищем каменно-могильных пирамид), что фараоновская державность, выплснутая на просторы обетованных земель, так и не смогла (несмотря на общечеловеческую мечту о благоденствии, получившую воплощение в понятии «цивилизация») преодолеть в себе искушение наслаждаться властью и порабощением. Такова реальность, если безмиражно взглянуть на пространство прожитых нами столетий и тысячелетий. Такую же картину, связующую нас (по стержневой основе) с отгремевшим и осужденным вроде бы нами кровавым варварством, можно обнаружить и во всех других сферах нашей государственной, текущей вроде бы в рамках цивилизации жизни, и если мы не употребляем применительно к нынешнему мироустройству, которое именуем «демократическим» и провозглашаем чуть ли не самым совершенным за всю историю развития человечества, термины «господство» и «рабство», то это отнюдь не означает, что некогда укорененная фараонами Древнего Египта социально-нравственная несправедливость преодолена мировым сообществом, что народы получили наконец ту желанную, жившую лишь в понятии «цивилизация» свободу, которой терпеливо дожидались века, что личности сравнялись в правах с личностями, людские сообщества с людскими сообществами; однако действие иллюзий сохраняется лишь до тех пор, пока иллюзии эти не сталкиваются с реальной действительностью, а реальная действительность такова, что, сколько бы мы ни украшали ее понятиями «демократия» и «всеобщее равенство», она со времен именно фараоновской державности не претерпела или почти не претерпела в стержневой своей основе никаких изменений. Чтобы окончательно убедиться в этом, думаю, нет необходимости в каких-либо углубленных исследованиях, а достаточно лишь, обратившись к важнейшим сферам общественного бытия — политической, экономической, духовной, — приложить их реальное проявление к рамочно-провозглашенным идеалам, то есть к воображенному, миражному представлению о минувшем и текущем бытии, как сразу же станет очевидным, что человечество никогда не испытывало нужды в откатах к прошлому, ибо за века оно так и не смогло (во всех трех названных ипостасях) выйти за пределы унаследованной от древнеегипетских властителей системы господства и рабства. В сфере политической как велась, так и по сей день ведется борьба за власть и мировое господство. Чем она сопровождалась, известно; какие цели преследовали кумиры-поводыри, прикрывая свои деяния аристотелевским соблазном о стремлении к «общему благу», и продолжают (следуя Аристотелю, но уже не ссылаясь на него, а беспардонно попирая его ногами) преследовать нынешние, восседающие вроде бы уже не на монарших тронах, а в президентских и премьерских креслах, тоже известно; известно также и то, для чего поводырствующие постфараоновские правители (включая, разумеется, и нынешних) так усердствовали во всех минувших столетиях и тысяче-

летиях в создании могущественных армий и в оснащении их самым современным оружием убийства; все это, как показывает история, делалось для того, чтобы ни на десятилетие, ни на год, ни на день, ни на час не прерывалась, то есть не затихала начатая задолго еще до фараоновского господства (возможно, как раз в провальный для исторической и философской наук период классового расслоения) схватка за власть — сперва личностей, претендовавших на троны, затем ступенчато перешедшая в схватку государств за право повелевать регионами, и, наконец, в схватку за трон мирового господства, отчетливо проявившуюся теперь. Если это путь к цивилизованному миру, к цивилизованным отношениям между людьми и людскими сообществами, в чем нас упорно (и не в одном поколении) пытаются убедить представители официальных и неофициальных историографий и внесенные в дворцовые поминальники философы и теологи, то как же тогда мы должны относиться к реальности, которая (сколько бы мы в конце концов ни отрицали историческую правду) неотвратимо подводит нас к установлению над народами Земли единого (мирового) господства? Но если все же цивилизация является лишь миражем, на который, как на нечто благогрядущее, должно ориентироваться человечество, то обман не может более оставаться в тайне и все мы должны осознать эту постыдную для «просвещенных» людских сообществ горькую истину. Теперь давайте обратимся к экономической сфере в жизнедеятельности людей, в которой хотя современные светила знаний, защищенные профессорскими и академическими званиями от оппонентских нападков, решительно отделяют экономику от политики, заявляя, что заниматься экономикой — это одно, а заниматься политикой — это совсем другое и что совмещение сих означенных родов деятельности только вредит «общему делу» (при этом не уточняется, что имеется в виду под сим обобщенным термином), — в сфере экономической жизнедеятельности людей ведется все та же борьба за богатство и власть, как и в политике, только разве лишь иными методами или, вернее, на ином (смежном) историческом пространстве действий, и она, эта борьба, напрямую, именно напрямую, связана с борьбой политической, зависима от нее и подчинена ей; ведь обладатели богатств (капиталов), нажитых на закабалении и ограблении крестьянских масс, а затем и на эксплуатации этих же крестьянских масс, обращенных в фабрично-заводскую рабочую силу, — да, обладатели именно таким образом «нажитых» капиталов были и остаются первейшими претендентами на царские (президентские, премьерские в нынешнем толковании) троны, кандидатами в диктаторы и тираны, готовые править миром. История этой борьбы, как и история династических и силовых захватов царской власти (период, нареченный древнеегипетскими оракулами «веком героев»), уходит корнями в те пращурные времена, точнее говоря, все в тот же провальный для исторической и философской наук период классового расслоения общества, когда человечество (в лице, разумеется, кумиров-поводырей) впервые открыло для себя, что главным эквивалентом власти является земля и что тот, кто владеет ею, тот и держит в руках власть. Цари, полководцы захватывали территории, дворцовая элита — пахотные земли, обращая живших и трудившихся на этих землях людей в крепостных и рабов. Процесс этот не был естественным, как склонны подавать его историки и философы; пусть хотя бы и на примитивном уровне, но, по существу, над экономической деятельностью народов устанавливался определенный (долговременный) контроль; не столько обезземеленные личности, сколько обезземеленные народы ставились в кабальную зависимость от пришлых (чужеродных), поддерживаемых властями знатных особ и, таким образом, параллельно со светской, царской, то есть государственной, властью начала сплетаться олигархами от латифундий зловещая сеть экономического диктата, до такой степени обретшего сегодня силу закона (частная собственность, как и святость, неприкосновенна), что не только определенные личности или народы, но и церковь, то есть религиозные учения, призванные вроде бы защищать сирых, обделенных и бесправных, не решается приоткрыть истинную подоплеку этой божественно будто бы укоренившейся социальной несправедливости в жизни людских сообществ.

LXI

Возможно, и на мои рассуждения найдутся оппоненты, которые попытаются (в лучших традициях тронугодничества, традициях холопства перед любой властью) доказать, что в природе человеческого бытия есть чистая экономика и есть популистская, строящаяся на базе неосуществимых надежд и обещаний, коей пользуются обычно претенденты на власть, будирующие народ, дабы с помощью его получить желанный престол. У сторонников такого расклада есть, разумеется, свои, кажущиеся им вескими доводы. Чистая экономика в их понимании — это наука, занимающаяся лишь процессами организации производства и получения прибыли, и чем выше, организованнее производство, тем мощнее экономика и тем благополучнее и сильнее держава в проявлениях народной и дворцовой (главным образом дворцовой, как показывает история) жизни, а популистская, то есть миражная, замешанная на идеалах политической (классовой) борьбы, оборачивается лишь разорением и крахом для государства и нищетой и страданиями для народа. Такое суждение на первый взгляд представляется правомерным, и оно, как правило, принимается общественностью, чаще всего не осознающей (в силу своей экономической и политической безграмотности), за что и ради чего ратует; а ведь экономика в целом, сколько бы мы ни подразделяли ее на действенную и недейственную, — это та же власть, что и тронная, а экономическая наука — это наука о методах и способах экономического порабощения масс, и ее разве что условно можно делить на чистую, способную дать определенные (благотворные, надо полагать) плоды, и популистскую, то есть бесплодную, приводящую лишь к общему и глубокому разорению; однако как у той, так и у другой конечная цель одна — захват власти; и если в популистской цель эта предельно обнажена, так что вызывает неприятие даже у дворцовых особ, обычно старающихся отмежеваться от подобных откровений, то в так называемой чистой экономике цель эта скрыта за внешне благотворной будто бы деятельностью, и эта видимая пристойность, четко вписывающаяся во всеглобальный фараоновский обман, является, по сути, таким же непреходящим (абсолютным) злом, каким характеризуется власть тронов, власть вообще, приносящая лишь страдания массам благонравных и доверчивых простолудинов. Тут я должен, видимо, оговориться, что речь идет не просто о пересмотре понятий «жизнь», «власть», «цивилизация», «экономика», «духовность», то есть не просто о несоответствии их (по крайней мере в их нынешнем восприятии и толковании) реалиям исторической и текущей действительности; жизнь, должная вроде бы приносить людям удовлетворение и радость, на деле приносит лишь страдания, передающиеся от поколения к поколению; власть, должная вроде бы организовывать и направлять общественные отношения и общественное бытие на достижение благородных целей, насаждает лишь хищнические устои и открывает дорогу к раздорам, войнам, порабощению; цивилизация как некий свод благонравных законов, должных вывести людские сообщества из состояния варварства в состояние просвещенности, оказывается всего лишь глубочайшим обманом, миражем на пространстве тысячелетий, который возникает и тает по мере приближения к нему и вновь возникает и тает, возникает и тает, обращая народы в слепцов, не умеющих разглядеть и понять окружающую их реальную действительность; экономика, должная работать на процветание общества, работает, как показывает история, на процветание тронов и тронных особ, то есть на процветание дворцов и храмов, веками оставляя в нищете и бесправии обитателей хижин; точно в таком же несоответствии с реалиями бытия находятся понятия «духовность», «наука», «культура», «просвещение», но, повторяю, речь идет не просто о пересмотре этих понятий, коими традиционно обставлено и столь же традиционно объяснено наше земное существование, но — о глубочайшем противоречии, глубочайшем обмане, в каком оказалось (благодаря ложной значимости этих понятий) человечество и из которого не находит ни сил, ни возможностей, ни воли вырваться. Происходит это потому, что никто из историков и философов с древнейших, летописных времен и до наших дней не принимался всерьез за исследование этой проблемы, этого жизненного явления, напоминающего во многом

явление искаженного зеркала, ибо драматическая действительность минувших веков, как бы ни хотелось нам признавать это, до такой степени извращена (подслащена) иерархиями знаний всех поколений, что предстает сегодня не иначе как величественной одой поводырским деяниям; если все это перевести на язык образности, то можно сказать, что точно так же, как поэты мучительно ищут рифму, чтобы достичь благозвучия в своем поэтическом творении, политики, историки и философы, растянув свой поиск на столетия и тысячелетия, подбирали и сочиняли понятия, чтобы кровавую историю бытия обратить в восприятии людей в героизированную (пусть хотя бы даже просто в достойную человека) историю великих, судьбоносных свершений нашими пращурными поколениями. Чтобы жизнь, выстроенная по фараоновской системе господства и рабства, не страшила своей реалистической жестокостью и не наталкивала на крамольные размышления о несправедливости и неестественности такого мироустройства (просто-напросто властители опасались бунтарства масс), ее благозвучно поименовали цивилизацией, то есть народной, или, вернее, общенародной системой бытия, и, таким образом, барская (царская, поводырская) жизнь фараонов и бесправная, рабская жизнь людей разом оказались под одной общей крышей с благозвучным, а главное, приемлемым и даже лестным для простолюдинов (ибо их жизненные устои признавались — хотя бы и на словах — ведущими) понятием. В истории нет свидетельств, кто был первым провидцем, решившим облагородить фараоновскую державность понятием «цивилизация», но, думаю, потребовались века, чтобы это понятие, войдя в обиходный словарь ученых мужей, а затем и в обиходный словарь народов, наполнилось тем миражным, да, именно миражным содержанием, вытеснившим реальное восприятие реального бытия, каким мы пользуемся теперь, не подвергая ни малейшему сомнению его непрекаемо-канонную, то есть стержневую значимость в азбучном словаре охватившего нас всеглобального фараоновского обмана. Чтобы придать некую естественную будто бы благовидность социальным притеснениям и ограблениям народов, в азбучный словарь фараоновского обмана было внесено понятие «экономика». Оно нейтрально, в нем нет значения власти, как нет (в традиционном восприятии) даже намек на эксплуатацию человеческого труда, хотя известно, что только путем эксплуатации наживаются или, вернее, могут наживаться несметные капиталы, дающие право на господство и власть; нет намека ни на рэкетирство (в его нынешних разновидностях: государственного, банковско-промышленного или, сказать иначе, кланово-олигархического), которое, как и тронная власть, прикрываемая ныне понятием «демократия», является одним из инструментов хищнического мироустройства, ни на какой-либо силовой тиранский геноцид, проводимый против непокорных народов (какой, к примеру, проводится ныне западноевропейскими и заокеанской державами против славянства, и без того уже придавленного тысячелетним подобным прессом), — да, в этом миражном (из словаря фараоновского обмана) понятии нет вроде бы и намека на весь этот набор «отголосков варварства» (если придерживаться терминологии официальных историографий), оно нейтрально, и ученые мужи, особенно из новейшей истории, сумели столь плотно насытить его содержанием народной жизни, что никому и в голову не приходит назвать экономическую науку наукой узаконенного рэкетирства, геноцида или потогонной эксплуатации и обжужливания масс и тем более признать, что научная организация производства, то есть организация труда и внедрение новых технологий только в отвлеченном (миражном) представлении могут восприниматься как движение к общему благу, тогда как в реальной действительности это «общее» благо оборачивается лишь благом для олигархов от экономики и безработицей и все той же (если не большей) нищетой для простолюдинов. Тут следовало бы добавить, что ничто так не укореняет и не узаконивает классовое расслоение (достигшее уже всех мыслимых и немыслимых пределов между богатством и бедностью, магнатами-миллиардерами и простым трудовым людом), как экономическое господство и порабощение. Но мы, как ни печально сознавать это, находясь под влиянием азбучного (миражного) словаря всеохватного фараоновского обмана, настолько, повторяю, отторжены от реального восприятия реальной действительности, что давно уже разучились отличать не только правду от правдоподобия,

но и правду от лжи и, как слепые кутята, вываленные из мешка в воду, не можем понять (от ужаса совершившегося), кто и для чего сотворил над нами это изуверство.

LXII

И все же в термине «чистая экономика» есть что-то притягательное, что-то от возможного, что могло бы войти (всей своей основательностью), но не вошло в общественную жизнь людских сообществ. Не вошло не в силу некой утопичной заданности, как можно было бы предположить, опираясь на высказывания историков, философов, политиков, которые считали, как продолжают считать и теперь, что идиллическая система бытия — это всего лишь утопическая мечта человечества, которой никогда не суждено сбыться и которая так и останется мечтой, лишь будоражащей людское воображение («Да и были ли вообще «славные Гипербореи»? — восклицают эти исторические провидцы.— Может быть, их вовсе и не было, а существовал только вымысел о них?»), но потому, что хищническая цивилизация со стержнем господства и рабства (кстати, признаваемая и восхваляемая вышеозначенными историками, философами, политиками), самоистощившись на возведении дворцов и каменных пирамид и выплеснувшись на просторы обетованных земель, сумела отшлифованными за сорокавековое господство приемами силового и духовного подавления привести или, вернее, поставить на стезю раздоров, войн, экономических потрясений и нравственной развращенности все, да, теперь уже можно сказать — все человечество. Если бы социальная система жизни, то есть экономические условия (законы), общественного бытия базировалась не на хищничестве, точнее, вырастала бы не из хищнических начал, а из родовых, племенных, общинных отношений с их натурально-замкнутым ведением хозяйства, исключавшим самую возможность монопольного владения землей, ее недрами и морскими ресурсами (я не исключаю и такой ход развития событий, ибо нельзя считать утопичным то, что в силу определенных обстоятельств было задавлено на корню и не получило развития), — если бы, повторяюсь, социальная система жизни обрела возможность вырастать из народных основ бытия, то и экономика, опираясь совсем уже на другие законы, другое научное обоснование, могла бы действительно работать на достижение общего блага. Но, к сожалению, человечество пошло по тому пути, по которому пошло предводительствуемое кумирами-поводырями, — пути хищничества, пути господства и рабства, полного искушений (для одних, инициативных, назовем их так) богатством, властью, славой и страданий (для тех, кто привык довольствоваться простой, обычной жизнью), сопряженных с нищетой, бесправием, порабощением (что, впрочем, как раз и отождествляется историческими провидцами с естественным, эволюционным путем человечества); именно такая подмена понятий, когда насильственный путь развития выдается за естественный, эволюционный, дает иерархам знаний основание утверждать, что, если бы не было частной собственности, то есть узаконенного права на нее — права главным образом на владение землей, ее недрами и морскими ресурсами, — не было бы и стимулов ни в развитии сельского хозяйства, ни в развитии промышленности, ни в развитии культуры как системы духовного, нравственного обогащения (что, впрочем, должно подтверждаться жизнью, а не только «научно»-декларированными истинами); после такого исторического расклада остается только всенародно признать, что хищничество — это благо, что «славные Гипербореи» — утопия и что, если бы древнеегипетская система господства и рабства не «одарила» мир людских сообществ своей незабвенной (фараоновской) формулой обмана, народы до сих пор оставались бы на уровне своих самобытных (эпохи варварства) культур, самобытных (от той же эпохи) цивилизаций, то есть не имели бы даже понятия ни о государственности как стержневой основе современного мироустройства, ни о научном и техническом прогрессе, позволяющем сегодня заглянуть чуть ли не в самые глубинные тайны окружающего нас галактик. Что ж, взгляд с фасада на современную жизнь людей (разумеется, в сравнении с жизнью людей эпохи варварства, скажем так) вполне дает право на подобное толкование; да, мир движется деятельностью инициативных людей (и тут возникает вопрос: кем, во-первых, являются эти

инициативные люди, в каких отношениях или в каком родстве они находятся с кумирами-поводырями, с правящей дворцовой элитой вообще, всегда имевшей самый широкий доступ к образованию, и что представляют собой остальные, безынициативные, сколько их, то есть каково соотношение их с инициативными, и что это за обстоятельство, которые порождают столь массовую безынициативность, характерную или, вернее, более чем характерную и для нашего времени, нашей отошедшей будто бы на тысячелетия от варварства «просвещенной» эпохи?); да, частная собственность — это вроде бы неизменный двигатель прогресса, если иметь в виду монополистов, конкурирующих между собой в выпуске и сбыте производимой на их предприятиях продукции, которой они навдывают рынки, особенно рынки оружия (сегодня более чем две трети промышленного потенциала развитых стран работает на рынки оружия, то есть на вооружение армий, создающихся опять же для защиты интересов банкиров и монопольных производителей), ну а те, что стоят у конвейера, спускаются в шахты, работают на буровых, и их миллионы, — есть ли у них стимул для проявления хоть какой-либо инициативы, которая могла бы удовлетворить их истинные материальные и духовные потребности, свободны ли они в своем труде и жизни или находятся в той, что и рабы Египта, зависимости от хозяев-монополистов, внешне не столь, разумеется, откровенной, но по сути, по стержневой своей основе все той же, которая гнетет, давит, лишает человека основательности и до беззащитности и бесправия обнажает его? Я понимаю, что никто не может претендовать на абсолютную истину в освещении исторических процессов; истиной является сама жизнь, которая, впрочем (и в силу прежде всего тронных потребностей), никогда и никем не фиксировалась в той достоверности, в какой все задумывалось и творилось людьми над людьми, то есть правителями над народами, ибо правда заколачивалась в гроб, а ложь пускалась гулять по миру, дабы дезинформацией обезоруживать людей, и одной из таких дезинформирующих «истин», рассчитанных на многовековое, можно сказать, даже на многотысячелетнее воздействие, является вновь поднятое на щит утверждение, будто только частная собственность способна пробуждать в людях энергию к деятельности и что только ей, то есть частной собственности (иначе сказать, капиталу, которому приписывается чуть ли не чудодейственное свойство, оборачивающееся на деле прямым хищничеством), человечество обязано достигнутому прогрессу в науке и технике. Что касается научного и технического прогресса, тут, видимо, не о чем спорить; однако следовало бы уточнить, что дал этот прогресс большинству населения Земли, принес ли действительное, а не на словах освобождение народам (хотя бы в духовной сфере, в сфере истинных, а не декларированных возможностей самим устраивать свою жизнь и руководить ею), или же, освободив от одного рабства, рабства варварских эпох, как заверяют провидцы исторических и философских знаний, заточил в другое, в рабство новейших, просветительских времен, когда ни на ком из закабаленных, а таковыми оказались уже не просто личности, а народы, страны, континенты, — когда ни на ком из закабаленных нет вроде бы уничиительно-опознавательного (рабского) клейма или ошейника, но в то же время каждый испытывает на себе наброшенную на всех нас невидимую (ведь если не видно, то и не существует), но цепкую, как стальной обруч, монополистическую удавку. Я не думаю, чтобы сказанное нуждалось в подтверждении какими-либо особо достоверными историческими или из текущей жизни источниками; то, что происходило в прошлом и довольно четко зафиксировано в официальных историографиях и что происходит теперь (глобальное ограбление народов спрутами монополий), говорит само за себя, и нам остается только осознать истину, что вместе с расслоением общества на классы и внедрением или, вернее, укоренением хищнического мироустройства, признающего главной движущей силой общественной жизни частную собственность как безотказный (якобы безотказный) стимул к проявлению творческой инициативы масс, — что вместе с расслоением общества на классы и укоренением хищнического мироустройства народы не только не получили столь пропагандируемый ныне стимул, но, напротив, лишившись элементарных прав на национальную самобытность, полностью или почти полностью потеряли его. Если рассматривать историю (в смысле развития частной собственности и ее влия-

яния на творческую, созидательную инициативу масс) от времен египетских пирамид, времен сорокавекового фараоновского господства на нильской земле, и до нынешнего всегосподства известной небоскребной державы, возросшей, как и древнеегипетская цивилизация, на костях и крови убиенных и завезенных для рабства народов, то есть на самоприсвоенных себе правах новейшей «богоизбранности», — если обратиться лишь к этому наиболее освещенному в исторической науке периоду развития человечества, то картина социальной жизни людей, какая при этом предстанет перед нами, явится самым наглядным доказательством планомерной (в какой-то мере даже необратимой) монополизации всех основных сфер деятельности человека. Я глубоко убежден, что монополизм как социальное явление жизни родился в Древнем Египте, когда к власти (божественной, а потому беспредельной) пришли фараоны; они монопольно подчинили себе людей, обратив их в рабов, распространили столь же монопольное право на землю, ее недра, на любой (более всего на крестьянский) труд как на источник обогащения, питавший их и приумножавший их фараоновское могущество; правители Древнего Египта владели всем, на что обращались их взоры (не случайно же сорокавековое правление их названо «веком Богов»), и хотя ни тогда, ни теперь такое всегосподство никто не называл и не называет монопольным правом на жизнь людских сообществ (да и как это будет сочетаться с внутренними нам понятиями, что Древний Египет есть «колыбель человечества», исток «великой цивилизации»?), но если учесть, что любое монопольное явление тождественно явлению власти, а власть есть монопольное право на все, то терминология не имеет уже тут никакого значения, а имеет значение только исторический факт, что монополизм как явление власти (и явление жизни) первыми испытали на себе жители Принилья, а затем уже (вместе с исходом фараоновского стержня господства и рабства на обетованные земли) этой же участи стали подвергаться другие порабоцавшиеся хищническим мироустройством народы.

LXIII

Прежде чем продолжить повествование, хочу обратить внимание читателей на очевидное и в то же время странно не замечаемое мужами науки противоречие между двумя равноосновополагающими характеристиками, какие даются (этими же мужами науки) сорокавековому господству фараонов на нильской земле. С одной стороны, ученые мужи признают, что в Древнем Египте царило беспробудное рабство, то есть та атмосфера социального и нравственного подавления, какая присуща разве что эпохе варварства, а с другой — именно этот фараоновский режим, приспособленный лишь для угнетения человеческого достоинства, продолжает провозглашаться колыбелью «великой цивилизации», поставившей народы на путь прогресса и процветания. Но что же на самом деле могла дать и дала миру древнеегипетская система господства и рабства? Мы редко когда задаемся этим вопросом, тогда как ответ на него мог бы приоткрыть многие и многие тайны в нынешнем хищническом мироустройстве и его победоносном (насильственном) шествии среди людских сообществ. Ведь и понятие «варварство», если внимательно разобраться в нем, столь же принадлежит к словарю всеохватного фараоновского обмана, как и понятие «цивилизация»; оно тоже, видимо, отшлифовывалось и внедрялось веками в обиходную жизнь как мужей науки, так и простонародья и столь же, если хотите, отражает историческую истину, как и все иные термины из фараоновского словаря обмана, едва только начинаешь прилагать их к действительности прошедших или текущих времен. Когда понятием «варварство» характеризуется режим сорокавекового фараоновского правления, то тут не возникает никаких возражений, все предельно ясно и определено (в противоположность прилагаемому к этому же режиму понятию «цивилизация»); но когда дофараоновскую, то есть идилическую или, вернее, во многом идилическую, как подтверждают древнейшие источники, жизнь людей называют эпохой «дикости и варварства», то такое обобщение вызывает массу сомнений, говорящих о явной предвзятости в оценках судьбоносно-исторических явлений человеческого бытия. В то время как в Древнем Египте уже сорок веков длилось беспросветное рабство (вынашивав-

шее будто бы в себе, если верить историкам, истоки «великой цивилизации»), на благодатных — от моря до моря (от Средиземного до Балтийского) — просторах европейской земли, населенной по преимуществу славянскими и германскими племенами (см. Геродота и Тацита), формировалась совсем иная среда обитания людских сообществ, о которой в свое время поведали миру историки античности Помпоний Мела, Плиний, Солин, ходившие через Фракию в страну «славных Гипербореев». В начальных главах повествования достаточно подробно уже говорилось об этих историках и их открытии, об идиллической, почти райской, да, можно сказать и так, жизни славян и о разрушительном шестивии «великой» — от древнеегипетского первородства — цивилизации, привносимой на острия мечей и копий римскими легионерами в мир германских, а затем и в мир славянских народов, а потому не буду повторяться; замечу лишь, что идиллическая («славные Гипербореи») система общественного бытия, возможно, не была такой уж идеальной, какой в ностальгическом порыве мы пытаемся воспроизвести ее в своем воображении: в ней, как и во всяком складывающемся организме общественной жизни, были свои недостатки, просчеты, упущения, связанные с проблемами роста, но они не нарушали общей гармонии развития; более того, система эта, то есть идиллическая среда обитания людских сообществ, создававшаяся на законах миролюбия и добронравия, исключала, как свидетельствуют исторические источники, самую возможность возникновения рабства, возможность насилия человека над человеком, людей над людьми. Мы любим повторять, что настоящее рождается из прошлого и вытекает из него (по крайней мере аксиома сия никем не оспаривается), и если бы, исследуя исторический ход развития человечества, мы придерживались логики этого аксиоматического выражения, то давно бы уже могли прийти к выводу, что крайне ошибочно или, вернее, крайне нелепо полагать (тем более строить научные обоснования), будто отправной точкой идиллического мироустройства славянских да и не только славянских народов являлись дикость и варварство предшествовавших (древнейшедревнейших, прашурных) эпох, как нелепо вообще объявлять период бесклассового развития человечества средоточием кровавых пещерных отношений; ничем не подтвержденный теоретический посыл этот представляется мне жалким и пошлым, да-да, пошлым, если хотите, оправданием безнаказанного и безграничного хищничества, которое, зародившись в период классового расслоения как система общественной жизни, сперва обрело права в Древнем Египте, а затем уже в роли канонизированного «двигателя прогресса» было перенесено династическими последователями фараоновской державности на захватываемые «обетованные земли». Из этого следует, что одно дело — историческая правда, базирующаяся на реалиях прошедших и текущих веков, и совсем другое — ее изложение в рамках канонных понятий из азбучного словаря всеохватного фараоновского обмана. Цивилизация и варварство, варварство и цивилизация — мир словно бы магической чертой разделен этими двумя понятиями на противостоящие друг другу социальные системы, и мы настолько привыкли к такому разделению, когда то, что восходит идеалами к Древнему Египту, ко временам пирамид, к сорокавековому режиму господства и рабства, то есть к хищническому мироустройству, именуется цивилизацией, а что обобщенно можно было бы отнести ко временам «славных Гипербореев» — варварством, что уже не представляем себе мир иным, чем только в этой предвзятой рассеченности, опрокидывающей все в истории (исторической науке) с ног на голову. Однако следует заметить, что восприятие лжи не беспредельно и что, какой бы силой внушения ни обладал словарь всеохватного фараоновского обмана, сила эта способна лишь на столетия или тысячелетия затуманить сознание масс, но не способна изменить своими миражными холстами и красками истинную картину жизни. Поворот от бесклассового общества к классовому расслоению — вот начало начал всех нескончаемых бед человечества, и «славные Гипербореи» в общем процессе развития — такая же реальность, не имеющая никакого отношения к утопии, как и древнеегипетская система господства и рабства, и если мы хотим обратиться к истинным истокам сложившихся общественных отношений в людских сообществах и между ними, то должны в корне изменить взгляд на исторический ход развития человечества. История наша не просто извращена — в

событиях, оценках, в концентрации внимания на царствах и царствованиях и полной или почти полной изоляции роли народных масс (народные массы — это лишь фон, лишь статисты, самовозложившие будто бы на себя крест страданий), не просто ужата в своей эпохальной значимости до деяний поводырствующих особ, чьи руки по локоть в крови убиенных народов и чьи лики, отмытые до белизны от черных тиранских мет, предстают сегодня перед миром в иконостаснопьедестальном величии (ведь труды летописцев, историков, философов, особенно новейших времен, являются не больше не меньше как перманентно нарастающей индульгенцией, отпускающей грехи бессмертным, именно бессмертным поработителям людских сообществ),— нет, не просто извращена (с помощью фараоновского словаря обмана, поименованного период бесклассового развития периодом дикости и варварства, а расслоение на классы — эпохой строительства цивилизованных отношений), не просто ужата до восхваления единосемейных великих и малых самодержцев Земли, уже почти вплотную подступивших к черте мирового господства, но поставлена, как было уже сказано выше, с ног на голову и снабжена столь убедительными доводами, то есть обрамлена таким нимбом правдоподобия, что вроде бы иного пути, чем путь хищничества, названного движением к прогрессу и процветанию, у человечества никогда не было и не могло быть. Фактически же, если посмотреть на все с позиций бескомпромиссного, жесткого реализма, мир, повторю, движется не от дикости и варварства к вершинам цивилизованных отношений, но, напротив, скатывается с означенных вершин, то есть с высот бесклассовых отношений (идиллических высот «славных Гипербореев», что я отношу не только к славянству, но и ко всем народам, так и не сумевшим до сих пор ни принять хищничество, ни приспособиться к нему), в омут дикости и варварства, омут схваток за богатство, славу и власть, омут войн, разбоев, грабежей, насилия и разврата, омут державно-монополистического или теперь уже монополистическо-державного единогогосподства. Суть этого так называемого исторического подъема, а в реальности — исторического падения (несмотря на очевидный вроде бы научный и технический прогресс) можно было бы охарактеризовать и как движение от свободы проявления личности (что равно относится и к людским сообществам) к ограничению этой свободы, с одной стороны, государственностью по-древнеегипетски, а с другой, — монопольным правом (все от той же государственности) на владение землей, ее недрами, морскими ресурсами, составлявшими, как и составляющими теперь главную жизненную основу человечества. Такой вывод (такой разворот на сто восемьдесят градусов), думаю, многим покажется невероятным; невероятным потому, что мы привыкли полагать, будто только нынешняя, то есть древнеегипетская (хищническая, со стержнем господства и рабства) цивилизация, какую приняло и в какую вступило мировое сообщество, могла привести человечество к столь очевидно величественным достижениям научного и технического прогресса, что прогресс этот становится уже бичом самой среды нашего обитания — природы, и хотя все мы вроде бы понимаем гибельность такого явления и озвучиваем свои робкие протесты, но оказываемся, в сущности, бессильными что-либо предпринять, чтобы остановить разрушение, ибо дело не в нас, а в правителях, которые, как и во все прошлые времена, самоуправно поводырствуя миром, опираются на этот прогресс в своем тронном могуществе и извлекают из него нужные для себя (как мы бы сказали теперь) дивиденды (в конце концов ведь прогресс целиком и полностью, то есть от и до, состоит на службе у обитателей дворцов, храмов и обходит стороной, как безгласных и бесправных земных сирот, обитателей хижин); но мы настолько за тысячелетия привыкли ко всему этому нашему образу жизни, в которой, впрочем, куда ни ткни, всюду ложь, обман, несправедливость, притеснения и поборы (на фоне именно достижений в науке и технике, коими, как фасадными атрибутами из миражных картин, заслоняют от нас трагическую истину бытия), — да, мы настолько привыкли к этому эстафетно передающемуся в поколениях образу жизни, в которой личные беды, личные страдания, даже соединенные в беды и страдания народа, страны (народов, стран), невольно представляются нам столь мелкими, ничтожными в сравнении с величием научных открытий и технических достижений, окрыляющих будто бы человечество в движении к благу, что ни у кого

не возникает и тени сомнения в том, что нынешняя цивилизация, утробно выношенная фараонами Древнего Египта и обретшая (путем кровавых насилий) мировое господство на просторах Земли, есть высшее достижение деятельности человеческого разума. По сути, мы не просто отвергаем значение идиллического прошлого («славные Гипербореи») как возможной и задавленной на корню исходной системы совсем иных, альтернативных хищничеству общественных отношений, из которых могла бы сложиться альтернативная хищничеству цивилизация с альтернативной же, то есть безнасильственной, государственностью, альтернативной тронуогоничеству заданностью научно-технического прогресса, когда ученые мужи подвижнически работали бы не на молох войны, то есть затрачивали бы творческую энергию не на изобретение супероружия массового и глобального уничтожения человечества, а на житейские нужды народов, венчая их усилия плодами благополучия и счастья, но — воображение наше не дотягивает этих высот; не имея перед собой этого альтернативного хищничеству примера, на который безошибочно можно было бы опереться, мы продолжаем цепляться за дарованную нам — от древнеегипетского первородства — цивилизацию, которая, впрочем, называясь великой, только и смогла дать человечеству вышеописанное миражное благо.

LXIV

Если понятие «власть» не нуждается в толковании, ибо она вездесуща и неохватна в своих проявлениях, и даже в азбучном словаре фараоновского обмана ей не нашлось адекватного выражения, то понятия «экономика» и «частная собственность», вобравшие в себя канонную значимость «двигателей прогресса», будирующих будто бы созидательную инициативу масс, имеют вполне определенное двойственное восприятие: экономика как естественный фактор жизни, по которому определяется общее благополучие или неблагополучие людских сообществ (я бы назвал это народным восприятием и толкованием), и экономика как сфера и результат деятельности монополистов, присвоивших себе право безраздельно владеть всеми сырьевыми, людскими ресурсами, производственными мощностями и получивших (по этому узурпаторству) возможность подменять власть, то есть по своему усмотрению распоряжаться судьбами народов и государств (второй по ходу веков окропленный елеем прогресса рабский ошейник), и соответственно частная собственность, воспринимаемая в народе как разумная достаточность в базовых средствах к жизни, позволяющая каждому члену того или иного сообщества в равной мере или, скажем, с небольшими отклонениями участвовать в созидании семейного, общенародного, общегосударственного (в прашурные времена родового, общинного, племенного) достатка и благополучия, и частная собственность, расширенная до монопольного владения землей, недрами, морскими (водными) богатствами и скромно приравненная (с помощью азбучного словаря обмана) к правам и устоям народного бытия. Думаю, вряд ли тут надо что-либо пояснять, поскольку история реальная столь же материальна, как и сама жизнь, и ее нельзя втиснуть ни в какие рамочные измышления; она многолика и многогранна, что отнюдь не нарушает ее целостности, сколько бы мы ни расчленили ее на этапы, периоды, формации, уподобляя процесс развития лестничному восхождению, и как бы ни делили на политическую, социальную, духовную, экономическую сферы деяний; в ней все взаимосвязано и подчинено, как подтверждают летописцы древнейших, начиная от «века Богов», и новейших времен, одной троннойисходной воле, суммированной, как мы бы добавили теперь, в хищническом мироустройстве, и только через призму этого навязанного человеческому сообществу единогогосподства, то есть через причастность всех жизненных явлений к вышеозначенной фараоновской воле (ведь мы должны воспринимать мир в реальной его действительности, а не в миражных представлениях о нем), следует рассматривать любую из сфер человеческой деятельности. Мне кажется, что не было, нет и не может быть экономики как бесконечно воспроизводящейся материальной основы существования людских сообществ, которая бы развивалась произвольно, сама собой, движимая лишь законами рыночных отношений, как это сегодня усиленно внушается нам; разумеется, я не собираюсь отрицать значение рыночных отношений и тем

более обрушиваться на них с критикой, ибо они есть, и влияние их, несомненно, имеет определенное воздействие; но все же главным фактором в хозяйственной деятельности как отдельных личностей, так и людских сообществ были и остаются рамки того мироустройства, или миропорядка (от произвола кумиров-поводырей), в каком оказывались те или иные закабаленные народы, национальные образования и в конце концов оказалось все мировое сообщество. Зависимость эту легко можно проследить, обратившись лишь к двум взаимоисключающим друг друга по социальному срезу жизни социальным формациям — бесклассовой и классовой. В бесклассовый период развития человечества, обычно именуемый в официальных историографиях эпохой дикости и варварства, когда человечество не знало еще ни государственности, ни рабства, ни раздоров, ни войн, тем более мировых, ни нашествий, в результате которых уничтожались и закабалялись народы и гибли самобытные цивилизации, люди в хозяйственной своей деятельности, то есть в экономике, если прибегнуть к словарю фараоновского обмана, вполне довольствовались «разумной достаточностью базовых средств к жизни», были свободны в своих созидательных проявлениях и находили в них удовлетворение и смысл бытия (истоки этой идиллической жизни долго еще, даже после сорокавекового уже правления фараонов, когда система господства и рабства, воинственно распространившись по всему Присредиземью, начала столь же воинственно проникать на земли европейских народов,— истоки этого идиллического бытия долго еще сохранялись во многих людских сообществах, примером чему может служить зафиксированная античными историками жизнь «славных Гипербореев»), тогда как вместе с классовым расслоением, как только оформилось и укоренилось новое (хищническое) мироустройство, на смену удовлетворявшей народ (народы) «разумной достаточности базовых средств к жизни» явилось монопольное право на те же базовые средства, то есть на землю, недра, морские (водные) богатства, которые, отбираясь силой, обманом, скупкой у их бесспорных владельцев, обращали этих владельцев в вечно обездоленных, вечно бесправных рабов. Человечество в ходе своего развития двигалось не от дикости, не от рабской зависимости к свободному труду, как подается это во всех официальных и неофициальных исследованиях (и что является ярчайшим примером подмены правды жизни ее правдоподобием), а от свободного труда, свободного проявления всех заложенных в человеке созидательных начал как в сфере материального, так и в сфере духовного строительства, к закреплению воли и духа, к рабской зависимости от тронных и монопольных (промышленно-финансовых) владык, и я глубоко убежден, что жизнь древних поселенцев Нила начиналась не с фараоновского пришествия, но как и у всех других народов африканского, европейского, азиатского, американского континентов, прошла через идиллическую, подобно «славным Гипербореев», стадию развития, и если мы пока еще не можем документально подтвердить это, поскольку все археологические изыскания, какие когда-либо велись на древнеегипетской земле, были сосредоточены в основном на фараоновских усыпальницах — пирамидах, на расшифровке «века Богов», то есть основ и методов властвования, методов обожещенного всегосподства, и не опускались, как не опускаются и сегодня по какому-то вроде бы странному, но, возможно, вовсе и не странному причинам ниже этого интересующего постфараоновских правителей пласта истории (думаю, нельзя исключать и того, что дофараоновская, то есть пращурная, страница истории египтян была преднамеренно, вернее, троннозаданно, как это произошло с историческими корнями многих других народов, обращена в прах),— если мы не можем документально подтвердить, что история египетского народа начиналась со свободного бытия, что и египтяне в изначальной своей заданности имели нечто от идиллической самобытности, от «славных Гипербореев», и даже, возможно, предшествовали им, то сие не означает, будто в действительности не было ничего этого. Было, да, повторяю, было, ибо мир, как уже говорилось выше, не начинался с порабощения, с узурпации власти, монополизации земель и других средств к существованию, каким он выглядит теперь; мы двигались от свободы к зависимости, от гармонии естественных отношений к хаосу кровавых схваток за мировое господство, и движение это как раз и составляет истинную историю человечества,

вполне очевидную даже в искаженном ее изложении, и в то время как ученые мужи новейших столетий выбиваются из сил в поисках истоков цивилизации, устремляясь к подножиям пирамид, искать следует не истоки цивилизации, а истоки рабства, истоки всего того хищнического мироустройства, которое, вырвавшись с берегов Нила на просторы обетованных земель, поставило сегодня народы перед лицом глобального кризиса жизни. Возможно, историки и философы правы, обращаясь к «веку Богов» как к периоду эпохальных перемен; ведь древние египтяне были тем первым народом, который, склонившись перед фараоновской державностью, принужден был перейти от идиллического состояния жизни в состояние беспросветного рабства, и это их историческое покорство, сопровождавшееся насилиями и устрашениями, явилось, с одной стороны, уроком для правителей, открывших неисчерпаемую возможность властвования на основе угнетения масс, а с другой — предтечей всеглобального для народов порабощения. «Великая», а по сути хищническая цивилизация, зачатая в чреве сорокавекового фараоновского господства, устремившись на обетованные земли, то есть вклинившись в самобытную (подобную дофараоновской в Египте) жизнь других народов и континентов, обратила греческих простолюдинов в илотов, римских — в плебс, западно- и восточноевропейских — в смердов, а затем в крепостных, как случилось с нашими пращурами, не сумевшими защититься от нашествия Рюриковичей, жестоко «одаривших» нас правом на бесправия (я беру лишь избранно-веховые события, тогда как история бесправия есть неохватная история всех народов); но вернемся к истоку, к началу начал, то есть к трагедии древних египтян, которые, считаясь ныне основоположниками «цветущей» цивилизации, первыми были обращены в рабство, первыми оказались бесправными и безгласными на своей земле и о трагедии которых, с чего она начиналась и как происходила, история хранит глубокое молчание. За хребтами веков трудно, разумеется, разглядеть рассветный горизонт человечества, и, возможно, именно поэтому разделительная черта между варварством и цивилизацией (согласно понятиям азбучного фараоновского словаря обмана) была проведена совсем не там, где бы (уже в согласии с реальной действительностью) надлежало быть ей, и точно так же, как на общем пространстве развития человечества нетронутым, то есть нераскрытым, выпавшим, предстает один из главнейших периодов — переходный период от бесклассового общества к классовому расслоению, в котором закладывались все свирепствовавшие затем на протяжении тысячелетий наши нескончаемые беды, — нетронутой, нераскрытой, выпавшей из поля зрения как древних, так и современных летописцев оказалась предфараоновская история египтян; в сущности, мы застаем этот народ уже в сформировавшейся системе господства и рабства, как будто и в самом деле в одночасье спустились с небес на берега Нила некие вземные «посланцы Небес», «дети Солнца» и, обратив (по божественному предначертанию) древних египтян в рабов и установив господство над ними, преподнесли бессмертный образец мироустройства всему человеческому сообществу.

LXV

Сегодня вполне очевидно (и по содержанию пропаганды, зомбирующей массы, и по внедряемому в жизнь мироустройству, прошедшему сорокавековую апробацию, если так можно выразиться, на нильской земле), что человечество подготавливается определенными темными силами, соединившимися в клан или даже в народ постфараоновских «богоизбранников», к новому восхождению в обложенный теперь уже нимбом благочестия, нимбом миражно-демократических свобод «век Богов». Чем это обернулось для древних египтян, известно; чем обернется для человечества, думаю, нетрудно предугадать; нетрудно по тем признакам, тем симптомам, коими буквально нашиглована наша драматическая действительность и которые выразительнее всего проявляются в господстве мировых финансовых и промышленных монополий, глобально опутавших и подчинивших себе экономикой почти всех континентов, и в диктаторстве Соединенных Штатов Америки, присвоивших себе право силой оружия или экономическим удушением наказывать, то есть опять же подчинять своей воле, все те же закабаленные уже монопольным капиталом народы и страны. Чтобы управлять

порабощенными египтянами, то есть держать их в страхе и повиновении, фараонам по самой крайней, скажем так, необходимости требовалось войско, которое надо было содержать и на которое трудились рабы точно так же, как и на правителей, требовались духовные наставники, коим вменялось в обязанность примирять рабов с их рабской участью и с благоговением взирать на своих дворцовых угнетателей, требовались чиновники, рэкетирски собирающие дань, и высокородная и невысокородная челядь для непосредственного обслуживания тронных персон. В исторических свидетельствах того времени нет сведений о процентном соотношении между элитной фараоновской надстройкой и рабами, трудившимися на нее, — один к ста, тысяче, десяткам или сотням тысяч? — да и позднейшие историки не задавались этим вопросом, скорее носящим характер исторической любознательности, чем научного исследования, и я, пожалуй, тоже обошел бы его вниманием, если бы не обстоятельства жизни, которые и заставляют меня обратиться к нему. Политики и теоретики нынешнего «просвещенного» Запада, пекущиеся, как они говорят, о будущем человечества (уже в самой этой популистской заданности, мне кажется, ясно просматривается фарисейство), выдвигают или, вернее, предлагают мировому сообществу вариант нового (хотя, по сути, ничего нового в нем нет) мироустройства, основу которого составляет «золотой миллиард». Они полагают, опираясь на научные вроде бы обоснования, что Земля с ее оскудевающими ресурсами может обеспечить достойную жизнь (читай: барствующую, в достатке и роскоши) только одному миллиарду людей, и этот-то миллиард, в который прежде всего должна войти нынешняя мировая элита, выюющаяся у тронов и восседающая на них, будь то президентские, премьерские, всякого рода вождистские и, конечно же, олигархические от финансово-промышленных монополий, — этот-то миллиард, сбазированный на потенциале ведущих (известная диктаторская семерка!) стран, и назван «золотым», тогда как народы и государства, повторяю, народы и государства, которые останутся за пределами «золотого миллиарда», должны будут, подвергнувшись определенному рода зомбированию, работать на эту барствующую элиту и владеть жалкое существование. Разве это не тот же «век Богов», не та же фараоновская формула жизни и власти, закодированная в пирамидах и блестяще расшифрованная затем Платоном и Аристотелем? Масштабы замысла, который, впрочем, давно уже получает поэтапное воплощение, в чем может убедиться каждый, обратившись даже к искаженно изложенному историческому ходу развития человечества, — масштабы замысла требуют и иного процентного соотношения между барствующей элитной надстройкой, поименованной «золотым миллиардом», и всем остальным, загнанным в рабство миром людей, так что нужны ли еще доказательства, чтобы поверить, что мир вопреки официальным, неофициальным, научным и ненаучным утверждениям движется не по схеме «варварство — цивилизация», а по схеме «варварство — варварство», то есть от «века Богов» в границах нильской земли, границах одного ввергнутого в рабство народа, к «веку Богов» со всепланетным охватом, когда участи древних египтян будет подвергнуто все так называемое неэлитное население Земли? Многие склонны считать, что разговоры о «золотом миллиарде» — это вызывающий цинизм, а не реально осуществимая правда и что есть же предел неразумности, за который даже самые кровавые тираны не позволяли себе переступать; человечество, полагают они, защищено или по крайней мере должно быть защищено природным, как и всякие живые существа, инстинктом самосохранения, и инстинкт этот, подкрепленный чувством сострадания и разумом, в конечном итоге как раз и берет верх над безумством; не могу не признаться, что и я готов склониться к этому наркотическому выводу (наркотическому в том значении, что без веры в добро и справедливость человечество не смогло бы существовать), но ужасающий реализм как исторической, так и текущей действительности, спастись от которого можно, разве лишь впад в невежество, — реализм этот, с пеленок и до гробовой доски зловец преследующий нас нищетой, бесправием, унижением личности и национальным унижением, жестко и требовательно подталкивает совсем к иным размышлениям о судьбах народов и государств. «Золотой миллиард» — нет, это не циничная мечта неких жаждущих власти нелюдей, а давно и тщательно спроецированное правителями Египта вос-

хождение к торжеству тронов, к не ограниченному ничем господству «богоизбранников от фараоновского первородства», и все, что затем в веках творилось ими над простодушными и доверчивыми массами,— все, все было подчинено этой запрограммированной цели, начиная от порабощения древних египтян и завершая нынешним всеглобальным порабощением людских сообществ. Если кто думает, что власть как выражение зла, как аппарат насилия и закабаления изменилась или, скажем, подобрела с тех пращурных времен, тот глубоко ошибается; историческое бытие человечества отмечено не спадом, а нагнетанием драматизма, и двадцатый век с его мировыми и локальными войнами, бунтами и революциями, захлебывавшимися в братоубийственных бойнях, духовным разворотом и экономическим удушением является наипрочайшим доказательством перманентно нарастающей в веках драматизации жизни простых людей. События исторической давности, как и события текущей действительности, если посмотреть на них по вертикальному срезу эпох, как раз и представляют собой единый, логически стройный процесс драматического восхождения к тронно-продиктованной (в смысле становления и развития общественных отношений и общественного бытия) заданности — «золотому миллиарду», и кто бы и что бы ни говорил об этом новопредлагаемом (хотя, уточню еще раз, ничего нового в нем нет) мироустройстве, оно вполне может оказаться закономерным итогом тысячелетних антинародных деяний правителей, спаянных всеглобальным явлением престольного чужеродства. Мы все стоим на пороге этого грядущего итога, уже обдающего нас своим зловещим дыханием, и если чему-то и следовало бы здесь удивляться, то отнюдь не бездушию нынешних тиранствующих поводырей жизни, готовых хоть треть человечества бросить под колеса своей державной колесницы, лишь бы достичь цели (а ведь это они, фарисействуя перед народами, любят повторять, что никакие блага мира не стоят одной пролитой слезы ребенка); не пощадив древних египтян, не пощадив все другие народы в своем поэтапном в веках восхождении к трону мирового господства, да могут ли постфараоновские державники остановиться теперь, когда до цели остается всего лишь один шаг? Нет, не остановятся, как подтверждает логика исторических событий, и от них бессмысленно ждать благоразумия; мне не хотелось бы говорить об обреченности мира, но мир обречен, и прежде всего те людские сообщества, а их большинство, которые, не сумев (в силу природной заданности) защититься от хищничества и подпав под диктат престольного чужеродства, из столетия в столетие, из тысячелетия в тысячелетие терпеливо несут на себе это карающее бремя, этот крест нескончаемых страданий, и для которых уже не свобода, обратившаяся в их душах в болевой ностальгический кокон, а беспросветное рабство давно уже превратилось в некое естественное состояние жизни, предначертанное будто бы, если верить церковным догматам, или, вернее, предопределенное промыслом Божиим, — да, прежде всего окажутся в новом ярме именно эти народы, обреченные и теперь вторично обрекаемые на невежество с помощью самых совершенных и самых массовых по своему воздействию средств и методов зомбирования, так что удивляться следует не бездушию тиранствующих новоповодырей, в каких бы социально-позолоченных одеяниях они ни представляли, фарисействуя перед народами, а безволию, безразличию и прямому ротозейству масс, в очередной раз решивших (в конце концов должны же чему-то учить нас драматические уроки истории!) довериться «мудрости» дворцовых особ. Мы точно так же, как древние египтяне, возможно, даже не заметим, как войдем (пожалуй, во многом уже вошли) во вторичное рабство, в новый «век Богов», который, как можно предположить, будет назван (по аналогии с барствующим миллиардом) «золотым», и точно так же, как начальная эпоха хищнического мироустройства, предстающая перед нами стойбищем горбатых пирамид среди безжизненных, мертвых песков, предстанет перед грядущими поколениями и наша эпоха, эпоха вторичного закабаления, опустевшими и омертвевшими городами-небоскребами, некогда (то есть в наше время) имитировавшими собой пристанища сошедших с небес новых «богоизбранников» — да, именно омертвевшими городами-небоскребами на овалах обезлюдившей, опустошенной, изъеденной воронками земли.

LXVI

Сто с лишним веков отделяет нас от первых упоминаний о фараоновском господстве, то есть от тех покрытых мраком забвения времен, от которых, собственно, и начинается исторический отсчет укоренившегося ныне в людских сообществах хищнического мироустройства, и если эта естественная отдаленность не позволяет нам заглянуть в глубину тех столетий и хотя бы с минимальной достоверностью восстановить процесс закабаления древних египтян, в корне изменивший их самобытное развитие, то история позднейших эпох, отмеченных закабалением народов восточного и западного Присредиземноморья и европейского континента (италиков, франков, саксов, германцев, славян), позволяет путем нисходящих логических предположений установить, что уже на первой стадии фараоновского господства были (разумеется, с разной предпочтительностью) применены все главнейшие, безотказно действующие и поныне способы (приемы, методы) порабощения масс: с помощью силового (военного) устрашения, духовного подавления (оскопления) и экономического удушения. Соединенные вместе, они давно уже являются своего рода неизменным, классическим атрибутом власти, ее основополагающим столпом, на котором во все времена держалось и продолжает держаться могущество тронов; однако при всей очевидной стержневой неизменности они точно так же, как и все другие жизненные явления, прошли за тысячелетия свой эволюционный путь развития. На раннем этапе фараоны, несомненно, действовали силой, ибо это самый простой, грубый, можно сказать, примитивный способ, к которому на протяжении веков коронованные особы несчетно прибегали, укрупняясь в масштабах действий, и который не потерял актуальности и в наше «просвещенное» столетие; затем, открыв возможность духовного воздействия и объявив себя богоизбранными вземными пришельцами — «детьми Неба», «детьми Солнца», — придали еще большую значимость своему господству (и что обернулось впоследствии возникновением фундаменталистских религиозных учений и созданием сети зомби-просветительских и зомби-информационных структур), и уже вслед за духовным воздействием, когда всегосподство достигло безграничных высот, параллельно с правом безоговорочно распоряжаться людскими судьбами явилось монопольное право на владение землей, ее недрами, водными (морскими) богатствами, превратившееся затем в самоубийственный бич для человечества. Эти методы порабощения, действовавшие на протяжении веков то вкупе, то в розницу, если по-современному, как раз и составляют стержневую основу развития мирового сообщества, и практикуемая в исторической науке периодизация эпох вполне могла бы основываться на приоритетном применении того или иного диктовавшегося обстоятельствами силового, духовного, экономического способа закабаления людских масс. Были времена, когда на передний план выдвигался метод силового устрашения, и времена эти отмечены нашествиями азиатских и европейских орд (не стало исключением в этом смысле и двадцатое столетие, отметившееся безумством двух кровавейших мировых войн); были времена, когда приоритет в этой сфере поводырских деяний отдавался церкви (для Европы это мрачное Средневековье с крестовыми походами, иезуитскими судами и кострами инквизиции, для России — елейно-излиянные проповеди смирения и всепокорства), и этот метод тоже не истощил своей значимости, но, напротив, обрел через деяния ангажированных СМИ, кичащихся независимостью в холопском обслуживании финансово-промышленных олигархических кланов, новое сверхмогущественное «второе дыхание»; точно то же можно сказать и относительно метода экономического воздействия, который в канун третьего тысячелетия от Рождества Христова становится главнейшей (в содружестве престольных чужеродств) базовой основой фараоновской единодержавности. Мы не знаем, с чего начиналась власть, стихийное ли это, не стихийное ли явление человеческого мироустройства; если даже она вытекала из естественных потребностей или закономерностей, то тем более в изначальном своем значении, несомненно, носила организующий и охранительный характер, в чем, впрочем, легко можно убедиться, обратившись, скажем, к идиллической самобытности «славных Гипербореев»; но, не имея возможности познавать историю в ее действительном

проявлении и вынужденные воспринимать ее по канонизированным трудам ученых мужей, главным образом ученых мужей новейших времен, то есть со всеми теми искажениями, вымыслами и недомолвками, в которых, как в вязкой трясине догм, ни с какой стороны не относящихся к естественному ходу событий, топится любая историческая истина, мы застаем власть в том готовом, завершеном значении зла, в каком она повсеместно предстает и сегодня, как некое предначертанное будто бы свыше (возможно, природной заданностью, как некоторые склонны утверждать) испытание для рода человеческого, и эта-то противоестественность, возведенная или, точнее, возводимая, ибо процесс познания (искажения) прошлого не исчерпан и историческая наука, надо полагать, не собирается останавливаться на «достигнутом», — эта-то противоестественность, возведенная в ранг естественных закономерностей, как раз и отнимает у нас возможность реально воспринимать и оценивать происходившее и происходящее с нами в текущей действительности. Да, мы застаем власть, как слагаемое человеческого бытия уже в готовом, законченном средоточии зла, и, не желая признавать всеглавенствующей роли этого зла (народ, массы — вот, дескать, критерий исторической истины, движущая сила общественной жизни), то есть власти, от которой и к которой стекаются все связующие нити судьбоносных и несудьбоносных для народов, для человечества деяний, лишаем себя той научной основы или опоры, на которой только и можно было бы воссоздать картину реального бытия. Власть и способы ее обретения и поддержания, заключенные в вышеназванных господствующих формулах порабощения масс, представляют собой, в сущности, единое и неделимое понятие, отражающее лишь грани власти, равно сконцентрированной (от древнеегипетского первородства) как в ордах войск, возглавляемых теми или иными тиранами, на штыках или на остриях мечей и копий водворявшимися на престол, так и в сонмах чернорясников, возглавляемых патриархами и разными прочими (в обобщенном толковании) «архами» столь же алчно, как и светскими правителями, рвущимися на духовный (божественный) трон, и в национально-единых финансово-промышленных олигархических кланах, присвоивших себе весь или почти весь золотой запас человечества и готовых уже сейчас возложить на себя одновременно и светскую, и духовную, и экономическую власть. В разное время власть сосредоточивалась то в руках полководцев, опиравшихся на воинскую силу, то у духовных владык, ловко и ныне манипулирующих понятиями ада и рая, и если церковь, считающаяся отделенной от государства, официально вроде бы не изъявляет стремления встать над светской властью, то это еще не означает, что историческое противоборство сих двух корон завершено; в истории, если судить по канонизированному ее изложению, почти не зафиксированы светско-церковные войны, тогда как именно эти войны за право на единогогосподство, вспыхивавшие будто бы по иным причинам, были самыми жестокими и кровопролитными. Рецидивы этих войн в современной действительности только подтверждают тиранские страсти былинных эпох; они же дают основание полагать, что самым великим искушением для людей, особенно зараженных вирусом богоизбранности, была и остается власть, которая (что становится более чем явным) ядерным сгустком своим, своей стержневой заданностью неторопливо, но основательно перетекает сегодня к клану финансово-промышленных воротил, оформляясь в новый (впрочем, по коду все тех же фараоновских пирамид) тиранский диктат и снисходительно оставляя отжившим и отживающим монархическо-республиканско-демократическим режимам роль музейных (патриархальных, экзотических) экспонатов, должных украшать тронные залы новопришлых (от капитала) хозяев земли. Мировое сообщество, мне кажется, переживает сейчас очередной кризис жизни и власти, сравнимый разве что с кризисом времен пика Римской империи, времен триумфальных цезарских походов и безудержного нероновского разврата, приведших в конце концов могущественную империю к гибели (таким же, впрочем, историческим примером могут служить Древний Египет, античная Греция, Священная — в центре Европы — Римская империя Карла Великого, арабский и турецкий халифаты или владычица морей Великобритания); участь этих империй была предрешена уже тем, что у властителей их имелся в запасе известный вариант бессмертия — исход на новые обетованные земли,

тогда как нынешним постфараоновским диктаторам уже некуда «исходить», запас первозданных обетованных земель иссяк, и сознание грядущего тупика, сознание краха (ведь история может безжалостно повториться) как раз и заставило их обратиться к давно, впрочем, назревавшему экономическому захвату и закабалению людских сообществ.

LXVII

Да, мир сегодня стоит на пороге очередного поводярыского поворота жизни, и все разговоры о выборности власти, о свободе предпринимательства, свободе творческого проявления личности, о правах человека, будто оглашением этих прав и в самом деле выравниваются стартовые условия представителей элитных семей и представителей нищенствующего, бесправного, обобранного и униженного во всех отношениях большинства, то есть народа (в сущности, у кого капитал, у кого сила, тот и Бог, у того и права, и трудно сказать, есть ли вообще хоть что-либо новое в этой оживляемой ныне пращурной «мудрости», которая стара как мир и, кроме миражного обольщения, ничего не несет в себе подобно всем другим понятиям из азбучного словаря фараоновского обмана),— разговоры эти, эти подающиеся в виде новых и новейших социальных открытий, социальных обретений, готовых, словно манна небесная, свалиться на нас, сто́ит лишь поддержать неполитизированный и национально аморфный будто бы (если не считать «богоизбранной единоплеменности») экономический диктат, идущий на смену монархическому и республиканско-демократическому абсолютизму (я не оговорился, нет, ибо, как ни называй тронную власть, императорской или президентской, стержневая основа господства и рабства всегда остается неизменной),— да, разговоры эти, эти подающиеся в виде новых и новейших открытий социальные истины являются по сути своей не более как отвлекающим маневром в стратегическом зомбинашестве на простодушные и доверчивые людские массы. Ведь если разобраться, далеко еще не забытое старое нам пытаются преподнести сегодня как нечто не просто новое, открывающее путь ко всеобщему благоденствию, но как источник неисчерпаемой благодати, словно олигархи от капитала и впрямь решили одарить жаждущее благ человечество фараоновскими щедротами от «века Богов». Нам сулят гармонию бытия, но суть этой гармонии, которую легко можно вычислить или вычленить из деяний, совершавшихся на пространстве веков и творимых (все теми же «богоизбранниками» от капитала) сегодня,— суть этой гармонии заключена в некоем добровольном будто бы и благомном сожительстве дворцов и хижин, когда бы, как в Древнем Египте, господа признавались господами, но не под страхом силового, духовного, экономического принуждения, а в силу интеллектуальной, скажем так, одаренности (что, по сути, является лишь оборотной стороной одной и той же медали «богоизбранности»), в силу неких наследственно-династических способностей — от пахаря пахарь, от дипломата дипломат, от князя князь, от царя царь, от банкира банкир и т. д.,— коими, как мандатом на власть (ну прямо-таки по Аристотелю), уже в момент рождения одариваются элитные чада, и когда бы, опять же как в Древнем Египте, простой люд, обращенный в рабов, смиренно признав свою умственную ущербность перед недосыгаемым интеллектом поводярыствующих особ (интеллектом на господство, барство, тиранство, власть), почтал бы за честь омыть ноги своему повелителю, услужить ему и умереть за него. Именно эта гармония беспардонно возводится сегодня всеми средствами внушения (зомбирования) в идеал жизни, и омыwać ноги и прислуживать придется уже не фараону с его элитной дворцовой челядью, а «золотому миллиарду» (наверное, все же миллиону, ибо, возможно, и тут заложен известный фараоновский обман), вознесенному на трон экономической, да, повторяю, экономической вседержавности. Мне не хотелось бы разбирать здесь сравнительные (по обеспечению долголетия) достоинства и сравнительные (с тех же позиций) недостатки тронных властителей, прибегавших (может быть, по повелению веков) то к методу силового, то духовного, то экономического подавления, поскольку суть порабощения от этого не претерпевала никаких изменений, и все же должен заметить, исходя из фактов исторической и текущей действительности, что самым бездушным и бесчеловечным был и остается экономиче-

ский гнет, когда народы, обезземеленные на своих исконных землях, обрекаются на нищету, голод и вымирание, примером чему могут служить судьбы бесследно исчезнувших и продолжающих исчезать коренных народов и народностей африканского, европейского, азиатского, американского и австралийского континентов. Люди издревле знали, что право на частную собственность (прежде всего на землю) есть, по существу, право на жизнь; истина сия никогда не оспаривалась ни историками, ни философами, хотя в большинстве случаев ученые мужи старались и стараются избегать прямых и откровенных высказываний на эту тему; причина же этой отнюдь не странной, а скорее закономерной осторожности видится мне в том, что право на частную собственность, как оно воспринималось и продолжает восприниматься в народе, ограниченное пределом разумной достаточности базовых средств к жизни (условие, при котором все люди могли бы равно самообеспечивать себя), — право это, центрировавшее жизненный уклад «славных Гипербореев», как, впрочем, и большинства народов, в том числе и населявших берега исторического Нила, в реальной действительности давно и бесповоротно, начиная с фараоновских времен, трансформировалось в монопольное право на владение всем (и прежде всего землей), что составляло и составляет основу человеческого бытия, и эта-то трансформация, превратившая бесчисленные массы простолюдинов в безземельных и бесправных рабов, как раз и является тем «камнем преткновения», на который наталкиваются и который трюноугоднически стараются обходить мужи науки. Земля — это власть, кто владеет ею, тот и господин; земля в то же время — базовая основа экономической деятельности как отдельных человеческих особей, так и народов, и государств, а потому право на владение этой базовой основой (монопольное ли, ограниченное ли разумной достаточностью для каждого) есть, по существу, тот барометр общего и избранно-дворцового благополучия (благополучия семьи, рода, племени, если в разрезе веков, народа, государства, кланов государств, соединенных в империю или, как сейчас, в мировое господство), которым только и должна измеряться, но никогда не измерялась, как не измеряется и сегодня, социальная и нравственная жизнь людских сообществ. Фараоны Египта, дав миру образец абсолютистской власти, дали и непревзойденный образец монопольного права на владение землей и соответственно ее недрами, водными (морскими) ресурсами, и право это, как и право «богоизбранных» на власть, совершенствуясь в тысячелетиях, предстает сегодня столь же бессмертным в своей фараоновской заданности, как и закодированная в пирамидах формула хищнического мироустройства, кандально сковавшая (и, похоже, до окончания веков) человечество цепями господства и рабства. Ни историческая, ни экономическая наука не дают четкого представления о становлении и развитии монопольного (главным образом на землю) права, этого поработительского, иначе не назовешь, молоха нашего бытия, и, думаю, не случайно, ибо точно так же, как в деяниях власти, представляющей собой некую безальтернативную организующую силу, центрирующую жизнь людских сообществ, так и в монопольном предпринимательстве, выступающем в роли безальтернативного двигателя прогресса, есть то, что ни правителям, ни магнатам от финансовых и промышленных монополий не хотелось бы придавать широкой, тем более широчайшей (до прозрения масс) гласности; народы должны воспринимать правду только в рамках понятий из азбучного словаря фараоновского обмана, то есть в той мифической парадности, в какой со времен пирамид, да, именно с тех пращурных времен, преподносились и продолжают преподноситься реально происходившие и происходящие события. Монопольное право, как расширенное и канонизированное право на собственность, является продуктом навязанной всем нам древнеегипетской (хищнической) цивилизации; но в то время как мы безоговорочно признаем истоком цивилизации Древний Египет, монопольное право на владение землей, недрами, морскими (водными) ресурсами, имеющее прямое отношение к истоку цивилизации, то есть к сорокавековому фараоновскому правлению, не только не рассматривается как привнесенное с берегов Нила общественное зло, обезземелившее и обесправившее простой люд на всех, да, теперь уже на всех континентах, но и вообще не связывается с той пращурной эпохой, именуемой «зарей человечества», а преподносится как некая естественная, про-

диктованная будто бы развитием научного и технического прогресса потребность человеческого бытия (в конце концов все, как утверждают приверженцы этой тронноисходной или, вернее, троннопродиктованной теории, проходит эволюционный или революционный путь развития, и право на частную собственность в этом плане не исключение). Однако позволю себе не согласиться с таким выводом, поскольку разговор об эволюционном, революционном и тем более естественном развитии того или иного исторического явления может вестись лишь в том случае, если изменениям подвергается стержневая сущность, а не только украшающая эту сущность упаковка (или оболочка, или одеяние), рукотворно, в согласии, скажем, с поветрием эпох изготовленная «мудрецами» от «могущественных и нетленных» элитных, дворцовых, пьедестально-иконостасных особ. Что касается монопольного права вообще и монопольного права на землю в частности как на базовую основу жизни людских сообществ, то оно за двенадцать или пятнадцать тысячелетий с момента возникновения ни разу в стержневой своей основе не подвергалось, как, впрочем, и хищническое мироустройство в целом, никаким изменениям, что легко просматривается на пространстве прожитых человечеством эпох. Если бы фараоны не владели землей, вряд ли было бы возможно столь всеохватное и беспросветное рабство, какое в течение сорока веков торжествовало в Древнем Египте и давало возможность самообъявленным богоизбранникам безмятежно восседать на престоле, и пример этот оказался настолько заразительным, что уже ни постфараоновские правители, ни копировавшие их власть князья, герцоги, графы, бароны, столбовое и нестолбовое дворянство, а позднее и подключившиеся к ним крупнейшие землевладельцы (латифундисты) не могли отказаться от этого простого, бесчеловечного, но эффективного способа обогащения; это ведь по примеру Египта (в социальном срезе) явились на свет илоты Греции, плебеи Рима, смерды (славяне) России, обращенные в крепостных от помещиков и бояр, а затем и от государственных («победивший пролетариат») структур, и если даже судить по этим означенным векам (тогда как подобной участи поочередно подвергались все народы), то и в этом случае однозначно можно прийти к выводу, что точно так же, как дворцовая жизнь в барстве и роскоши, перешедшая в свое время от фараонов к королям, царям, императорам, а от них к президентам, премьерам и готовая перейти к олигархам от финансовых и промышленных монополий, не растеряла, как и не приобрела ничего нового за прожитые тысячелетия, — неизменной была и остается кабальная и бесправная жизнь хижин, эстафетно в нищете и страданиях перенесенная поколениями простолюдинов, какой мы видим ее и сегодня в упаковке провозглашенных «демократических свобод» и неотъемных будто бы от нас «прав человека». Ни затишья, ни вихри эпох не изменили ни сути господства, ни сути рабства, ни сути монопольного права (да ведь и мир в конце концов не стал благороднее, добрее, снисходительнее, и в нем как не было человечности, так нет ее и сегодня), произошло только количественное увеличение этого порожденного династиями фараонов зла да приумножилась хамелеонная способность рядиться в миражную благодать новых, грядущих эпох. Так это или не так, каждый может убедиться на примере своей семьи, своего народа, государства, наконец, на примере собственной жизни; я же остановлюсь здесь лишь на монопольном праве на землю, как оно действовало в веках, и что сегодня стоит за этим удушающим народы и государства и безобидным вроде бы, как подают его, правом на частную собственность.

LXVIII

Издrevле, то есть опять же с появлением фараонов на арене исторических действий, «богоизбранники» всех мастей, чтобы утвердиться во власти, прежде всего старались прибрать к рукам, если так можно выразиться, главнейшие источники человеческого жизнеобеспечения, которые позволили бы им управлять массами, и несмотря на некую будто бы примитивность своего мышления, но, может, как раз и благодаря этой примитивности или, вернее, простоте и ясности в достижении цели, в чем, собственно, и заключена вся ныне удивляющая нас «мудрость» былинных времен, взоры их были обращены к земле как к кормилице, подававшей к столу «хлеб насущный» и приносившей богатство и

власть; и они не ошиблись, выбор их оказался настолько прозорливым и действительно-долголетним, что ни одно из постфараоновских поколений правителей с тех пращурных времен даже не пыталось хоть чем-либо заменить этот самоканонизировавшийся с годами в естественную закономерность ориентир тронных притязаний. Возможно, то, что я скажу сейчас, покажется кощунственным по отношению к историческому бытию народов, веками пребывавших в нищете, бесправии, рабстве, но как в деяниях светлых, так и в деяниях темных, творившихся на пространстве эпох, бывали и свои взлеты, и свои падения, отмеченные, с одной стороны, народным, а с другой — тиранствующим гением; народ велик добронравием, миролюбием, доверчивостью, стремлением к справедливости и основательности, велик постоянством в проявлении этих деловых и нравственных качеств, от которых всегда зависела и будет зависеть гармония общественного бытия (и которые, впрочем, делают народ уязвимым и беззащитным в обстановке навязанного хищничества), тогда как кумиры-поводыри, сообразовавшиеся в древо власти, в клан «богоизбранных», озабоченных сохранением статуса своего дворцового существования, но, возможно, и выживания, принуждены были измерять (да и измеряли, и измеряют сегодня) свои поводырские деяния совсем по иной шкале ценностей — шкале бездушия, жестокости и ненасытности в обретении богатств, славы и власти, и, стремясь удовлетворить эту свою ненасытность, как раз и изошрялись в поисках способов (методов, приемов) порабощения масс. Сегодня, как и сто, двести, триста и тысячу лет назад (и несмотря на «величайшие» будто бы открытия, сделанные исторической и философской науками), никто с определенностью не может сказать, откуда взялись фараоны на древнеегипетской земле (и почему именно на древнеегипетской?); среди ученых муссируются по преимуществу две версии или теории: климатическая, то есть эволюционная, естественная, основанная на благодатных природных условиях, способствовавших будто бы опережающему развитию общественных отношений и становлению общественного бытия, и мифическая, или мистическая, указывающая на пришельцев из некоей внеземной цивилизации, оказавшихся на берегах Нила, и хотя версии эти или теории вроде бы подкреплены определенными историческими доказательствами (весьма и весьма, впрочем, сомнительного толка), разными правдоподобными вымыслами и домыслами, возводимыми в ранг научных открытий, но все они скорее напоминают миражную, чем истинную картину происходившего. Климатическая (эволюционная, естественная) не выдерживает критики уже тем, что не только жители Древнего Египта оказались в особо благоприятных природных условиях, которые могли бы способствовать опережающему развитию людских сообществ; и столь же не выдерживает критики мифическая (мистическая), выдвигающая в качестве основополагающего аргумента некие наскальные изображения человеческих фигур в странных, напоминающих скафандры одеяниях (что вполне можно признать достаточным для предположений, но нельзя признать достаточным для выводов и утверждений), и в чем же тогда заключается искомая истина? История темна, и с этим нельзя не согласиться; но, думаю, темна не потому, что горизонт прошлого затянут смогом эпох, а потому, что те, кто мог бы и должен был (в силу своего академического статуса), отвернув полог, заглянуть за него, не решились, как не решаются и сегодня сделать это. В противном случае им пришлось бы обратиться к тем пращурным (судьбоопределяющим, судьбоносным) событиям или процессам развития, вернее, к тому переходному периоду, предопределившему классовое расслоение, когда люди вроде бы самопоставили себя, как это трактуется в официальных историографиях, перед выбором, продолжать ли им пребывать в состоянии аморфности (так именно принято оценивать идиллическую — «славные Гипербореи» — систему бытия) или выйти на стезю динамизма, стезю классового расслоения, чреватую человеконенавистничеством, то есть противостояниями, противоборствами, войнами, нашествиями, возникновением господства и рабства и всем тем, что сопутствовало в веках становлению хищнического миропорядка, обернувшегося для всех нас необратимым историческим трагизмом, — да, пришлось бы спуститься к истокам этого омутно скрутившего нас мироустройства и открыть истину. Но такая истина не нужна была ни древнеегипетским фараонам, ни постфараоновским (в

единстве престольного чужеродства) поводырям жизни, как не нужна она и нынешним судьбовершителям мира, с высоты тронов холодно взирающим на страдания простолудинских масс, и этой именно троннопродуктованной заданностью объясняется тот факт, что историки и философы в своих трудах словно бы застают Древний Египет на пике своего исторического (фараоновского, со стержнем господства и рабства) совершенства, от которого, собственно, и принято вести отсчет «великой цивилизации». Именуемая «зарей человечества» древнеегипетская государственность (древнеегипетская цивилизация) вызывала, как продолжает вызывать и сегодня, восторг не столько даже у правителей, во все времена довольствовавшихся лишь мартышечьим копированием созданной фараонами системы общественного бытия (а если в чем-то и были горазды, то разве что в модификации социальных одежд и совершенствовании и пополнении известного азбучного словаря обмана), сколько у обслуживавших троны с холопской добросовестностью иерархов от исторических и философских знаний, а затем уже через труды этих иерархов, назидательно озвучивавшихся на пространстве веков, и у доверчивых людских масс. Этот конвейерно-закольцованный процесс зомбирования, как вечный двигатель, подающий ложь на стол народного просветительства, представляет собой далеко и далеко не безобидное явление, ибо в результате именно такого «просветительства» у большинства народов выработался за тысячелетия достаточно стойкий иммунитет к восприятию исторической достоверности (что особенно характерно для нас, для славянства — и в смысле перманентно подаваемой лжи, и в смысле укоренившегося иммунитета); мы вслед за учеными мужами восторгаемся фараонами, как сверходаренными личностями, кажущимися нам вроде бы и в самом деле не от мира сего, и, охваченные этим почти божественным удивлением, забываем, во что превратили эти сверхчеловеки свой народ, словно он для того только и явился на свет, чтобы возводить пирамиды и ложиться костями у подножия этих величественно будто бы устремленных в вечность фараоновских усыпальниц; да, мы, в сущности, восторгаемся позолоченными наручниками и кандалами, поражаясь изяществу и совершенству их форм и не вдумываясь в их предназначение, тогда как, изначально созданные для закабаления древних египтян, они сыграли затем в веках самую, может быть, зловещую роль в становлении и развитии людских сообществ (в становлении и развитии общественных отношений и общественного бытия), и если мы, отягощенные состоянием текущей жизни, не всегда способны разглядеть их в сковавших нас рэкетирских законах государств-монстров, в бездушии и безжалостности престольных чужеродств, взявших над нами власть и удерживающих ее силовым, духовным и экономическим устрашением, в зомбонимбе религий, тронноприслуживании искусств и холостующих наук, культуры, просвещения, — если мы, повторяю, отягощенные состоянием текущего бытия, не в силах разглядеть (или просто-напросто нам не дают сделать это) позолоченных фараоновских наручников и позолоченных рабских цепей на себе, то это вовсе не означает, что древнеегипетское державное наследие уже не тяготит нас, что оно отброшено, как старые, стоптаные башмаки, и что пирамиды, некогда являвшие собой закодированную формулу жизни, а ныне предстающие перед нами лишь как туристические экспонаты, овеванные легендами былинных времен, — нет, нет, это вовсе не означает, что на Земле уже нет ни господства, ни рабства, что фараоновское прошлое отступило от нас и что человечество, готовое снова и снова уповать на «мудрость» кумиров-поводырей, оставив позади пик унижительного рабства, размашисто устремлено к пику всеобщего благоденствия. Это патетическое, я бы назвал его так, несовпадение между восприятием действительности и ее реальным воплощением как раз и является главным источником нашего перманентного обмана или скорее самообмана, ставшего ахиллесовой (выше я уже обращался к этому образному выражению) пятой народной жизни, которой, открыв ее для себя, пользовались фараоны для удовлетворения своих тронных притязаний, а затем с таким же успехом пользовались и продолжают пользоваться все монархические, республиканские (читай: олигархические, обряженные в благодетелей-демократов) корононосцы Земли. Из поколения в поколение мы оказываемся в одной и той же ловушке обмана, испытанной изначально на древних египтянах, и,

закольцованные в тупике исторического невежества, ищем познание мира не в сути творившихся эпохальных явлений, а в доступных взору и оваянных небывшими и легендами символах некой былой могущественной, почти божественной власти, которые вернее было бы именовать символами народных страданий и бед, но есть традиции в восприятии, подпитываемые верой в торжество справедливости, братства, и они куда более живучи в нас, чем доверие к холодному и рассудочному разуму, пугающему откровением реального бытия, и потому в своих деяниях мы чаще опираемся на эмоции, полагая, что проявляем личность, чем на багаж накопленных человеческих знаний, и традиционное вхождение в мир для каждого поколения оборачивается таким же традиционно-драматическим (с запоздалым прозрением, запоздалой мудростью) завершением. Мы словно бы, выйдя из полутемных сеней, дивимся на простор, залитый солнцем, и безоблачный горизонт, упирающийся в разноцветье трав, вселяет в нас веру в столь же безоблачное будущее, и чувство, возникающее при этом, сообразовавшись в светлый идеал, уже до конца жизни не покидает нас, руководя нашими поступками (в противоборстве со злом и неприятием его) и делами. Такова, на мой взгляд, формула жизни простых людей (разумеется, не в буквальном, а в образном выражении), замордованных мирскими и религиозными догмами о покорстве и смирении перед божественной и светской властью и пробивающихся сквозь наслоения этих догм, как ростки сквозь наледь, сковавшую землю, со своим народным представлением о целях и смысле бытия, и в этом извечном процессе выживания все силы растрачиваются главным образом в противоборстве с сиюминутным злом, превращая это противоборство в сизифов труд и ничего или почти ничего не оставляя на познание глубинной, корневой основы этого зла. То, что преподносится нам исторической наукой, — ложь; то, что могло бы осветить истинный ход развития человечества, скрыто за семью печатями; чувство отторженности от исторической достоверности и аллергическое неприятие лжи, из столетия в столетие льющейся на нас, как раз и делает нас не участниками, а некими ротозействующими соглядатаями происходившего (в канонизированном изложении) и происходящего (в нимбе обольстительных обещаний) исторического процесса.

LXIX

Может быть, кому-то покажется странным, что все явления (или атрибуты) текущей жизни, связанные с понятиями «власть», «государственность», «наука», «религия», «культура», «искусство», «просвещение» (привожу лишь этот усеченный ряд прислужников, поскольку на перечисление всего аппарата чиновничье-силовых, чиновничье-духовных, чиновничье-экономических служб державного контроля и державного подавления потребовался бы еще том к этому и без того объемному повествованию), — все-все явления текущей жизни, укрепляющие власть и делающие народ бесправным (что, впрочем, характерно для всех сменявших друг друга социальных систем), уходят корнями к сорокавековому господству фараонов на древнеегипетской земле, и хотя принято полагать, что самым могущественным памятником их династического царствования, их власти, власти вообще, являются пирамиды, привлекающие ныне толпы развлекающихся туристов, но, мне кажется, бессмертный в злодействах против человечества «подвиг» сих первопрородцев-поводырей (в конце концов ведь это их тиранский режим именуется ныне «колыбелью цивилизации») отмечен куда более нетленным, пронизавшим века памятником — хищническим мироустройством. Чтобы познать значение пирамид, значение созданной фараонами цивилизации и государственности в ней как организующей основы общественного бытия, предначертанной будто бы самим ходом развития человечества (пожалуй, здесь следовало бы уточнить, что было первичным и что вторичным, государственность ли вышла из цивилизации, но в таком случае остаются необъяснимыми корни этого социального явления, ибо бесклассовое общество может породить только бесклассовую цивилизацию, или же, напротив, цивилизация как выражение хищнических начал явилась продуктом или скорее потребностью государственности, устремленной к безграничной концентрации власти, что более согласуется и с логическим толкованием событий, и с их реальным воплощением

ем), — чтобы познать, уточняя, значение «века Богов», канонно определившего путь развития людских сообществ, а затем и мирового сообщества в целом, вовсе не обязательно устремляться к подножию каменно-застывших фараоновских усыпальниц, поскольку даже самые величественные надгробья, могильники или пантеоны скорее говорят нам о тщете веков, тщете как народных, так и поводырских усилий, чем о преемственности неких незыблемо-господских, богоположенных будто бы и незыблемо-рабских и опять же будто бы богоположенных форм общественного бытия. Ну, были фараоны, забальзамированные тела которых все еще до сих пор вроде бы источают величие и могущество власти, были рабы, наскально, в рисунках, бредущие в вечность (рабство, как видим, и в бессмертии остается рабством), но ведь символы прошлого, какими бы впечатляющими ни представлялись перед нами, всегда остаются только символами, контурно очерчивающими границы эпох, они лишены той наполненности жизни (с одной стороны, пресыщенной, дворцовой, барской, а с другой — нищенской, бесправной, униженной), которая только и способна пробуждать в нас соучастие к судьбам исторических личностей, историческим судьбам народов и государств. Конечно, я понимаю, что словосочетание «наполненность жизни» едва ли применимо к ушедшим в небытие историческим процессам, поскольку, как говаривал еще Козьма Прутков, объять необъятное невозможно; однако явление это, называемое в просторечье соучастием, сопереживанием, состраданием (хотя бы и применительно к событиям давно минувших эпох), — явление это существует, и оно находится в прямой зависимости от того, насколько правдиво, правдоподобно или неправдоподобно представлены те или иные события в историческом контексте действий, а в какой степени связаны с национальным достоинством того или иного народа. Символы древнеегипетского могущества фараонов, как и символы ужасающего древнеегипетского рабства (в конце концов не от сладкой жизни, как уже упоминалось выше, египтяне толпами шли к Нилу и отдавались на съедение крокодилам), — символы эти, разумеется, не оставляют нас равнодушными, но в то же время и не оседают в душах тем тяжелым грузом, который заставлял бы задумываться над «веком Богов», неисчислимыми жертвами обернувшимся для древнеегипетского народа, над историей вообще, утыканной кровавыми вежами войн и залитой слезами обездоленных и закабаленных людских масс, и, главное, над тем, что связывает нас, славянство, с общим ходом истории; но этого не происходит, и не потому, что простой (русский) люд в массе своей либо лишен должного воображения, либо так-таки ничего не слышал о Древнем Египте, его фараонах, рабах и пирамидах, продолжающих будто бы и ныне сохранять нераскрытые тайны веков, — я отрицаю самую возможность подобных суждений, ибо не считаю невежество, тем более историческое, в каком держали и продолжают удерживать людские массы, чем-то врожденным и невосполнимым, что якобы отличает простонародье от поводырствующих особ; причина в другом, и она не за семью замками, как полагают многие, старавшиеся и старающиеся снискать себе лавры на поприще изучения старины, не выброшена в космос для вечных скитаний, а здесь, на земле, с нами, и суть ее заключена, во-первых, в самой исторической науке, заинтересованной скорее в искажении, чем в прояснении реалий древнего бытия (в противном случае не явились бы на свет и не муссировались рассчитанные на определенное воздействие понятия «заря человечества» и «колыбель цивилизации» применительно к сорокавековому фараоновскому режиму господства и рабства), и во-вторых, в просвещении, то есть в усердии, с каким сии историко-научные (академические) изыскания вдалбливаются через школьные и вузовские учебники в головы каждого входящего в жизнь нового поколения молодых людей. Главное, что мы узнаем из этих учебников (что тронно разрешено или тронно задано узнавать нам), что Древний Египет дал миру великую культуру и великую цивилизацию, и, позволив таким своеобразным способом определиться народам в единых общечеловеческих ценностях (ценностях прислуживания фараонам, ибо что еще мог дать режим господства и рабства?), вывел или, вернее, стимулировал ускоренный выход человечества из эпохи «дикости и варварства» к вежам «прогресса и процветания». Ученые мужи видят в этом процессе только благо и воспевают его, тем самым хотя вроде бы и косвенно дают оценку повсеместно ныне тор-

жествящему хищническому мироустройству, этому главному детищу фараонов, молохом войн, нищеты и страданий перемалывающему судьбы личностей и людских сообществ, и ничего не говорят о том, что же на самом деле происходило в эпоху двадцативекового постфараоновского развития и было да и остается доминантой всего нашего исторического трагизма. Культура, как и государственность, является всего лишь составной одного общего понятия — цивилизация; цивилизация же, если толковать ее в народном восприятии, это состояние и оценка общей жизни людей на том или ином этапе развития, и если приложить это понятие (согласно простой логике) к жизни древних египтян (фараоны и рабы), то станет ясно, какое устройство бытия они только и могли предложить миру для потребления. Выйдя из обескровленного, истощенного, обглоданного Египта на простор обетованных земель, династические держатели фараоновского стержня господства и рабства вынесли с собой и весь тот хищнический миропорядок, какой в течение сорока веков апробировался и отшлифовывался ими на берегах Нила, обеспечивая тронное барство и тронное долголетие, и вся история человечества, сколько бы мы ни украшали ее некими будто бы величественными деяниями пьедестально-иконостасных поводырей и ни тешили себя лестницей сменявших друг друга социальных систем, полагая, что в этом и состоит вся динамика нашего развития, — история человечества писалась да и продолжает писаться кровавыми схватками между вышедшей на захват мирового господства хищнической (от древнеегипетского первородства) цивилизацией и всеми остальными, пребывавшими в идиллическом состоянии бытия племенами, народами и народностями. Если бы прошлое подавалось нам в этом реалистическом воплощении, то весь ход исторического развития имел бы для нас совсем иное значение и мы без труда могли бы вычислить истоки всех когда-либо обрушивавшихся на нас социальных бед, и создатели пирамид, то есть фараоны, воспринимались бы нами не гениями добра, осчастливившими будто бы человечество своей великой цивилизацией и государственностью в ней со стержнем господства и рабства, а гениями зла, положившими начало процессу всеохватного закабаления народов (путем насаждения среди завоеванных людских сообществ единоплеменных для себя престольных чужеродств), и так называемая великая культура, обслуживавшая фараонов на их египетском престоле и вышедшая с ними на захват обетованных земель (что равно можно отнести и к искусству, наукам, экономике, уже тогда ориентированной на монопольное владение землей, и ко всем другим институтам закрепившейся в нише своего бытия власти), — великая культура предстала бы перед нами не в той привычной для нашего восприятия роли сеятеля «доброего, вечного», у которого на грамм благоденствия обычно приходится тонна разложения и разврата, а во всей своей откровенно-воинственной фараоновской заданности подавлять и сводить на нет все, что духовно, материально, национально противостояло и продолжает еще противостоять хищничеству. Думаю, сегодня вряд ли кто-либо всерьез возьмется отрицать, что история человечества есть не больше не меньше как движение к мировому господству через глобальное порабощение, и если мы хотим познать истину, то нам прежде всего следует обратиться к истоку этого движения, то есть конкретно к тому периоду истории (в данном случае древнеегипетской) и к тому народу, в котором зарождался и накапливался, чтобы выплеснуться затем на просторы обетованных земель, весь ужасающий потенциал этого неостановимого зла. Ученые мужи заверяют, что строго придерживаются в своих деяниях этого «кодекса науки» и что единственной целью их подвижнических изысканий является установление исторической правды; однако этот же «кодекс», как показывает действительность, не мешает им в то же время достаточно произвольно манипулировать историческими фактами (что можно было бы образно сравнить с выбором печки, от которой выгодно или невыгодно начинать пляску), и масштабы этого в общем-то канонизированного произвола столь велики, обширны и значимы в сфере исторического познания, что их невозможно почти охватить никаким даже самым изощренным воображением. Известно, что именно в «веке Богов» в идиллической (бесклассовое общество) жизни древних египтян четко обозначились контуры двух противостоящих друг другу социальных начал, сообразовавшихся, с одной стороны, в древо вла-

сти (фараоны, пекущиеся о тронном благополучии), а с другой — в древо народной жизни (рабы, лишенные земли и воли и поставленные в условия повседневной выживаемости), и хотя принято считать, что двух истин не бывает, особенно если дело касается исторической и текущей действительности, реальность всегда остается реальностью, ее нельзя изменить, и ученые мужи, столкнувшись с этой реальностью, оказались в том затруднительном положении, когда, не имея возможности сказать правду, но и не желая представлять откровенными искажителями истории, самопоставили себя перед выбором, взять ли им за основу пресыщенное бытие фараонов, чтобы было на что опереться в рассуждениях о «великой» древнеегипетской цивилизации и столь же «великой» культуре, ибо не только правда, но и правдоподобие требуют подтверждений, или обратиться к быту рабов, исполненному страданий и унижений, но в таком случае пришлось бы говорить уже не о цивилизации, а о тиранстве и, следовательно, подвергнуть пересмотру (чего, естественно, никто бы не позволил сделать им) всю сложившуюся под оком поводырей историю человечества, и эта-то тупиковая ситуация, эта безысходность выбора как раз, видимо, и позволила им выйти на рубеж обобщенного толкования и восприятия событий, когда значение истока могло определяться не выбором печки (согласно приводившемуся уже здесь образному выражению), от которой идти в пляс, а подбором понятий — «народная жизнь», «от народа», «из народных потребностей», коими фарисейски, да, конечно же, фарисейски (что, впрочем, не сразу и не каждый поймет) будет поименована отправная точка отсчета. У меня нет возможности точно установить, как все происходило на самом деле, какими подробностями сопровождалось и кто первым решился соединить воедино пресыщенную жизнь господ и рабскую жизнь простолюдинов в обобщенных понятиях «народ» и «жизнь» (возможно, случилось это еще до сорокавекового фараоновского правления в Египте, в период классового расслоения), но речь не о возведении памятника безымянному гению, а о тех последних, какими обернулось для человечества это открытие, позволяющее и нынешним историкам и философам оправдывать с помощью понятий «народ» и «жизнь» как творившийся, так и творящийся современными кумирами-поводырями тиранский произвол.

LXX

Мне кажется, ни в какой области познаний нет такого простора для подмены понятий, как в исторической и философских науках, весь «кодекс» которых, разработанный и канонизированный во дворцах и храмах, состоит не в том, чтобы найти и узаконить историческую истину (что было бы слишком для народов и привело бы мир к хаосу, как и сегодня думают и говорят во дворцах и храмах), а в том, чтобы эти науки о прошлом и настоящем человечества, сохраняя видимость правды или по крайней мере правдоподобия и оставаясь при этом общенародными, общепризнанными, общедоступными, служили бы элитным обитателям дворцов, а не бесправному хижинному люду, Богу, а не пастве и оберегали бы как зеницу ока авторитет не столько даже духовной власти, у которой свое учение, свои догматы и средства защиты, сколько мирской, светской, превознося и оправдывая тиранские деяния коронованных особ потребностями и волей народных масс. Общая жизнь людей согласно этому «кодексу науки» должна измеряться и оцениваться уровнем дворцового благополучия, шедеврами искусств, могуществом и неколебимостью тронов, а не жалким существованием простолюдинов, которые хотя и составляют главную (большую) часть человечества, но, отнесенные в разряд обездоленных, разряд обслуги, призванной копошиться за порогами барских светлиц, если и могут на что-либо претендовать в истории, то разве лишь на роль безликой, обобщенной в понятии «народ» массы, имеющей на словах значение ведущей, организующей силы в устройстве общественных отношений и общественного бытия, но фактически отстраненной от какого-либо участия в этом узурпированном кумирами-поводырями общественном деле. Тенденция к такому освещению исторических событий просматривается уже в самых начальных летописных трудах, и она, на мой взгляд, вполне объяснима с точки зрения возвеличивания и защиты тронных интересов, что, впрочем, не всегда учитывалось и учитывается исследователями древности

при ссылках на эти достоверные будто бы источники. В «век Богов» и особенно в постфараоновский период, включая и новейшие времена, тенденция эта, то есть предвзятость в подаче и оценках исторических явлений, превращается сначала в традицию, а затем и в узаконенный метод освещения истории, в которой если что и происходило (согласно этой тенденции или предвзятости), то лишь одни царства и царствования заменялись другими, точно такими же, различаясь разве что в масштабах тиранства и порабощения (для подтверждения можно сослаться хотя бы на «Всемирную историю четырех держав» Блаженного Августина или, скажем, на нашу, отечественную, изложенную Карамзиным, Соловьевым, Костомаровым, Ключевским, из которой почти все можно узнать о династическом правлении Рюриковичей и Романовых, то есть варягов и немцев, и почти ничего о тяжелой доле коренного славянского люда, названного смердами и загнанного в крепостничество), и более того, по состоянию именно дворцовой жизни, способной будто бы отражать общую жизнь людей, определялись и продолжают определяться значимость и величие социальных систем. По чьей воле и для чего (хотя можно было бы и не задаваться этим вопросом, ответ на который лежит в драматизме нашего бытия) человечество, словно бы самоотгораживаясь от реалий прошлого и настоящего, позволяет опутывать себя столь плотным частоколом мирских измышлений, что мы уже перестаем понимать: в каком мире живем, то есть живем ли вообще, и что с нами происходит? Ложь, выдаваемая за правду, — явление далеко и далеко не безобидное, особенно когда она пронизывает века, дезориентируя людей в восприятии и оценках своего бытия и лишая целые людские сообщества прав на самобытность развития. Теперь трудно представить, что двигало теми первыми летописцами, положившими в основу своих творений, может быть, и небольшую по тем временам, но вполне, видимо, осмысленную ложь: только ли желание услужить правителям, падким на возвеличивания и похвалы (потребность эта ничуть не убавилась, а, напротив, перешагнула все мыслимые и немыслимые границы у нынешних поводырей мира), или нечто большее, относящееся к стремлению подыграть или, вернее, польстить массам, облагородив их рабское бытие позолотой дворцовых палат и подняв таким образом общую жизнь народа до уровня поводырской пресыщенности, — да, все это трудно теперь установить; но одно при этом остается несомненно ясным, что посеянное на столетие оказалось посеянным на века и, укоренившись на поле троннохолопского услужения, питает человечество своими подслащенными (видимостью правды) плодами лжи, не давая ему возможности ни оглянуться на прошлое, ни оценить настоящее, ни тем более сориентироваться на будущее. Возможно, я в чем-то преувеличиваю, но, мне кажется, человечество давно уже смирилось с таким положением, ибо обман, тысячелетиями сопровождавший нас, стал просто-напросто привычной мирской жизнью, в которой правители довольны тем, что во всех своих античеловеческих деяниях защищены стеной насаждаемой за пределами дворцов и храмов лжи, народы, вечно стремящиеся вырваться из нищеты и бесправия, готовы утешиться хотя бы этим мысленным, то есть бестелесным, историческим приобщением к сказочной, да, именно сказочной, роскоши недоступных царских хором (да уж не этим ли чувством «приобщения» объясняется наше музейно-восторженное ротовейство, тогда как китайские атрибуты власти, с каким бы изыществом, то есть мастерством, ни изготавливались, должны наталкивать совсем на другие и отнюдь не восторженные размышления); в таком виде процесс развития скорее напоминает стагнацию, чем движение, то есть тот процесс скрытой стержневой законсервированности: дворцовая жизнь в пределах своих дворцовых возможностей, хижинная, обездоленная, рабская, — в пределах своих, если, разумеется, к ней приложимо это понятие, и все, вместе взятое, имеющее определенный исток (фараоновскую державность) и устремленное к единой цели — мировому господству, низводится путем несложных «научных» комбинаций к естественному (эволюционному) течению жизни, в которой естественно власть, естественно рабство, естественно будто бы и историческое невежество, в каком кумиры-поводыри держали и продолжают удерживать людские массы. Конечно, есть естественная обусловленность жизни, о которой, если говорить откровенно, мы мало что знаем и к исследованию которой не прилагаем или почти не прилагаем

усилий, а, напротив, даже над тем малым, что все же оказалось зафиксированным в истории — «славные Гипербореи», — и могло бы представлять общечеловеческий интерес, позволяем себе иронизировать, кощунственно произносить «а был ли мальчик?», и есть обусловленная тронной, вернее, тронноисходной заданностью, в которой гармония отношений личностей, народов, государств подменена стезей кровавых противоборств, смертных схваток за богатство, славу, власть, потрясавших и продолжающих потрясать дворцы, и вся эта лишенная человечности атмосфера поводырьско-элитного бытия, ежеэпохально, волнами, выплескивавшаяся в народ, постепенно заражала и его бациллой хищничества, то есть безумством кровавых противоборств, готовым обернуться чумой нового тысячелетия; сегодня за богатство, славу и власть борются уже не только во дворцах, но и на всех уровнях государственно-чиновничьего господства — зверствуют и воруют наверху, зверствуют и воруют внизу, развращенность элит и развращенность народа уже перехлестнули за критическую отметку, и среди этого повсеместно творящегося беспредела все громче и громче раздаются голоса, что дикость и хищничество будто бы как раз и являют собой то «духовное начало», в каком только и может развиваться (проявляться) человек, и что жесткое ограничение свобод (закабаление, рабство), к какому вынуждены прибегать правители, пекущиеся будто бы о порядке и гармонии жизни, всего лишь способ удерживать простолудинов в рамках «приличия жизни». Я не представляю себе, в какой степени эта канонная оценка исторического хода развития человечества, явственно говорящая, что зло — от народа, от его естественной (природной) необузданности, но что благоденствие и порядок — от коронованных особ и окружающей их высокородной элиты, — в какой именно степени подобная оценка может соответствовать той действительности, пронизанной стержнем господства и рабства, в которой с пращурных времен жили и продолжают жить люди, обремененные хищничеством и не растерявшие под прессом растений и разврата ностальгической связи со своим идиллическим прошлым. Но одно можно сказать с определенностью, что мы имеем здесь дело не с научным обоснованием прошлого, а с беспардонным нагромождением лжи, дающей искаженное представление как о жизни в целом, так и об исторической роли в ней «богоизбранников»-поводырей, обративших народы в рабство, и о роли народов, отлученных от созидательного процесса бытия, и чтобы выяснить исток этого якобы стихийного явления, в котором, впрочем, четко просматривается тронноисходная заданность, нужно решительно отречься от укоренившегося в нас догматического взгляда на исторический процесс и вернуть его в лоно реальной действительности.

LXXI

Историческая наука, если обратиться к ее истинному предназначению, должна заниматься тем и только тем, что реально происходило с человечеством на пространстве веков; фактически же, если присмотреться даже к самым фундаментальным трудам историков как ранних, так и позднейших эпох, предметом ее исследований являлись и являются не события, как они проистекали на самом деле, с чего начинались и какой (в народной жизни) оставили след на срезе времен, а измышления об этих событиях, в которых если и не возвеличивались, то по крайней мере обелялись деяния поводырей, стремившихся лишь к одному — укреплению своей власти; история, по сути, писалась не с натуры, что придало бы ей истинную достоверность и помогло бы многое прояснить в хитросплетениях нынешнего мироустройства, а создавалась в том приближенном к реалиям бытия правдоподобию, в каком только и могла оттенять и оттеняла «великие» и «величайшие» деяния коронованных особ и работать на укрепление их тронов. Такой взгляд на историю как на нечто пьедестально-подвижное, во всяком случае, в формах и красках, начал складываться сразу же, едва процесс расслоения на классы, длившийся в тысячелетиях и стоивший человечеству неисчислимых жертв, стал обнаруживать признаки явного социально-полюсного противостояния (я называю этот период развития переходным), и окончательно сформировался в канонизированную систему миротолкования и мировосприятия в «век Богов», когда фараоновская державность на нильской земле достигла своего ти-

ранского совершенства. Обычно говорят (да и я нередко прибегаю к этому выражению), что у кого богатство и сила, у того и власть. Однако, как показывает действительность, не все, что взращивается на ниве житейщины, сопряжено с мудростью, так что если бы власть основывалась только на этих двух факторах, она была бы зыбкой, неустойчивой и не поднялась бы до тех высот могущества, на которых пребывает, одной ногой ступив уже на порог мирового господства, и не смогла бы заручиться столь нетленным мандатом на долготлетие, вернее, на бессмертие, который позволяет ей, пройдясь в тысячелетиях по трупам народов и государств, предстать и сегодня перед нами в образе незапятнанного святоши. Так это или не так, думаю, нет нужды доказывать то, что очевидно (и по текстам истории, и по состоянию текущей жизни), ибо власть есть всегда власть, то есть насилие, повязанное тиранством, и бессмертность этого зла, способного после любых кровавых деяний предстать в образе незапятнанного святоши, давно уже должна бы насторожить и озадачить мировое сообщество или по крайней мере мужей науки; ведь мы сталкиваемся здесь не просто с персонифицированными событиями эпох, которые хотя и выстраиваются в некую цепь царств и царствований, связанных между собой логикой действий (логикой насилия и тиранства), но, представленные в личностях монархов и полководцев, способны лишь в противопоставление углубленному исследованию жизнеопределяющих основ бытия укоренять в науке метод исторического биографизма,— да, да, мы сталкиваемся в данном случае не просто с некоторыми персонифицированными событиями эпох, а с явлением, которое поистине можно назвать становым в развитии человечества, ибо оно центрировало в веках и продолжает центрировать все наше многострадальное народное бытие. Власть, власть и еще раз власть, стоящая над народом,— что это, естественная ли предначертанность или рукотворный (поводырский) произвол, всего лишь возведенный в ранг естественной (божественной) предначертанности? Нельзя сказать, чтобы к власти как к явлению жизни людских сообществ не обращались историки и философы самых разных эпох и поколений; ее исследовали со всех вроде бы сторон: и с точки зрения насилия, и с точки зрения милосердия, искали и находили в ней и организующее начало, и сдерживающее, и подавляющее, писали и о столпах ее могущества — механизмах силового, экономического и духовного воздействия на массы, анализировали (в сравнительном варианте) ее монархические, олигархические, республиканские воплощения, именуемые режимами, но никто и ни в какие времена не проявлял интереса к ее неистребимой живучести, равной бессмертию, к ее засекреченной хамелеонной способности, позволявшей во всех случаях жизни оказываться во главе людских масс, тиранствовать и предстать затем в образе незапятнанного святоши. Так что же это за хамелеонная способность, в чем она заключается и так ли уж нераспознаваема, как это представляется на первый взгляд? Если народы в своих проявлениях крепки основательностью или по крайней мере стремлением к ней (стремлением к справедливости, миролюбию, свободе действий), то и у власти, как и у народов, должна быть своя основательность, основательность тронной жизни, и об этой-то основательности (ее можно назвать дворцовой), закладывавшейся в веках как альтернатива народному бытию (в чем, пожалуй, и проявился фараоновский гений), и пойдет речь в этой главе. Власть уже сама по себе предполагает превосходство тех, кто коронован, над теми, кто поставлен под корону; превосходство же, в свою очередь, может основываться либо на грубой физической силе (дружины, полки, армии, воинственные орды или полчища), либо на интеллектуальных способностях, которые на поверку чаще всего оказываются лишь завуалированной формой самовозвеличивания, самомнения, наглости и фарисейства, поддержанного сонмом прихлебателей, либо на прямом обмане, рассчитанном на магическое (зомбирующее) воздействие слова (пророчества оракулов, предначертания богов, учения спасителей и «труды» всякого рода народных вождей, рвущихся к престолу); правители Древнего Египта решили эту задачу просто: взяли и объявили себя небожителями, обозначив таким образом (одним росчерком, как можно было бы сказать теперь) свое непререкаемое превосходство над всем, что по тем временам именовалось общей жизнью людей, и хотя злодейство не принято измерять гениальностью, но все же надо отдать должное этим основателям государ-

ственности (на хищнических началах) и цивилизации (на тех же началах господства, подавления, рабства) за их тронную прозорливость. Они положили между собой и поработенным людом ту разделительную бездну, которую как ни пытались затем в веках сровнять, сгладить или хотя бы замаскировать неким бутафорским щитом или покрывалом (возможно, для успокоения поводырской совести, если, конечно, уместно здесь это выражение), она вновь и вновь проявлялась во всем значении своей изначальной (божественной или скорее обоженной) предначертанности, отдавая дворцам дворцовое, хижинам хижинное, властям власть, бесправным бесправие. На стороне дворцов оказались разум, честь, эстетические вкусы (запросы, потребности), достоинство; на стороне хижин — дикость, варварство, нищета, невежество, бесчестие, отсутствие вообще каких-либо эстетических потребностей, эстетического вкуса; деяния фараонов, какими бы они ни были, неизменно провозглашались великими, как и образ их жизни, недостижимо вознесенный над толпами нищих, нечесаных, грязных простолюдинов, поименованных подданными и рабами (по крайней мере так воспринимали да и ныне продолжают воспринимать народ во дворцах); деяния же этого обездоленного, обобранного, бесправного люда, создававшего богатства, кормившего и обихаживавшего тронных особ и всю околотронно-высокородную челядь, — деяния этих несчастных, скованных физическими и духовными цепями рабства и ежечасно озабоченных выживанием, если хоть как-то воспринимались и оценивались (разумеется, на уровне тронных и околотронных особ, возложивших на себя право определять, что достойно и что недостойно исторической памяти), то лишь на уровне природных явлений, неизменных в своей повторяемости, как явление дня и ночи или неистощимость Нила, веками дававшего жизнь населявшим его берега народам. Обо всем этом историки либо предпочитают умалчивать (ведь даже самые непредвзятые упоминания о рабстве, коими пестрят их труды, остаются лишь упоминаниями), либо сосредоточивают внимание, причем делают это искусно, даже очень искусно, на жизнеописаниях фараонов и возвеличивании их деяний, сдобривая тексты своей невинной будто бы восторженностью, словно речь идет не об истоках ныне торжествующей хищнической цивилизации, а лишь о дворцовых шедеврах, открывающих дверь в эстетический мир отшумевших эпох.

LXXII

Ни доплатоновские и доаристотелевские историки и философы, ни позднейшие, выросшие на трудах этих античных мыслителей, давших миру самое, может быть, реалистическое толкование окружающей их действительности, уходившей корнями социальных явлений в пирамидную глубь веков (Аристотель прямо указывал на Древний Египет как на предтечу не только греческой цивилизации, но и цивилизаций других народов и государств, располагавшихся в бассейне Средиземноморья), не задавались вопросом, откуда взялись на нильской земле фараоны и откуда рабы; не задавались потому, что классовое расслоение к тому времени приняло столь необратимый характер, то есть все настолько сжилось с реалиями господства и рабства, что установившийся хищнический миропорядок казался вечной, неизменной, незыблемой основой людского бытия, словно так было всегда и будет (отсюда и теория о божественной предначертанности), и что надо только найти правильное (убедительное) толкование всему, что есть, и канонизировать закономерности, которые выявятся в результате этих реалистических, да, именно реалистических (по отношению к исторической и текущей действительности) толкований. Такой взгляд на развитие людских сообществ, возможно, имеет куда более глубокое объяснение, чем только высказанное здесь предположение, но так или иначе черта, от которой ученые античности, и прежде всего Платон и Аристотель, начинали отсчет истории, не простиралась дальше сорокавекового фараоновского господства; что лежало за этой означенной ими чертой — начало бытия? бесклассовое общество, развивавшееся в условиях идиллической («славные Гипербореи») самобытности? — было неведомо им, они понятия не имели, какой была и какой могла бы стать общая жизнь людей, не явись на нильской земле фараоны как плод классового расслоения и не заложи они основы своей хищнической цивилиза-

ции, коей и был затем осеменен мир людских сообществ,— да, не представляли, в какой гармонии духовных и физических проявлений пребывали народы, пуская в исторический путь, а брали за отсчетную веку лишь тот предел фараоновских преобразований, когда модель хищнического мироустройства, сконструированная в Египте, готова была во всем своем совершенстве выплеснуться на просторы обетованных земель как непререкаемый идеал жизни, сотканный из величия господства и заданности рабства. Фараоны от фараонов, гласит этот идеал, рабы от рабов, и, возможно, чтобы снять драматизм с этого реального бытия, Аристотель как раз и выдвинул свою теорию о классовой предначертанности, или предопределенности, «научно» объяснив миру, что в сфере социального развития человечество никогда не было единым, что оно подразделялось (по рождению, то есть в рамках естественной заданности) на носителей духа — господ и обладателей плоти — рабов (нужно ли после этого задаваться вопросом, откуда взялись на нильской земле фараоны и откуда рабы?) и что всякая попытка что-либо изменить в этой естественной будто бы предначертанности бессмысленна, ибо не ведет ни к чему. Он, в сущности, канонизировал то, что видел в действительности и что связывалось в его сознании с эпохой возведения пирамид, и весь «научный» (и страшный по своим последствиям) подвиг его состоял лишь в том, что он вслед за фараонами, бросившими семя хищничества в идиллический мир людских сообществ, преподнес человечеству нетленную (кандальную) цепь своих духовных (исторических, философских) заблуждений. Библейская истина гласит, что вначале было слово, потом дело, но в случае с фараонами и Аристотелем, как ни покажется это странным и противоестественным, все обстояло иначе (может быть, потому, что естественный, эволюционный ход развития мирового сообщества был нарушен произволом поводырского разума); факты, а они всегда неумолимы, говорят о том, что практическое воплощение хищнического мироустройства на десятки столетий опередило его теоретическое (в исторических и философских формулировках) обоснование; да, я понимаю, все это звучит парадоксально и не укладывается даже в самую простую схему логических представлений о человеческом бытии, ибо мы привыкли к тому, что не только на уровне житейщины, но и на уровне государственных деяний слово обычно предшествует свершениям, тогда как в масштабах эпох, как видим, сначала вершатся дела, а уж потом ищутся им «научные» обоснования. В конце концов ведь и фараоновской державности нашлось такое обоснование в понятиях «великая культура» и «великая цивилизация», а это может означать только одно, что Аристотель далеко еще не сошел со сцены исторических действий, он жив, как жива фараоновская державность, которая, соединившись со своей теоретической разработкой и стократно усилившись за счет нее, готова уже хоть сейчас короноваться на трон мирового господства. Движение жизни, как известно, направляется взаимодействием определенных сил или величин, возрастающих или угасающих в своем значении, и если в таком разрезе посмотреть на процесс становления и развития общественных отношений и общественного бытия, то нетрудно заметить, что величины эти, действовавшие в веках и определявшие судьбы народов и государств (действовавшие по произволу поводырского разума), подразделяются на две четко выраженные категории, которые можно было бы охарактеризовать как величины переменные и величины постоянного действия. Влияние первых обычно бывает ограничено либо рамками диктаторских правлений, либо, как трактуется это в официальных историографиях, режимами сменявшихся социальных формаций, в то время как постоянные величины, без которых троны вообще не могли бы существовать и которые не избирательно, а равно служат любым властителям, с какими бы намерениями сии властители ни восходили на престол и какой бы режим ни устанавливали на период своего царствования,— постоянные, вобравшие в себя силовое, духовное, экономическое подавление, не ограничиваются ни рамками диктаторских правлений, ни рубежами сменяющихся формаций, и они-то и составляют стержневую основу всей нашей хваленной (хищнической) цивилизации. Я понимаю, что высказыванием этим не открываю никакой истины, ибо все мы подчинены одной (этой, рукотворной, повторяю, рукотворной, а не от естества природы) исторической закономерности, а если на что-то и нужно бы здесь обратить внима-

ние, то разве лишь на то обстоятельство, что величины, от которых всегда зависели стабильность, могущество и долголетие тронов, были открыты, опробованы и применены правителями Древнего Египта в период своего сорокавекового господства, и с тех пор, являя собой простоту, надежность и безотказность в использовании, они ни разу не подвергались ревизии, не дополнялись и не изменялись, чего нельзя сказать о величинах переменных, которые если и приносили успех, то скоротечный, а затем опавшей листвою устилали пространство постфараоновских эпох, отражая лишь жалкие потуги тронных подражателей, тщившихся превзойти величие пращурных учителей. Но учителя, как и подобает учителям (и что подтверждено всем ходом исторического процесса), оказались настолько прозорливыми в достижении своих тронных целей, а созданная ими система общественных отношений настолько основательной и совершенной во всех своих структурообразующих рычагах власти, что, думаю, вряд ли вообще кто-либо и когда-либо (в пределах хищничества) сможет ее превзойти. Разумеется, говоря о совершенстве, я имею в виду не совершенство жизни, ибо что может совершенствоваться в условиях господства и рабства, а о совершенстве хищнического мироустройства, которое, охватив и поработив мир, стоит сегодня на пьедестале высшей (злодейской) славы. С точки зрения постфараоновских правителей, все совершенное фараонами для бессмертия власти действительно является подвигом, достойным величия и славы, и потому-то из дворцов и сегодня продолжают настойчиво насаждать в народе понятие «цивилизация» по отношению к режиму фараоновского господства и упорно перекрывать пути к исследованию истоков этого ужасающего явления, приведшего человечество от рабства в Египте ко всеобщему порабощению, пути к исследованию всех тех выше-названных величин, главной из которых (и абсолютной по своей непревзойденности) я бы назвал систему обеспечения превосходства властителей над массами добрых и доверчивых простолюдинов. Сила меча, рычаги духовного и экономического порабощения — да, в стержневой своей основе величины эти были и остаются неизменными, но не в них, если беспредвзято взглянуть на весь много-эпохальный ход развития человечества, следует искать главную опору тронного бессмертия; превосходство правителей над народом — вот искомая закономерность, которую, открыв ее для себя, фараоны положили в основу жизнестойкости и могущества власти и, следуя этой закономерности, преподнесли мировому сообществу наглядный пример воплощения этой закономерности в безмятежно-тронную дворцовую жизнь.

LXXIII

Объявив себя богоизбранными посланцами небес и издвоя, древнеегипетские фараоны, однако, лишь обозначили черту своего превосходства над народом, которым брались повелевать; они понимали — в отличие, скажем, от многих нынешних правителей, особенно наших, российских,— что сказанное может остаться лишь пустым звуком, если его не подкрепить делом, и принялись в соответствии с заданностью облагораживать, а точнее, окружать нимбом благородства свое престольно-земное (под защитой богоизбранности) пребывание и соответственно ущемлять, ограблять, сводить до пещерного уровня простолюдинское бытие. Процесс этот был длительным и, возможно, более кровавым, особенно в начальном периоде, чем мы можем предположить; впереди у фараонов имелось сорок веков, чтобы довести задуманное тиранство до логического завершения, срок немалый даже по масштабам ушедших и грядущих эр, история, надо признать, щедро одарила их временем на обустройство зла, ныне укоренившегося во всех сферах нашего бытия, и если в этом судьбоносном, а иначе его не назовешь, явлении, которое можно охарактеризовать как итог классового расслоения, что-то и должно поражать нас, то отнюдь не поводырская мудрость, какой восторгаются во дворцах и храмах, вознося ее до высот Творца, Создателя и сплетая таким образом вокруг фараоновских деяний ту троннопритягательную (словно жизнь и деяния их и в самом деле прекрасны!) аuru, ту красивую ложь, которая, как пение известных сирен, тысячелетиями притупляя бдительность человечества, продолжает притуплять и теперь,— да, если что-то и должно поражать нас в древнеегипетской истории, то уж никак не поводыр-

ская мудрость, возведенная в недостижимый абсолют, а бесчеловечность, равная внутривидовому или внутривидовому пожирательству, не наблюдаемому даже в мире животных, с какой, подражая будто бы богам, хотя зло и боги несовместимы, фараоны угнетали, давили, обирали, обращали в рабство доверчивых простолодюнов. Процесс облагораживания дворцового, царского бытия с одновременным замораживанием, я бы так сказал (и это в лучшем случае), в пределах бесправия, нищеты и невежества уровня жизни простых людей (народа, народов, государств и континентов в последующем), — процесс этот, представляющийся нам с высоты прожитых эпох явным злом, которому, впрочем, мы так до сих пор и не смогли дать надлежащую оценку, воспринимался фараонами не иначе как естественное, то есть вполне закономерное (от тронной исходящей) течение жизни; никто никогда не видел (что, полагаю, относится не только к нынешним поколениям правителей и простолодюнов, но и к фараонам и рабам Древнего Египта), как жили и живут боги, и первое, что приходило прежде и приходит теперь на ум, что если они боги, то есть высшие существа, творцы, создатели всего земного и сущего, то и жить должны, как боги, то есть в достатке и роскоши, не утруждая себя ни житейскими, ни какими-либо иными мирскими заботами, тем более добыванием хлеба насущного, и эта-то мечта, искушающая и сегодня правителей и простолодюнов (да, и простолодюнов, поскольку отравленный плод классового расщепления, веками вкушавшийся человечеством, не мог не обернуться в нас развращающей души традицией), с той же или даже, может быть, большей силой искушала фараонов, получивших простор власти, то есть возможность безнаказанно и безгранично угнетать и поработать себе подобных, и простор для исполнения любых своих желаний (что, как это казалось им, особенно роднило их с божественным началом), и если подобное искушение не удастся преодолеть нынешним кумирам, приходящим во власть, то что уж тут говорить о фараонах. Правители Древнего Египта, как и вообще древние люди, были максималистами (в чем, возможно, как раз и заключена мудрость наших пращурных предков), и если они решались на что-то, то стремились и умели, как свидетельствует история, довести задуманное до непререкаемого абсолютизма; обычное престольное бытие не могло удовлетворить их, они хотели иметь власть в абсолютном ее значении, и вся их жизнедеятельность была устремлена к этой цели; их не устраивало простое покорство народа, над которым обрели власть, самообъявившись посланцами небес и солнца, и они обратили этот народ в бесправное и безгласное стадо обладателей плоти (если по аристотелевской терминологии), то есть в рабов, предназначенных лишь для скотского обитания и не способных ни мыслить самостоятельно, ни чувствовать, ни самоопределяться в своих действиях; они (фараоны) стремились создать гармонию жизни, как писали и пишут об этом историки и философы, заикливаясь на сих тронноугонных изысканиях, тогда как фактически создавали гармонию лишь в дворцовом ее представлении, как сочетание или, вернее, сожительство двух взаимоисключающих друг друга абсолютных величин — власти, которой обладали, и рабства, коим «одарили» народ, и материальным или скорее наглядным выражением этой так называемой гармонии, этого «идеала» общественных отношений, как раз и явились пирамиды во всей своей максималистской симметрии от оснований, наклонов и до заострений, саккумулировавших суть всех фараоновских на пространстве веков духовных и физических устремлений. Да, пирамиды — это не просто закодированная формула жизни (в том обобщенном значении, в каком мы обычно воспринимаем понятие «жизнь»), но закодированная формула власти, формула тронного благополучия, величия и долголетия (что позднее и было расшифровано Платоном); они хранят в себе ту грустную тайну «века Богов», которая могла бы, если подойти к исследованию ее не с мерой познания некой «великой» (от древнеегипетского первородства) культуры и «великой» (от того же первородства) цивилизации, а с мерой зла, привнесенного в самобытную жизнь людских сообществ (ведь ныне уже некуда деться от притеснений и насилья не только личностям, но и народам, странам, континентам), — если к тайне фараоновского максимализма подойти именно с мерой привнесенного зла, то, возможно, совсем по-иному высветилась бы вся крапленая драматизмом веков постфараоновская история человечества. Ни азиатские нашествия на Европу,

ни европейские на азиатский континент, взять хотя бы самые значительные, известные по именам их предводителей: Александра Македонского, Цезаря, Аттилы, Чингисхана, Тамерлана, Наполеона, Гитлера (к ним вполне можно присо-вокупить и неопишемые по жестокости походы крестоносцев),— ни одно из этих нашествий не может по своим губительным для человечества последстви-ям сравниться с фараоновской державностью, двинувшейся с берегов Нила на захват обетованных земель и взявшей с собой в качестве оружия подавления лишь формулу или идею государственности, вернее, механизм власти, который, как вечный двигатель, сработанный и запущенный фараонами, действительно-таки по простоте и надежности в применении оказался вечным; странно, но факт (ниже мы еще вернемся к нему), нашествие фараоновской державности, которое вернее было бы назвать нашествием хищнической цивилизации, не за-хлебнулось ни в потоках человеческой крови, пропитавшей землю всюду, куда только ступала нога этой цивилизации (что, к примеру, осталось от франков, бритов или, скажем, от индейцев Америки, оказавшихся в объятиях этого древ-неегипетского «благоденствия», и что может остаться от западного и восточно-го славянства, если дошедший до маньячных высот клан нынешних постфарао-новских правителей не прекратит своих удушающих против добронравного и до-верчивого народа действий?), не остановилось и не угасло от самоистощения ресурсов движения, как было с гуннами, аварами, французами, немцами, двинувшимися с идеей *Lebensraum* на захват мирового господства (с идеей рас-ширения жизненного пространства связаны, кстати говоря, почти все большие и малые нашествия), и что представляется еще более странным и о чем ниже то-же пойдет речь, за весь двадцативековой период оккупационных действий фараоновская державность ни разу не столкнулась со сколько-нибудь мощным, идеологически и организационно сплоченным сопротивлением со стороны по-рабощавшихся народов. О явлении этом можно было бы говорить как о некоем историческом феномене, если бы феномен сей не сопрягался с понятием исто-рического трагизма народов, оказавшихся отнюдь не по своей воле в эпицентре этого растянувшегося на тысячелетия и, как показывает действительность, да-леко не завершившегося феномена с полюсным противостоянием господства и рабства. Правители Древнего Египта, создавая модель абсолютистской держав-ности, вряд ли предполагали, что закладывают основу мирового господства и что успех предприятия будет зависеть от степени их максималистских устремле-ний; они действовали по принципу поэтапного продвижения от богоизбраннос-ти провозглашенной к богоизбранности в ее материальном воплощении (двор-цы, храмы, роскошь, богатство, слава), то есть стремились придать возводиму ими миропорядку необратимый характер или, вернее, характер необратимо-сти, что, пожалуй, и следует считать главной целью их абсолютистского замысла; ведь нельзя забывать (хотя об этом почти ничего не пишется и не го-ворится даже в фундаментальных исторических работах), что фараоны начина-ли возводить свой «век Богов» не на пустом месте, они явились в народе, кото-рый жил до них в условиях естественного, самобытного, идиллического (ведь речь идет о доклассовом периоде) развития, и чтобы перевести этот оккупиро-ванный народ из состояния благоденствия (я не преувеличиваю, ибо отнюдь не огульной дикостью характеризовались доисторические, прашурные времена) в состояние хищничества, надо было обладать не только недюжинными поводыр-скими способностями, но иметь или по крайней мере выработать и довести в се-бе до абсолютного значения меру человеконенавистничества, меру бездушия и жестокости к тем, за счет кого собирались кормиться, богатеть, возводить зем-ные (дворцы, храмы) и загробные (пирамиды) жилища, и этот-то процесс пре-образований, породивший «великую», как принято называть ее, культуру и «ве-ликую» цивилизацию и поставивший мир на стезю насилия, войн, раздоров и раз-зорений,— процесс этот по масштабам воздействия на жизнь простолудинов оказался самым, может быть, драматическим из всех когда-либо потрясавших мир социальных явлений. Фараоны за отведенный им период безмятежного гос-подства сумели заложить в основу создававшейся ими государственности (созда-вавшейся хищнической цивилизации) такой механизм самоподдержки, самоза-щиты и самовоспроизводства державной власти, который по основательности и

простоте в применении оказался не только не стареющим и неизносимым в веках, но способным гибко, виртуозно (хамелеонно, я бы добавил), не отступая от целей господства и рабства, самообновляться (самосовершенствоваться, самоклонироваться, если по-современному, во всех присущих тронам ипостасях зла), какой бы губительной для них ни оказывалась среда обитания.

LXXIV

Почему правители, должны служить народу (ведь даже в природе, где действуют вроде бы только инстинкты, вожак заботится о своем стаде и оберегает его, тогда как человеку в дополнение к инстинктам дан разум, что, казалось бы, должно удесятерить в нем чувство внутривидового, внутривидового, внутривидового самосохранения), — да, почему все-таки правители, должны служить людям, проявляют заботу лишь о собственном благополучии, стремятся к обогащению, обретению могущественной власти и славы, строят для себя величественные дворцы, храмы, заполняют их шедеврами живописи, скульптуры, их палаты ломятся от роскоши, их дети с пеленок обретают титулы властителей и, взрослея, получают самое передовое (прогрессивное) для своего времени образование, то есть, иначе говоря, им уже на старте жизни создаются самые привилегированные условия, перерастающие затем в пожизненное преимущество над толпами обездоленных простолюдинов, и что бы ни делали эти кумиры, освоившиеся на престолах, какие бы деяния ни совершали в схватках за власть, богатство, славу (тут и дворцовые перевороты, и сыноубийства, и истребления непокорных народов), поступки их тотчас объявлялись (как объявляются и теперь) великими и заносились (как заносятся и теперь) в исторический поминальник выдающихся поводырских свершений. Почему так происходит? Что стоит за этим явлением? Стихия жизни, богоизбранность, богопредназначенность или поводырский произвол, возведенный, с одной стороны, в естественную, природную, а с другой — богоположенную закономерность? Люди испокон задаются этим вопросом, и хотя ответ на него прост и ясен, он прямо-таки высвечивается как в исторической, так и в текущей действительности, но человечество, словно обаянное страстью заглянуть за горизонт (мы ведь и сегодня не утруждаем себя посмотреть под ноги), снова и снова, видя и терпя несправедливость, продолжает задаваться все тем же вопросом, стагнируя таким образом (вольно или невольно) развитие общественного бытия; явление сие имеет, разумеется, вполне определенное значение в процессе становления людских сообществ, и его можно было бы охарактеризовать как законсервировавшийся парадокс истории; парадокс в том смысле, что каждый из нас по отдельности — кто раньше, кто позже, кто и вовсе на исходе жизни — приходил и приходит к ясному осмыслению происходящего, тогда как в народе эта персонопознанная ясность не получала и не получает того сконцентрированного отзвука, того организирующего начала, той монолитной силы, которая могла бы, пробудив в простолюдинах человеческое достоинство, вывести их из состояния неуверенности, униженности, рабства на дорогу равных прав и равных возможностей. Да, такое явление существует, им помечено каждое столетие, но я все же поостерегся бы называть его «законсервировавшимся парадоксом истории», ибо мы имеем здесь дело не со стихийным, а с рукотворным явлением. Несправедливость очевидная, которой мы возмущаемся, и несправедливость, познанная в исходной своей основе, — понятия далеко не однозначные; в первом случае мы опираемся только на итог и по нему делаем тот односторонне-поверхностный вывод, в котором лишь констатируется, но не объясняется происходившее и происходящее, тогда как во втором случае проникаем в суть явления, что само по себе уже ставит нас совсем на иную ступень познания и открывает простор для действий. Осуждая диктат власти и рабство, установленное этим диктатом, всю тяжесть негодования мы чаще всего переносим на личность диктатора, то есть, по сути, осуждаем ту очевидную несправедливость, которая, угнетая нас, тысячелетиями прежде угнетала предшествовавшие поколения; но, может быть, оттого, что зло, не истребленное в тысячелетиях, воздействует на нас как нечто действительно вечное и неистребимое, мы, то есть народ, в массе своей снова и снова лишь риторически вопрошаем себя: «Почему?» — и продолжаем уповать либо

на милость Божью, о которой с рождения и до смерти твердят нам с церковных амвонов и которая так ни разу и не снизошла ни на одно коленопреклоненное перед сверкающими иконостасами поколение, либо на всевозможные монаршие и немонаршие посулы, которые точно так же обычно остаются лишь обнадёживающими посулами, заряженными миражным искушением. Но если бы осуждение диктата и рабства, установленного этим диктатом, основывалось или, вернее, исходило не из сиюминутных неудобств, страданий и унижений, то есть не из очевидной несправедливости, а из познания истоков этого противоестественного человеческому разуму явления (чем, впрочем, не обременяют себя ни ученые мужи, ни политики, но над чем каждый из нас вольно или невольно начинает задумываться, соединяя ностальгию по бесклассовому бытию с плодами классового расслоения, и что обычно неоглашенным уходит вместе с нами в небытие), мы бы давно уже не спрашивали себя: «Почему?» — и не уповали бы ни на милость Божью в достижении справедливости, ни на монаршие и вождистские посулы, заряженные, как уже говорилось, лишь миражными искушениями, а точно знали, откуда зло и как устранить его. Законсервировавшийся ли это парадокс истории или все же вполне предначертанное рукотворное явление, которому мы, конечно же, не случайно не придаем значения? Ведь если пирамиды хранят тайну фараонов, то могилы простолюдинов, а их миллиарды и миллиарды на пространстве Земли, — могилы простолюдинов хранят в себе разгаданную и неоглашенную тайну фараоновских пирамид, и я не знаю, сколько потребуются шекспиров, чтобы описать эту драматическую в стержневой ее заданности, в ее собирательных персонажах власти и бесправия, господства и рабства историю человечества. В конце концов дело не в плохих и хороших царях, плохих или хороших народах (у каждого народа своя самобытность, которая может и должна оцениваться самим народом, а не престольным чужеродством, явившимся на прокорм из истощенного и обглоданного Египта), — да, дело не в плохих и хороших царях и народах, а в системе жизни, зародившейся на берегах Нила и получившей от древнеегипетских правителей такой набор самоклонированных институтов и рычагов государственной власти, рычагов насилия и рэкетирства, который и стал залогом ее бессмертия и благоденствия. За сорок веков своего господства фараоны сумели сформировать такую систему общественных отношений и так устроить общественное бытие, то есть настолько возвысить себя во власти и настолько унижить простой люд в беспросветном рабстве, что не только в глазах современников, главным образом оракулов, то есть дворцовых религиозных светил и летописцев, бравших на себя «смелость» (конечно же, в кавычках) оценивать величие поводырских деяний и предсказывать то, что могло только укреплять троны или решать дворцовые интриги в пользу сильного или, напротив, слабovolного (по обстоятельствам) претендента на династический престол, — что не только в глазах современников, признавших царствование их «веком Богов», но и в восприятии всех последующих поколений, включая и нынешнее, фараоны предстают если и не богами, то, во всяком случае, полубогами, которые, словно бы устав от служения народу, укрылись на время (вместе со своей неохватной властью) в могильной тиши каменных пирамид. Они же, фараоны, за отведенный им период царствования сумели не просто обратить в рабство завоеванный ими древнеегипетский и сопредельные с ним народы, но, отлучив их от их исторических корней, от идилических (то характерно для всех народов бесклассового периода развития) представлений о целях и смысле бытия, навязать в качестве идеала жизни супернищету, суперпокорство, супербесправие (чуть позднее все это станет каноном церковных учений: бедному и смиренному рай, властному и богатому ад, что, однако, никак не повлияет на социальное размежевание в людских сообществах); народ оказался до такой степени обездоленным и униженным, что для проявления своего «я» ему оставалось либо самоистязаться в молитвенных бдениях, либо отдаваться на съедение крокодила, как уже упоминалось выше, которые (в образе святых существ) только и могли прервать страдания загнанных в рабство людей, так что мы глубоко заблуждаемся, подходя к «веку Богов» лишь с мерой величия и могущества власти; там, где власть, там должно быть и подчинение, и если беспредел власти (чем, впрочем, мы и восхищаемся, взирая на стойбище каменных пирамид) и

можно чем-то взвешивать или измерять, то лишь степенью униженности народа, то есть пределом бесправия, обездоленности и нищеты, до какой власть удосужилась опустить подданный ей люд. Этим и только именно этим — абсолютным значением власти и рабства — можно и должно характеризовать «век Богов», который мы (разумеется, после двадцативековой обработки) воспринимаем как век величия и славы фараонов, и отождествляя эти величие и славу со всей древнеегипетской историей (что как раз и позволяет нам называть Древний Египет «зарей человечества» и «колыбелью цивилизации»), готовы уже вновь вернуться в тот «благодатный» век, расставшись со всеми ностальгически беспокоящими еще нас ценностями утраченного (идиллического) бытия.

LXXV

Если встать лицом на восток (произвольно или произвольно — это другой вопрос), то и путь движения будет пролегать на восток, если же встать лицом на запад, то и путь движения будет лежать на запад, и соответственно если бы человечество избрало целью своего развития миролюбие, добронравие, добрососедство, то и двигалось бы к этой цели — открыто, без лжи, без войн, без насилия, без порабощения, ибо в этих омерзительных деяниях не было бы необходимости (возможно, мы были бы так же далеки от этих понятий, как далеки сегодня от признания реалий идиллического бытия, которое представляется нам лишь как утопическая мечта или утопический идеал жизни); но человечество (что как раз и остается необъяснимым в истории, и, повторю, не случайно) встало лицом к хищничеству, вернее, методом насилия и обмана его поставили так, определив таким образом направление движения, и все, что затем происходило с людскими сообществами в веках и происходит сегодня, выглядит как вполне естественное (хотя и от рукотворной, точнее, поводырьско-рукотворной заданности) течение жизни. Естественна власть, естественны троны, естественно рабство — вот заблуждение, вцепившись в которое, как в источник истины, как в живительный родник истории, толкователи человеческого бытия и выстраивают свои вроде бы правдивые (соизмерительно с логикой), но часто далекие даже от правдоподобия (если ориентироваться на действительность) тронноугодные и троннопродиктованные версии; мы не знаем, что послужило поводом для классового расслоения, но вполне представляем себе, что в результате именно этого расслоения явились власть и бесправие (господство и рабство) как система общественного бытия, и, думаю, именно с момента рождения власти вся история человечества, развивавшаяся в русле естественных, природных (эволюционных) закономерностей, то есть вся естественность жизни, на которую так любят ссылаться историки и философы, особенно последних поколений, стала вытекать уже не из общенародных потребностей, а из потребностей или, точнее, из амбициозных притязаний царствующих особ, из той дворцовой жизни, которая и сегодня определяется ненасытностью власти, жаждой богатств и славы. Итак, естественность в рамках хищничества — вот наиболее точное определение, какое можно было бы дать историческому процессу развития человечества; суть хищничества — право или диктат силы, выраженный в понятии «власть», устами и деяниями которой продиктовываются условия бытия. Естественно, что люди, узурпировавшие у народа власть, хотели бы жить иначе, чем подданные, особенно после того, как провозгласили себя избранными и посланцами небес и солнца, и в соответствии с этой естественной вроде бы потребностью (естественной по условностям тронной жизни и неестественной, то есть насильственной и порабощательской, для народа) начинают строить для себя дворцы, храмы, одновременно строго следя за тем (путем экономических притеснений и силовых устрашений), чтобы хижинная жизнь простолюдинов не выходила за рамки их хижинного существования и чтобы никто даже из высокородной придворной челяди не мог помыслить возвести для себя что-либо равное и тем более превосходящее по высоте, великолепию и роскоши царские хоромы; естественно, что на создание подобных райских оазисов нужны были средства, причем немалые, и средства эти выкачивались (путем поборов и разного рода прямых и косвенных ограблений) из народа, как выкачиваются и сегодня с той же беспощадностью и для тех же нужд (но уже будто бы не для бла-

годенствия тронов, а для жизнедеятельности государства, что в конечном итоге пирамидно восходит все к той же власти), отсюда и предпосылки к перманентному процветанию дворцовой жизни и полной и необратимой стагнации народного бытия. Естественно также (по пословице: аппетит приходит во время еды), что для создания райского великолепия недостаточно было, скажем так, даже самого предельного обилия средств, но требовались зодчие, чтобы проектировать будущие бессмертные царские творения, и мастера, чтобы воплощать проекты в жизнь, и в соответствии уже с этой потребностью властители вновь были вынуждены обращаться к народу, к его умственному (творческому, духовному, можно сказать и так) потенциалу, и все, что в этом отношении было значительным, — все, все ставилось на службу дворцов, и процесс этот я бы назвал интеллектуальным ограблением народа; зодчие проектировали, мастера возводили (их затем ослепляли или заточали в темницы, чтобы никто не мог воспользоваться их мастерством), власти пожинали лавры великих созидателей (какое изящество, какой вкус, какой размах!), творения их становились символами эпох (разумеется, символами власти), как, впрочем, символами же — только застоя — становились жилища простолюдинов. В общем, жизнь, можно сказать, развивалась прямо-таки в русле естественных потребностей, если, во-первых, не считать их изначально-рукотворную (поводырскую) заданность и если, во-вторых, не учитывать, что вся вышеназванная естественность основывалась лишь на удовлетворении тронных (поводырских) желаний; разумеется, дворцы и храмы надо было соответственно (согласно предназначенности) украшать, чтобы монументальность и величие строений дополнялись шедеврами искусств, блеском драгоценностей, сказочностью одежд и дворцовой утвари (что, с одной стороны, говорило бы об эстетических запросах правителей, а с другой — уподобляло бы их жизнь жизни богов), и опять — чтобы достичь этого благоденствия, надо было отнять его у народа, ибо никакого другого способа удовлетворить эту свою естественную потребность у фараонов Египта, как, впрочем, и у постфараоновских державников, включая и нынешних, не было и нет, а это означало, как означает и теперь, что процесс духовного ограбления народа должен был приобрести характер некоего устойчивого действия, приумножавшего интеллект тронных и околотронных особ и ставившего на грань интеллектуального застоя нищенствующие простолюдинские массы. Все, что представляло собой богатство материальное (золото, серебро, драгоценные камни и изделия, украшенные этими драгоценными камнями и металлами), и все, что можно объединить в понятие «творческий, духовный потенциал» (живописцы, сочинители, музыканты, певцы, мастера, умеющие чувствовать и воплощать красоту в нетленные творения), — все, что могло бы стать достоянием масс и способствовать общему интеллектуальному развитию, отнималось у народа и концентрировалось во дворцах и храмах, и если в этом процессе всестороннего обогащения (дворцы, храмы) и всестороннего обнищания (хижины) и можно усмотреть некую естественную будто бы закономерность, то исток этой закономерности восходит не столько даже к сорокавековому господству фараонов, сколько к мрачной губительной для человечества эпохе классового расслоения. Историки и философы любят говорить о природных катаклизмах — ледниковом периоде, всемирном потопе, гигантских вулканических извержениях — и старательно — да, складывается именно такое впечатление — обходят стороной катаклизмы совсем иного рода — социальные, нравственные, — которые носили и продолжают носить рукотворный (от произвола поводырского разума) характер. Разумеется, я не собираюсь уточнять здесь, что стоит за этой их так называемой разборчивостью, ибо тронугодничество, в какой бы обеляющей упаковке ни подавали его, всегда будет представлять собой тронугодничество, но хочу лишь заметить, что есть два взгляда на исторический процесс развития человечества, или, вернее, две теории, одна из которых предполагает, что все мы вышли из дикости и что она настолько еще сильна в народе (простолюдинах), что ее постоянно приходится укрощать либо светскими ограничениями (силовым устрашением, угнетением, рабством), либо церковными догмами (муками ада, карой Божьей), и другая, по которой дикость — явление, привнесенное самим же человеком в свое бытие, а это уже по-иному высвечивает наше укоренившееся хищническое мироустрой-

ство. Ученые мужи склонны к признанию первого варианта, ибо при таком признании не возникает необходимости углубляться в туманную древность и что-либо искать и доказывать в ней, поскольку легенда об изначальной дикости народного бытия самообретает аксиоматичность (ведь жизнь, как нас уверяют,— это движение, и оно может происходить только к совершенству, то есть от худшего к лучшему, но никак не от лучшего к худшему); второй же вариант порождает массу труднейших вопросов, ответы на которые лежат уже не в русле естественной (природной) заданности человеческого бытия, а в явлениях, суть которых менее всего хотелось бы оглашать тронам. В противоборстве с природой люди оставались людьми по крайней мере в своих духовных проявлениях; они объединялись, протестовали стихии, а не разъединялись и не озлоблялись друг против друга, потому что уже сами условия, в которых им приходилось выживать, делали человека существом общественным (см. Аристотеля), из чего можно безошибочно заключить, что стержневой основой всего нашего исторического пути развития являются общественные отношения. Если бы изначальными отношениями эти складывались как хищнические, то есть на базе дикости, варварства, взаимоистребления, человечество вряд ли бы устояло перед натиском природных сил; непредсказуемость стихии только усиливала тягу к объединению и подвигала людей к такой системе бытия, поименованной в истории бесклассовой, идилической, которая если в чем-то и оказалась впоследствии несовершенной, то разве лишь в том, что не обладала воинственностью и в нужный момент не смогла защитить свою самобытность. Во всяком случае, бесспорно одно, что человечество, устояв в противоборстве со стихией (благодаря именно сплоченности и взаимоподдержке), не смогло устоять под ударами искусственно создававшихся дворцовых, а бы так назвал их, социальных и нравственных катаклизмов, бивших прежде всего по неприемлемой для хищничества идилической самобытности, и ущерб, нанесенный этими ударами человечеству, несоизмерим ни с какими ледниковыми периодами, всемирными потопами и вулканическими извержениями, вместе взятыми. Я говорю о классовом расслоении, об этом противоестественном для человеческого бытия деянии, об эпохе, которая, оставаясь менее всего исследованной, то есть провальной в смысле исторического познания, тем не менее является самой судьбоносной в общем ходе развития людских сообществ; именно в ней произошла подмена идилических отношений отношениями хищническими, иначе говоря, со стези миролюбия и добронравия мы переступили на стезю войн, раздоров и разорений, стезю вражды и порабощательства, стезю дикости и варварства, по которой и сегодня ведут нас постфараоновские поводыри мира, сея и пожиная трагизм среди народов и государств. Мы ищем в Древнем Египте истоки цивилизации, тогда как сорокавековое фараоновское господство ознаменовано, во-первых, отнюдь не зарождением цивилизации и, во-вторых, не является даже истоком охватившего мир трагизма; просто ему выпало довести процесс классового расслоения до его логического завершения, и если человечество на протяжении тысячелетий проявляет интерес к этому логическому завершению, сконцентрированному в понятии «век Богов», то явление это носит далеко не случайный характер.

LXXVI

О том, что привлекало и привлекает официальных да и не только официальных историков и философов в «веке Богов», вернее, что эти историки и философы, субсидирующиеся от тронов и от заинтересованных кланово-властных особ, ищут в каменных усыпальницах древнеегипетских правителей, достаточно уже сказано в предыдущих главах этого повествования; но что на самом деле таит в себе «век Богов», представленный стойбищем пирамид, и что действительно следовало бы искать в нем, лежит отнюдь не в сфере жития фараонов, их дворцовых разборок и порабощательских деяний, а в той системе жизни, какую они сперва создали для себя, но затем, утвердившись во власти, решили придать ей такую жизнеспособность, чтобы она, набравшись могущества и определившись в безграничности, могла существовать вечно; думаю, нет нужды говорить, насколько все это удалось им, ибо их детище, живущее ныне в понятиях «государственность» и «цивилизация», победно, в тысячелетиях, промаршировав по

странам и континентам, обратило вольную жизнь народов в рабскую жизнь древних египтян. Искать надо именно корни этого зла, его многоликую неистребимость, ибо то, что твердят нам сегодня о государственности и цивилизации, далеко и далеко, мягко выражаясь, не соответствует действительности, а если серьезнее, является прямым запрограммированным обманом, наряженным в правдоподобие, а потому еще более опасным, чем открытая ложь; мир сегодня — это Древний Египет, разросшийся до неохватных масштабов, а сознание наше настолько засорено всевозможными научными и ненаучными версиями об устройстве и смысле бытия, светскими и религиозными догмами о добре и зле и их постоянном (естественном, главное, естественном) противоборстве, что никто уже не может с точностью сказать, в чем зло и в чем добро и есть ли вообще мера этим рукотворным, да, именно рукотворным деяниям (извращения здесь доходят уже до того, что источником добра предстают цари, а источником зла — народы, массы, так и не сумевшие вытравить из себя «дикость» и приобщиться к «цивилизации»), — да, да, еще раз повторяю: сознание наше настолько засорено всевозможными философскими (идеологическими) «измами» и понятиями из азбучного словаря всеохватного фараоновского обмана, то есть настолько замордовали нас поиском светлого будущего (в то время как поиск этот обычно бывает направлен на укрепление власти и новые и новые ограбления людских масс), что мы, как маятник на часах, мечемся между крайностями: монархия — республика, капитализм — социализм, совершенно не отдавая себе отчета в том, что крайности эти — вовсе не крайности, а единая система порабощения, основанная на фараоновской заданности господства и рабства. В установлении своего миропорядка правители Древнего Египта не просто стремились достичь абсолютных величин господства и рабства, но хотели соорудить такой механизм управления, который, как уже говорилось выше, умел бы после любых социальных потрясений быстро и эффективно самовосстанавливаться, и таким механизмом, подтвердившим в веках свое бессмертие, явилась государственность, изначально уже содержащая в себе не столько организующее, сколько поработительское начало. Тут, пожалуй, следует остановиться и пояснить, что я имею в виду, говоря о государственности. Я имею в виду не государственность вообще, а то хищническое мироустройство, созданное фараонами как механизм насилия и рэкетирства, которое, являясь для нас повседневной действительностью, только и делает, что осуществляет заданные фараонами функции, и если мы не имеем альтернативных хищничеству общественных объединений или образований, которые куда с большим правом могли бы (в народном восприятии) называться государственностью, то это не означает, что их никогда не было и не могло быть; были, но были подавлены хищнической фараоновской державностью, трагизм этот зафиксирован в истории, и он говорит нам, что отнюдь не с торжества хищничества начиналось человеческое бытие, а потому и неприятие нынешней хищнической государственности не может квалифицироваться как неприятие государственности вообще, то есть как призыв к анархизму. Обычно принято полагать, что механизм государственности — это самый сложный механизм управления народной жизнью; но смею предположить, исходя из фактов исторической и текущей жизни, что вся сложность заключается не в том, как ублажить народ, а в том, каким образом, выставляя себя народными благодетелями, проводить ту изначально антинародную политику насилия и рэкетирства, которая одна только может приносить тронам богатство и власть и поддерживать превосходство дворцовой жизни на таком уровне, который бы всегда оставался недоступным для простолюдинских масс. Чтобы довести народ до такого состояния, то есть обратить его в рабство, нужно прежде всего лишить его источников жизни, проще говоря, отобрать у него все, что кормило, одевало, обувало его, давало кров, связывало с прошлым, открывало перспективы на будущее и приносило духовное удовлетворение, что, собственно, и проделали фараоны с древними египтянами, отобрав у них все, что только можно было за сорокавековое господство отобрать и обратить в троннодворцовую собственность; они как бы собрали в пучок все жизненные артерии, питавшие плоть народного бытия, и, захватив таким образом пульт управления общей жизнью людей, обрели право на беспредельное господство, право на произвол («век Богов!») и

безнаказанность деяний. Абсолютизм есть главная составная власти, и если эта устремленность не вполне вроде бы проявляется у нынешних правителей (да кому же приятно оголяться перед народом в своих преступных замыслах!), то фараоны в этом отношении были более бесцеремонными, они действовали открыто, жестко, цинично, самопризнавая свое взнезменное происхождение, и это позволяло им в рамках законченного максимализма приближаться к намеченной цели. Без тени сомнения они объявили землю своей, дворцовой собственностью, и это монопольное право на главнейший источник жизни — на землю, — пройдя испытание сто двадцатью постфараоновскими столетиями и трансформировавшись в право на недра — нефть, уголь, газ, — являет собой сегодня чуть ли не становую опору мирового (от финансовых и промышленных монополий) господства и мирового угнетения; объявив символами богатства золото, серебро, драгоценные камни, шедевры искусств, они определились с правом и на это достояние и, грабя народ, принялись заполнять вышеназванным богатством свои царские хоромы и тайники; они живо поняли, что богатство приносит власть, а власть позволяет приумножать богатство, и, открыв взаимозависимость этих двух основополагающих благ жизни и придав взаимодействию их характер тронной закономерности, фараоны создали, по существу, некий *perpetuum mobile* дворцового барства, некий самовоспроизводитель богатства и власти, власти и богатства, и этот запущенный ими в дело механизм государственности, можно и так сказать о нем, оказался настолько надежным в действии, что за все двенадцать тысячелетий постфараоновского господства ни разу не дал сбоя и представит сегодня перед нами в самом чудовищном своем (по ограблению масс) итоговом измерении — сейфами в Швейцарских Альпах, проще говоря, хранилищами с километровыми стеллажами, на которых, прогибая их, могильно покоятся отобранные у народов несметные богатства — золотые слитки, слитки, слитки... Что это, если не безумство, если не золотолихорадочная «болезнь» фараонов, вылившаяся даже не просто в безумие, а в преступление против человечества? В то время как народы, страны, континенты, обобранные правителями и финансово-промышленными воротилами, страдают и гибнут от нищеты, голода и бесправия, несметные богатства, отнятые у них, заточены в пещерные сейфы Швейцарских Альп — вот вам и цивилизация от древнеегипетского первородства и государственность от фараоновской державности, именуемая ценнейшим обретением человечества! Принято полагать, что все в мире имеет свое начало и свой предел, но есть ли предел у максимализма? Я не берусь судить, каких бы еще высот смог достичь фараоновский максимализм, если бы еще сорок веков было отпущено этим правителям (но, видимо, и у народа или народов, как и у земли, есть свой предел истощения, и он-то и заставил властителей Египта искать новые для себя обетованные земли), однако и это, чего успели достичь, остается до сих пор непревзойденным ни по глубине замысла, ни по размаху исполнения, ни по исчерпывающей значимости в приемах угнетения и порабощения. Они поставили под контроль трона (контроль государства — общественного выразителя власти, если в современном толковании) все, что придавало жизни простолюдинов осмысленность, основательность и приносило удовлетворение и радость, и первым объектом их поводырского внимания стала земля; отняв ее у народа и лишив таким образом народ права на свободный (на себя) труд, фараоны одномоментно, как это может показаться теперь, устранили самое, может быть, главное препятствие на пути своих порабощительских деяний — проблему человеческого достоинства; они, по существу, положили начало явлению, которое вполне можно было назвать социально-нравственной революцией (революцией сверху, как мы бы охарактеризовали ее), и это насильственное, да, именно насильственное переустройство жизни, завершившееся для древних египтян полным и необратимым рабством, получило затем столь широкое распространение при насаждении хищнического мироустройства, что во всей постфараоновской истории человечества нет такого столетия или даже десятилетия, когда бы в порабощении масс (в упорядочении рабства, точнее было бы сказать) правители самых разных рангов и положений не прибегали бы к этому испытанному на древних египтянах способу социальных и нравственных (в пользу тронов) преобразований. Преступников выдает почерк их преступлений, правите-

лей — почерк их поводырских деяний, и по этому почерку, который легко просматривается в веках, нетрудно установить, что все они прибегали к одному и тому же способу обмана — способу миражных посулов, сопровождавшихся словесными устрашениями, родоначальниками которого или открывателями были фараоны; в основу своей «революции сверху» они положили простой и быстродействующий метод духовной (в нужном, разумеется, для себя направлении) обработки масс, который, несмотря на всю свою очевидную антинародную, преступную заданность, обладал, как обладает и теперь, удивительной способностью ускользать от прямого и скорого разоблачения. В чем же, я задаюсь вопросом, заключалась для древних египтян суть этого фараоновского обмана, дошедшего до нас почти в неизменной своей первозданности? Если в дофараоновский период благополучие людей зависело от их труда и способностей, то после введения фараоновских новшеств, когда земля была отнята у них, благополучие стало зависеть уже не от труда и способностей, но от воли властителя, а это уже совсем иная ипостась человеческого бытия; простолюдинов лишили не столько даже права на свободный труд, сколько на жизнь, на самобытность развития, и если мы полагаем, что за сто двадцать веков, отделяющих нас от фараоновского господства, формула подавления человеческого достоинства претерпела какие-либо изменения, то глубоко ошибаемся; сняв с себя рабский ошейник, мы лишились только внешнего признака бесправия, тогда как для обретения истинной свободы, свободы на самобытность развития, нужно как минимум обладать не только независимостью духовной (внутренняя свобода, какой упорно стараются ублажить нас,— это только стеклянный колпак, из которого все видишь, понимаешь и не можешь ничего предпринять), но и независимостью политической (право на власть) и экономической (право на землю как на базовую основу жизни), которые были отобраны у простолюдинов все по той же формуле беспредельного фараоновского рабства.

LXXVII

Большинство историков и философов сходятся во мнении, что рабство как система жизни простолюдинских масс, достигнув пика своего чудовищного совершенства в «век Богов», сразу же после падения фараонов пошло на убыль и что история не знает, когда бы еще жизнь в бесправии столь же безоговорочно, как в Древнем Египте, воспринималась небесной благодатью, а престольный беспредел приравнивался бы к воплощению Божьему; история человечества в том изложении, в каком мы принуждены читать ее, во многом выглядит как поэтапное освобождение от рабства; насколько сия «научная» выкладка согласуется с действительностью и согласуется ли вообще или опять правда подменена правдоподобием, предстоит еще выяснить в процессе разговора, однако ученых мужей, сочинивших и продолжающих сочинять историю нашего бытия, видимо, не гложет никакое сомнение, и они, придерживаясь этой канонно-провозглашенной версии, приходят к весьма и весьма любопытному заключению, что будто бы в наше время, время повсеместного торжества «демократии», процесс поэтапного освобождения от рабства получил такое ускорение, что уже в ближайшем столетии с невольничеством будет покончено навсегда и о нем станут вспоминать лишь как о некоем драматическом прецеденте в становлении и развитии людских сообществ. Человечество, видимо, познав наконец нечто очень важное для себя, решило, отказавшись от рабства, а следовательно, и от классового расщепления, вернуться к тем пращурным временам, когда жизнь была идиллической и люди не только не промышляли невольничеством, но не могли даже представить себе, чтобы когда-либо узаконилось насилие людей над людьми (см. свидетельства Геродота и Тацита о древнеславянских племенах); но жизнь не имеет попятных движений, по крайней мере так утверждают ученые мужи, хотя отнюдь не это аксиоматическое выражение удерживает их от признания истины; назвав ностальгию по идиллическому прошлому несбыточной утопической мечтой, утопической легендой и отвергнув таким образом самую мысль о попятном движении в историческом процессе бытия, мужи науки, зараженные дворцовым, точнее не скажешь, оптимизмом относительно будущего человечества, не замечают, скорее не хотят замечать, что изображенная ими историчес-

кая картина жизни не имеет никакой связи с реальной действительностью, она утопична, и утопизм ее (в отличие от ностальгии по идиллическому прошлому) служит определенной троннозаданной цели. Набравшись этого утопизма, люди начинают верить не в то, что на самом деле происходит с ними и вокруг них, а в то превратное, убажывающее слух толкование прошлого и текущего, какое «научно» подается им с академических и всякого рода иных вещательных кафедр, и, впадая таким образом в историческое невежество, повторяют те же ошибки, какие, внимая поводырским посулам, совершали деды, прадеды, прапрадеды, прапрапрадеды и пращурь, самозагоняясь в сети необратимого рабства. История в изложении всегда логична, поскольку все в ней подчинено не логике жизни, а логике той или иной определенной заданности, под которую и подбираются доводы, версии и оценки. Но и в реальной истории, если подходить к ней не с логикой заданности, а с логикой поиска или прояснения правды, тоже нет ничего алогичного, и при таком подходе никому бы и в голову не пришло упрекать ученых мужей, что между их писаниями и фактами исторической и текущей действительности есть существенные, мягко говоря, расхождения. Внешне эти расхождения не видны, иногда они кажутся даже неуловимыми, ибо за историческими трафаретами, от рождения и до последней черты сопровождающими нас, далеко и далеко не всем удается разглядеть истину. Самым главным и могущественным трафаретом по воздействию на наше восприятие древности и текущих событий является оценочный трафарет жизни, из которого следует, что жизнь — это движение, но не просто, а от низшего к высшему, от дикости и варварства к прогрессу и процветанию, и по аналогии с этим главным тезисом — от рабства к свободному физическому и духовному проявлению; диаграммно это обычно выражается восходящей линией, и такое диаграммное изображение не расходилось бы с жизнью, если бы речь шла о доклассовом (идиллическом) периоде развития, когда, как уже приводилось выше, люди не знали ни насилия, ни рабства и строили общественные отношения и общественное бытие на началах добродравия и миролюбия; но жизнь давно уже, а точнее, с момента классового расщепления, развивается по законам хищничества, а у хищничества, как известно, одна логика — подавляй и властвуй, властвуй и подавляй, и согласно этой логике, если, конечно, безоговорочно следовать ей, диаграммное изображение жизни предстанет уже не восходящей, а нисходящей линией, ибо мир, заряженный хищничеством, — это не мир «славных Гипербореев», и он в силу именно своих хищнических притязаний не может, вернее, не способен двигаться от низшего к высшему (разумеется, не относительно дворцов, а относительно хижинной, народной жизни), от дикости и варварства к прогрессу и процветанию, от рабства к свободе; власть ненасытна, и порабощительство для нее — та безотказная плодородная нива, с которой всегда кормились и будут кормиться троны и от которой едва ли когда-либо найдут в себе силы отказаться, так что ни о каком поэтапном или непоэтапном освобождении от рабства, как подсказывает логика хищничества и логика жизни, не может быть и речи. Такой взгляд на историю, я понимаю, непривычен да к тому же противоречит установившимся канонам, но если мы хотим все же знать правду о себе, то должны отречься от узаконенных трафаретов и с мужественным реализмом посмотреть на события дальней, ближней и сиюминутной истории. Да, в доклассовом обществе жизнь людей вполне могла измеряться восходящей диаграммой, но после классового расщепления, когда идиллическая основа была подменена хищничеством, диаграммная определяющая резко пошла вниз (повторю: я исхожу не из состояния дворцовой жизни, а из состояния хижинной, народной), и если мы все еще полагаем, что движемся от низшего к высшему, от дикости и варварства к прогрессу и процветанию, от рабства к свободе, то только потому, что, живя в хищничестве, продолжаем оценивать наше бытие диаграммой восхождения, а не диаграммой упадка, как следовало бы и что дало бы нам ясное представление об истинных истоках переживаемого трагизма. Рабство с тех пор, как оно возникло, не прерывалось ни на столетие, ни на десятилетие; кумирствующие поводьры, не видя более надежного источника для своего царского благоденствия, не хотели и не могли (в силу тронной предопределенности, диктовавшей им условия их дворцового бытия) отказаться от него; народы, то есть простолюдины, тяготившиеся

этим надетым на них ярмом нищеты, бесправия, страданий и унижений. задавленные невежеством, лишённые исторической памяти, исторических корней и запуганные царской и Божьей карами (войско, чиновники, палачи — сила и по нынешним временам зримая, жестокая и беспощадная), — народы оказались беспомощными перед этой «стихий» насилия и власти, и, как показывает история, стремления вырваться из-под гнета властителей приводили лишь к еще более тяжелому закабалению; мне кажется, что за сорок веков фараоновского и сто двадцать веков постфараоновского рабства земля настолько пропиталась кровью неправых и униженных народов, да, именно народов (правители никогда не мыслили категориями личностей, но всегда — категориями масс, поскольку во все времена им хотелось править миром, а не только Богом посланными им странами), — да, земля настолько пропиталась кровью безвизных и неправых народов, что по ней уже вязко ходить здравомыслящему человеку; но правители — нет, они не замечают этой преступно сотворенной ими вязкости и продолжают (в нарастающем поводирыском угаре) усиливать рабство, находя все новые и новые объяснения этому чудовищному бесправию и гася этими объяснениями (этими одеждами бутафорского благоденствия) возмущение масс. Такова историческая правда и правда текущих времен, она неоспорима, ибо подтверждена жизнью, и на фоне этой исполненной трагизма действительности весьма странно (хотя ничего странного, по сути, и нет, а все предельно очевидно и объяснимо) выглядят утверждения о том, что в развитии общественных отношений (между людьми и между сообществами) набирают силу давно наметившиеся позитивные сдвиги, что рабство почти уже искоренено и что у народа, народов, решивших связать свое будущее с демократическим мироустройством (при этом за образец берется древнегреческая демократия, которая на деле была демократией для афинских и пелопоннесских олигархов и несправедлив, то есть рабством, для илотов и которая, как писали об этом Платон и Аристотель, являлась чуть перефразированной, позволительно будет так сказать, системой древнеегипетского господства и рабства), — у этих «определившихся» народов нет оснований беспокоиться за свою судьбу. Однако обратимся к некоторой несложной статистике. Треть человечества по сей день остается безграмотным; две третьих живут в нищете, голоде и несправии, а точнее, в рабстве; еще четверть, околачивающаяся при дворцах и у тронов (господствующий класс, господствующая нация, мыслящая элита), холопствует перед сильными мира сего, угнездившись у рычагов зомбирования (науки, культура, искусство, религия и т. д.), и только одна тысячная или миллионная процента властвует, представляя собой олигархов Земли, этих новых богов, упрятавших в сейфах Швейцарских Альп несметные, отобранные у народов богатства — золотые слитки, слитки, слитки, прогибающиеся многокилометровые стеллажи многокилометровых тайных хранилищ.

(Окончание следует.)



Великая степь

РАССКАЗЫ ИЗ «СТЕПНОЙ КНИГИ»

ОБЛАКА

Под ногами поглядишь — земля. Топчи, покуда живешь, не растопчешь: так коротка человечья жизнь.

Я по случаю рыл яму для солдатского нужника. Глубокая она вышла, крутая. Но и на дне этой ямы — земля! Размял ее в горсти — та же самая, что под ногами, только та суровой будет, утоптали.

А в земле — жизнь: шебуршат, ползают. А мы по этой земле топчемся. Чудно, ей-богу! Но жизнь в земле, по всему видать, скучная. Я на дне ямы посидел, покурил малость, и на сердце тоскливо стало. Не допыхтел, затоптал папироску-то, чтобы себя не мучить: успеется в земле пожить... И еще в яме тихо было, и дышалось свежо от сырости. На ее доньшко вода как-то прибывать стала. Подумалось: от жажды все живое наскоро погибает, а тут и вода есть.

У нас на караульном дворике из земли два деревца росли. Сажены. Ротный сказал, что будем в марево под листьями спасаться и для сердечной потребности на эти деревца глядеть — они на баб похожи по хрупкости и томлению. Но деревца-то по-мужичьи звать: тополь. И я подумал: это с Полиной родственно. Можно так и звать — Полина большая и Полина маленькая. Дерево как хочешь назови. Они одиноко растут, а если и совьются стволами, то им любить нечем — ветки сами по себе, вростопырку растут. И детей им земля рождает, поднимая стебелек из семени. Человек дерево бережет, чтобы любить потом крепко, если одинокий, престарелый, или как мы — истосковавшиеся, живые.

Из тварей по земле ползают змеи, ящерицы, степные черепашки. Случалось, что конвойные мучили их, но это без злобы. Разгадать хотелось: для чего они живут на земле заодно с нами? Но как поймешь, что творится у черепашки под панцирем, если не раскурочишь прикладом? При мне одну раскурочили — она из костей оказалась. Не поверилось даже: должно же в ней что-то чудное быть. Буров из второго взвода больше иных расковырял и говорит, что ни на грош не понял, — у всех одно и то же под панцирем. Тоска.

А ящериц папиросками жгли. Может быть, и не стали бы жечь, если бы кто по-ученому растолковал, почему они от боли жгучей, как люди, не кричат. Конвойный овчарку пнет, она заскулит, а тут — папироской, самым угольком. А ящерица — будто немая.

Про змей говорили: «Если не ты, то она — тебя». И давили их без счету. Давеча сержант Самохин у арыка ополаскивался и змееныша сапогом, как увидел, так и придавил.

А еще у нас по земле проволокой колючей наklubили и опутали ею лагерь. Он вкривь и вкось разрастался, и все новое сразу опутывали. Потому

«Степная книга», куда вошли уже ставшие известными циклы рассказов «Караульные элегии», «Записки из-под сапога», «Правда карагандинского полка», выходит в 1998 году в издательстве «Лимбус-пресс».

что зеки, как кроты, эту землю рыли и рыли. Руками, ногтями ее разгребали, будто себе могилы роют. А потом оказывается, что роют глубже могилы. И выносят землю во рту. Вырыл глубже могилы — и в бега.

Роту тогда боевой тревожили и вдогонку за зеком гнали — из земли отрывать. А ее гляди сколько! И где рыть? А зеку в земле, видать, плохо было. Скоро наружу лезет. Вываливается посреди степи из норы своей — смурной и квелый. И пока его в лагерь ведут, молча плачет, весь от земли, как от горя, черный.

Такая она, земля. На колени встань, рукой погладь — шершавая, теплится... И вся тайна.

Скоро в караулке и повсюду сумерки будут. А я, запрокинув голову, на небо глядел. И кадык выперся из горла, как пугливая черепашня головка из костяного панциря. Почуял на щеках тепловатое веянье ветерка, как размякшие ладони брадобрея. Мне небо шире земли на глаз кажется. Оно и нависло-то над головой будто нечаянно, и когда долго глядишь, то с запрокинутой головой очень свыкаешься. Будто и не запрокинул ее вовсе. И чудится, что землю перевернули и ты паришь в небе. Вот только ветер похолодает в сумерки, и его острое вмиг рассекает человечье горло.

А пока я навис над небом. А заодно со мной и караульный дворик с Полиной маленькой и Полиной большой. И наш ротный «уголок по обороне»: намалеванные бомбы, и страшный взрыв, и ржавые, вырезанные из жести солдаты в противогазах рядышком с гражданским населением — оно состояло из грудастой бабы без рук, и девочки, у которой солдатня гвоздями выцарапала что-то пониже пупа, и невесть кого с открученной головой. «Уголок по обороне» был вкопан в землю посреди караулки и потому не упал, когда навис над небом. И заодно со мной исправилетка парила в небе. Краем глаза я видел, что зеки тычут в небо и гогочут. Не понимают, что мы на волоске висим и побережью надо удачу нашу гоготом растрясать. Падать боязно. Кто знает, что с тобой будет, если в небо упасть?

Тоска. И жрать хочется, как перед смертью. Будто по оплошности тебя в мертвяки записали и пайки не выдают, а нутро живое и просится... Хоть бы мякины ржаной на пожевку. Может, оттого и тоска, а не от неба? Я много раз видел, как солдатики стоят, из ротных, запрокинув головушки. И что кадык выпирает из горла черепашкой, тогда подглядел. И чего они глядят? И что Смиров тогда увидал?

А тогда было утро. И если сейчас бежать на багровый закат, сквозь ночь, без продыху, то, может, догонишь его? Оно покуда и глазам моим видно, на краешке земли стоящее, куда долгим днем вели его по степи убивать, опрокидывать навзничь, — пасмурное утро того дня, в котором послали конвой на запретку, чтобы вырыть ямы в земле под столбы для новой лагерной ограды.

Я видел эти ямы потом. Недорытые. Назавтра ротный пошлет их дорывать, потому что зек копался без усердия и заглядывал в темное дуло конвойному. А конвойный — Смиров. Он топтался рядом, и насвистывал про любовь, и сбивался всякий раз, когда зек увесисто перекладывал из руки в руку лопату. И потом снова под хруст лопаты в этой утренней робкой тишине подстраивал свист про любовь.

Зек отдышался, чтобы сказать так: «Гроза будет, служивый... Глянь, какие облака...»

Смиров запрокинул голову. И холодное, как ветер, лезвие вмиг рассекло ему горло.

И оно рассмеялось, брызнувши, до ушей.

Я увидел это потом: когда ротный, отяжелевший, будто надгробие, стоял у разметавшегося по земле человека и когда Каримов глядел сам на себя из темной лужи — испуганный, с залезанными на косой пробор бурными волосами.

Было тихо. Курили. Из ненужных рук, ног и губ Смирова уходила навсегда кровь и как-то растерянно вытекала наружу, оглядываясь, как прирученный зверь в лесу. Она была совсем молодая, эта кровь. Редея, она делила часы на минутки, потом на мгновения... и оборвалась, будто отмерив человеческую жизнь.

Солдаты стояли молча и все еще не верили. Ждали. И не брали на руки погибшего, боясь оставить в нем хоть одну живую каплю.

А Смиров тем временем стал пустым и белым. И его рука, с белыми и пустыми пальцами, лежала как-то рядом с ним, но отдельно, как чужая.

Я плакал. И плакал ефрейтор Каримов из бурой лужи, и тот Каримов, который глядел в нее. А ротный сказал нам: «Перестаньте, суки...» Потом Смирова несли на руках завернутым в списанную старшиной простыню. В караулке от него стало совсем тоскливо, и его положили в летнюю каптерку на неструганую скамью. В каптерке пахло мышиным пометом, будто ладаном. Ефрейтор Каримов снова и снова шел туда поглядеть. Солдаты провозжали его глазами и вели тихую беседу о портянках, байковых, полагававшихся на осень.

А я жалел, что Леху в землю заруют. Заруют с небом в глазах. А оно все равно останется над ним висеть... И кто мне ответит: для чего жизнь устроена так? И знать хочу: отчего зеки пальцами тычут в небо? И еще подумал, что из земли неба не увидать. Потому что темно в ней. И глаза застит.

НА СОПКАХ МАНЬЧУРИИ

Рота растянулась по степи, принимая бой. Рвалась из жил. Плюхалась в грязь и ползла на брюхе, силком подымаясь в штыковую, обматерив весь свет. Сержант, Вася Савельев, Янкель и я были посланы ротным командиром к сопке, на вершине которой бушевал вражеский тот огонь. Ее рыжая изрытая маковка виднелась вдалеке. Мы бежали, а Янкель все ныл, что не может.

Потом мы упали на землю, и Янкель ныл, что не может ползти. Осерчав, сержант гнал Янкеля наперед себя прикладом, покуда ротный не прокричал, что его убило. Он обмяк и закрыл послушно глаза, а до сопки оставалось рукой подать, но все уже хотели умереть, как Янкель.

Побледнев от отчаяния, сержант и Васюха поволокли этого убитого. Потом и я волок Янкеля, так как про Васю Савельева ротный прокричал, что он теперь тяжелораненый.

Янкель был толстым беспомощным человеком. И чем дольше мы его волокли, он становился все тяжелее. А мы только подлезали к сопке, с вершины которой не враги не свинцом лупили по нас и по залегшей в грязи роте.

У подножия, шатаясь от усталости, сержант закричал: «Пусть топают своими ногами, надоело тащить!» Но ротный, который шагал за нашими спинами, подгоняя, страшно гаркнул в ответ, и мы опять сознались, что Янкель убит, что Васюха ранен, и полезли молчком вперед.

На вершине сопки было освобождающе пусто. Закладывая уши, гудел ветер. Опустела с той высоты и степь. И был ротный — с полпальца, давно отступивший и позабывший про нас, и солдаты, рассыпавшиеся по степи, как ржаное крошево, которое, накрапывая, клевал воробьиный чахлый дождь. Вася Савельев ожил. Сержант остыл и подобрел. Завалившись на бушлаты, мы отдышались, успев и закурить.

Янкель все не вставал.

Сержант окликнул его, а не утерпев, поднялся с бушлата и ткнул сапогом. Возился он с Янкелем без нас, которые угрелись и покуривали уже в сторонке. Только когда сержант приник к его груди и сам обмер, затих, Савельев отставил нехотя папироску и позвал: «Ты это, чего заслушался-то, на

скрипалках, что ли, играют?» «Мужики, у него в груди глухота одна». «Там биться должно! Ты сердце слышишь? Да не там, выше возьми, а то в живот залез...»

Сержант оторвался от Янкеля и попятился на карачках, уворачивая от него глаза, не дыша. «Ты это брось! — взметнулся горячечно Савельев. — Ты куда?!» «Помер, браточки, ей-б-богу...»

Но Вася Савельев как всгорячился, так свое и гнул: уж больно развалился жиденок сладко. «Чего удумал, чтоб и в обратную на горбу нашем... А я говорю: встать! Нечего землю лапать, слышь, пархатый, встать, встать!» Васюха склонился над Янкелем и принялся трясти за грудки этого в глинистой шинельке человека, которого не мог больше терпеть.

«Не может он!» — вскрикнул сержант и бросился куда-то, как в пропасть. Савельев вдруг отлип и вгляделся тихонько в человека, уже застывшего на степном ветру. Он лежал, разметавшись, тяжелый, неживой, упершись в хмурое безмолвное небо расколотым морщинами лбом...

Рота по степи собиралась ауканьем. Земля под сапогами была тяжела. И солдаты долго шагали к сопке оттого, что ошметья грязи сплудом наваливались на кирзу. Со всей степи сносили солдаты землю на сапогах к Янкелю, осиливая сопку, крутой ее и смертный подъем. А потом мы тащили его в полк, уложив на бушлат, — сержант, Вася Савельев и я. Тащили как могли бережней, так как ротный не знал и трепетал: «Не трясина, не трясина — может, живой!»

Прибыв в полк, мы снесли Янкеля в лазарет. Но роту не разоружали и на плацу не приказывали выстроиться, потому что все ждали: может, живой! И лекарь чего-то не постигал, и ждал, и все возился в лазарете с Янкелем.

Но вышло так, как не ждали. Янкель был толстым несильным человеком. У него сердце разорвалось.

ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ

По правую руку от рыжего паренька-шофера изнемогал от духоты пожилой офицер и пялил мучнистые от наросшей пыли глаза перед собой в степь, будто б ждал из самого ее сухого, безжалостного пекла помощи. Надеялся он, что паренек справится с машиной или что должна же она завестись хоть бы и сама собой, а в то, что застрянут, так и не верил. Паренек отчаялся, и каждая неудачная попытка завестись прибавляла злости его захваченному врасплох настроению. Он выбрался из кабины, задрал пыльную покату ю крышу двигателя и скоро крикнул ждавшему начальнику, не показываясь из-под нее: «Илья Петрович, ничего не сделаешь, заморился, сжарился весь... Нету в радиаторе воды...» «Ты, сучонок, сколько налил, что на полдороги хватило? Давай что хочешь мне залей, и поехали! А то сгорим тут заживо». «Илья Петрович, я ж не верблюду, чтоб воду про запас возить. И здесь ее где мне взять, вы ж гляньте, это ж Африка!» «Вот сука, угробил мне все дело! Бегом за водой, если так, лагерь близко. Ничего, добежишь...» «Илья Петрович, да я-то побегу, у меня и канистра есть, но сжарился мотор, думаю, здесь цеплять надо, не завестись нам самим...» «И машину угробил! Да ты чего, в морду хочешь?!»

Офицер запыхался, слез на каменистую, звенящую от полуденного зноя землю и приткнулся к пареньку. Он увидел черное, будто стертое насухо до черноты, нутро машины, что задохнулось в копоты, от которого еще тянуло прогорклым дымком, и обронил, уже упрашивая солдата: «Ну, никак не поправишь?» «Руки сожгу. Здесь, как печка. Сгорело все, как есть сгорело». «Ну ты подумай, что делается... Значит, вляпались мы крепко. А до лагерь-то ехать осталось с гулькин нос!» «Так если сбегать, Илья Петрович? Дадут нам трактор, и рванем на буксире с ветерком!» «Ишь, умник, трактор тебе.

Так сразу и трактор! Это до ночи их трактора ждать, будет из нас вобла... Вляпались! Надо зека выводить и пехать до лагеря, а там уж трактор. Поведу, а ты с бабаями оставайся, будешь за главного — один я быстрее, чем этих еще за собой тащить. За час, глядишь, обернусь. Ну а вы терпите. Бог терпел — и нам велел».

Когда солдатик согласно кивнул и скрылся по другую сторону автозака, то Батюшков невольно почувствовал, будто б отпустил от себя что-то родное... Он никогда не размышлял над жизнью и все принимал как есть, сдаваясь безропотно перед тем, что было выше его понимания. Никогда не горевал, но и радовался чему-то редко. Довольствовался тем, что имел, и не желал лучшего. В его комнатухе в общежитии работников режима стояла похожая на низенький нерусский столик, покрытая грубым солдатским одеялом железная койка, плоская, как доска; на стену повешены были фотографии матери и отца в пору их молодости; имелся один платяной шкаф, срабтаный тут же, лагерными умельцами; и разные вещицы помельче, которые давно вышли из надобности или приобретались бессмыслицей, по случайности, разбросанные по дому без всякого порядка. И так Батюшков обходился в быту, но не считал свой быт скудным и полагал свое хозяйство достаточно серьезным, потому что был этим сыт, обут, одет и обустроен, чего и требовалось для земной жизни, а что-то оказывалось в его быту даже ненужным — то, чего лишался без сожаления, приобретя по случайности или, как сам говорил, «сдуру». Жил по доброй воле так, как это заведено в казарме или в бараке для подневольных.

В лагерной роте не любили путевых конвоев — полдня в пути до Караганды и полдня в обратную, если повезло, если ничто и нигде не задержало дольше положенного. Лагерное поселение в кулундинской степи жило своей сонливой, почти мирной и нетюремной жизнью. Долгое марево степного лета и беспробудная степная зима, с ее снегами выше человеческого роста, мертвящими ледяными ветрами, близким свинцовым непроглядным небом, погружали это местечко в сон. Казалось, что и зло здесь не свершится никогда, потому что круглый год живут люди по жаре или по морозу, как во сне, ходят-бродят то жаркими бестелесными тенями, то укутанными паром и стужей призраками. Только командир батальона сновал туда-сюда по степи, по ротам степным, на верткой своей командирской машине, похожей на водомерку, с выгоревшим белесым верхом из брезента. Надавал выговоров, указок — и пропал на день-другой. Толку от него не было. Но будто б надувал он своими перелетами свежий ветерок: прилетит в поселение, поволнуется — и умхнет по степной глади.

Людей в поселении так вот, как по воле ветра, кого заносило, кого уносило. Сроки в лагере были строгие, сидели здесь за серьезное, по многу лет, основательный серьезный народец, а не шантрапа, кто уж знал, на что идет, и отсиживал свой срок пряменько, стойко, крепко-накрепко, как гвоздь, который вогнали по шляпку. Казалось, что если зека можно вытащить из лагерной барачной доски, куда его всадили, то разве клещами. И когда неожиданно требовалось вытащить кого-то из лагеря да свезти на следствие в тюрьму, в следственный изолятор — это и был путевой конвой, — то фигурка этого снова подсудного человека на глазах гнула, делая только шаг от зоны, а само то, что начинало происходить, казалось чем-то неправильным: вся эта дальняя чужеродная до тюрьмы дорога.

Без работы хирел в гараже арестантский фургон: он стоял у стены в углу, похожий угрюмостью на ископаемое. Солдаты из рембригады озверевали, когда давали им приказ поставить его на ход, барахтались с ним до ночи, а то и всю ночь напролет, чтобы поутру застывший фургон был готов тронуться с заключенным и конвоем в путь. Хоть такое дело случалось раз в год и можно было б проехаться по всей карагандинской трассе, испить, если начальник раздобрится, кваску, а то и пива в самой Караганде, те, что по службе только и стояли сутками на вышках, мало радовались назначению в путе-

вой конвой, соображая, что надо ехать тряско, много часов, в духоте, закрученным в кузов автозака, будто в консерву, — да и занятие это было для вышкарей малознакомое, чужое. Русские крик поднимали, не желая мучиться в конвое, соображая, что да почем, а потому сажали в конвой двух солдат из нерусских, которые молчали и ничего не понимали, были, как твари бессловесные — таких отчего-то рука сама тянулась у взводного не пожалеть, посадить в конвой. Эти хоть ныть не будут, будут терпеть, и вот за это терпение двуужильное, почти скотское, и было их не жалко. Батюшков и сам умел так вот все стерпеть, будто коняга запряженная, и к себе самому тоже не имел жалости. Жалко ему было мучить в конвое тех солдат, что глядели на него заранее, как на своего мучителя, и уж готовились сдохнуть по пути, соображая, что все в этом конвое путевом будет им невыгодно — так невыгодно, как родиться на свет Божий только для того, чтоб умереть.

Еще весной в лагере, не произведя волнений, свершилось безмолвное, не оставившее никаких следов убийство. Убили заключенного, извели своего же, а труп разнесли на куски и схоронили по зоне, так что отыскалась после чуть не одна голова. Это зверство было другим в урок. Заключенные не иначе как раскрыли между собой человека, что осведомлял оперативную часть. То, что убийство старательно подготовили, похоже, не было тайной и для оперативников. Но зеки привели в исполнение свой приговор тишком и в оперчасти тоже сделали вид что это была бытовуха, а не вызов яростный режиму. А спустя время отыскался и убийца — он показал голову, зарытую в кучу мусора. Был он ничтожный человек — дурачок, живший кое-как и часто побиваемый своими, так что во рту его было мало зубов. Частенько видели его и с вышек, как он побирался на помойной куче в жилой зоне — на капывал тряпочек, корочек, огрызочков и по-крысиному отбегал с тем ненадолго в сторону, где-то припрятывал, а потом снова брался за работу. Мусорный человек, будто б сам из мусора слепленный. От такого только ждали, что не стерпит и удавится тихонько, а он убийство на себя взял. Тогда и конвоировали его в Караганду, на следствие, где он темнил, держался несколько месяцев, а после стало понятным, что сам себя зачем-то оговорил. То ли вынудили его в лагере сознаться, а в тюрьме уж испугался до смерти, то ли сам он это все учудил, чтобы из лагеря вырваться, но была ему одна дорога — обратно в лагерь, а там — штрафной за враки да перед зеками ответ держать.

Время едва ли сдвинулось с того дня, как разделали стукача, и только одряхлело, стоя без движения, так что лагерь и окружавшие его степи и всякая малость — барак это или трава, пожухшая у фундамента барака, — выглядели старей. Илья Петровичу казалось, будто конвоировал в тюрьму заключенного не иначе, как вчера, хотя ничего подробного и не помнилось. И это было только чувство, нажитое сонливыми мирными лагерными годами, в которых день походил на день, как след на след. Он ничего не помнил, хотя и не забывал, переставая жить мгновениями, редкое из которых вдруг вонзалось бы так, чтобы останавливался и замирал, как от сердечной боли.

Распорядившись с киргизами, которые так и стояли, будто уснувшие, он полез в кузов, чтобы вывести заключенного. Заслышав его, зек ожил в темноте клетки и прильнул изрытым ручейками пота лицом к решетке. «Что, начальник, приехали? Зона? Отмучились?» «А ты не спеши...» — обронил хмуро Батюшков, чувствуя от говорливости неожиданной зека такую ж невольную тошноту, будто по жаре совали ему в рот ошметок жирного сала. «Замочек маленький, а вон какую толстую связку таскаешь! Звенят?» «Положено, вот и таскаю, гляди, разговорчивый какой...» — отбрехивался Батюшков, хотя мог бы равнодушно, по-конвоирски смолчать.

В голосе зека звучало нетерпение, которого тот не умел скрыть. Илья Петрович удивился про себя. Самому все стало обыкновенным, и с чего бы зеку так дожидаться, ведь не на волю ж выпустит он его из клетки, а под конвоем через всю степь поведет. Преодолевая отвращение, что должен объяс-

няться, взводный вымолвил: «Рано радуешься. Мотор у нас сторел. До лагеря пешком пойдем». «А водички дашь?» — заелозил тот у решетки ласковым зверьком, млея от удовольствия, будто обдало всего счастьем. «Пошел ты!.. Не вздумай дурить — пальну в спину-то на раз, как в копеечку, — сказал Батюшков без злобы и отпер наконец клетку. — Остановок не буду делать, слышь, даже по нужде. Если надуркаешь — себе в штаны гадить будешь. Воды нет. Сигарету дать? Можешь побаловаться на дорожку». «Некурящий я...» «Вот и хорошо, легче шагать. А я-то смолю по пачке в день. Пора это дело бросать, а то загнешься так — все легкие это курево отнимает. Ну, шагай вперед... Эй, там, принимай! На выход!»

На пяточке у фургона, рождая не страх, а тоску, стояли с автоматами наизготовку, согнутые под их тяжестью, два солдата-киргиза. Тонкие и низкорослые, будто сажены, только их тому и выучили, что автомат должно направлять от себя и крепко держать в руках. Кругом арестантского фургона колыхался шелковым пологом ярко-огненный свет. На много километров вперед в выжженной степи не было видно ни единого зеленого, хоть бы тенистого пятнышка, а только лысели, раскиданные тут и там черепа сопок да торчали одиноко заросли саксаула, похожие на обглоданные кости. Батюшков пошарил языком в высохшем рту и оглядел тоскливую свою армию: он был доволен только тем, что все конвоиры стояли, как и положено, по своим местам. Глядя кругом, он поневоле побаивался этой степи: «Змеями пахнет, шкурой их вяленой... Вот угораздило, погода как на заказ, так хуже еще не бывало...» Страх закрадывался от мысли, что он уж порядком вымотался, устал, а ведь не рассчитывал, что придется еще прошагать без воды, в подъем до этой дали угольноочерченной горизонта, под палящим нещадно солнцем.

Никогда еще он не ходил в одиночку по степи. Втайне он подбадривал себя, что внушил зеку с первых слов свою волю — дал ему испытать, какой дорожкой они пойдут без всякого снисхождения, но и снисхождение успел проявить, ведь разрешал перед выходом покурить, но дальше-то гляди, все в моей власти. Но власть свою он никак и не мог почувствовать. Мучила жажда, морочила голову жара — и все. На ремнях у киргизов болтались фляги. Батюшков чувал, что нет в них воды, но не утерпел и будто б для порядка проверил: молча притянул к себе за ремень одного — потряс флягу, взялся за другого — а фляги, что пустышки, пересохло в них давно. «А у тебя фляги нег? Форсишь?!» — рявкнул он в сердцах на шофера, а простить самому себе не мог, что не взял в дорогу флягу. Он сроду фляги не носил, как и все офицеры: когда на одном боку кобура торчит, то с другого бока фляжку нацепить — коромысло это уж только чурбан выдержит носить. Ни времени, ни охоты нету болтаться при этой фляжке. Солдат — другое дело, солдату положено. Но вот они и выжрали всю воду, желторотики, дурачье, небось от Караганды еще не отъехали, а уже выжрали. Нет воды. Ни капельки. А до лагеря-то пехать и пехать — да еще виду не покажи, что слабость есть в тебе.

Он забывался, мысли уносили его как по воде. Может, от жажды все и уплывало, текло, было в сознании и душе таким размыто-водянистым. Он было все решил, но решимости этой хватило на горстку минут, что утекли, как песок. На глазах у зека он отдал своей ненужной больше армии — этой горстке растерянных солдатиков — приказ не разбредаться и ждать. «Дай водички, начальник!» — взмолился зек, думая, верно, что все же есть вода во флягах у киргизов. «Еще воду на тебя изводить, — ответил нарочно с благодушием Илья Петрович и заставил себя усмехнуться. — У нас вода только для курящих. А которые некурящие — запивают слюну свою поганую песком».

«Что за ошибка природы, зачем он народился на свет, этот доходной?...» — такими мыслями утешал себя на ходу Батюшков, не проронив еще с зеком по доброй воле ни слова. Арестантский их фургон давно скрылся с глаз.

Они были одни в степи — уже за той извилиной горизонта, что чудилась всего с полчаса назад краем земли. Он то и время подгонял зека, чтобы не давать ему продыху, но чувствовал, что уж сам сбавляет устало шаг. Они шли ровнее. Батюшков только следил, чтобы зек от него не отставал.

Сколько ни напускал на себя вредности, но начальником конвоя Батюшков был свойским — как и взводным он был свойским для солдат, звание свое маленькое уж полжизни не выпячивал. Он сам принял неуставной вид и разрешил оголиться по пояс зеку, чтобы не душился тот в потном, грязном тряпье. Под сапогами мерно похрустывал песок. Воздух потеплел, и небо чуть стемнело, не жгло больше глаз. Зек неожиданно смолк, только они зашагали, и молчал не переставая, а вместо того чтоб взять да заговорить, насмешливо пялился по сторонам и мотал, как ватной, головой. «Блажной... Как есть блажной... — удивлялся поневоле Батюшков. — Отбили ему, видать, на зоне башку. Ишь как мотает, ну чисто конь. Небось конем себя воображает хорошим. Кажется ему небось, что под уздцы его ведут». Но коричневая шелудивая спина дышала нищетой, голодом, так что было больно видеть и эту коричневую загара, похожую на засохший сургуч. Зияли, как объедки, обглодки, кожа да кости, но и те — хиленькие, цыплячи. Батюшков и не хотел, но не мог уж взглянуть на зека без жалости, а от близости с ним стало даже холодить, потому что вдруг почудилось, что и молчит зек от голода: молчит, а в это время нестерпимо хочет есть, пить, спать... И взводному стало стыдно вспоминать, как заключенный просил у него воды, а он не ответил по-человечески и в издевку сказал про песок, а что воды во флягах ни у кого не было, будто пожалел дать ему даже узнать.

Вдруг доходной уж не с насмешкой, а ощерясь пронзительно, как скелет, взглянул в упор на него, на своего конвоира... Батюшков застыл, ничего не мог сделать, руки и ноги отнялись. Руки его не слушались, и он ощутил ужас, будто ясно постиг в тот миг, что лишился рук. Но в то время, как Илье Петровичу почудилось, что застыли они на месте, все происходило стремительно — так быстро, как только способны люди драться за жизнь. Зек обливался потом, дрожал, но был он быстрее — уже успел, уже подумал, уже был впереди, отчего и чудилось взводному, что сам-то он застыл обрубком. Отмер он, когда постиг, что падает. А когда уж вскочил на ноги, то зек убежал — был от него метрах в двадцати. Батюшков заорал. Стал выхватывать из кобуры табельный, а фигурка зека растаивала на глазах.

Грохнул выстрел, и Батюшков после своего ж этого первого слепого выстрела словно очнулся: он тяжело дышал, сжимая в руке мертвой хваткой пистолет. Его взорвала злость, был он подло тварью самой подлой обманут, и душила только одна яростная ненависть — догнать, раздавить! Когда бросился он за зекон вдогонку, то стало ему так легко, будто переносился по воздуху, почти летел. Батюшков видел его, слышал — и такая ненависть овладевала всем существом, что зек нужен был ему только живым. Он не слышал, что заорал, и не понимал, куда целил, снова делая выстрел в воздух. А зек бежал и бежал, сверкая взмыленной потной спиной. Он тоже что-то орал. Они, чудилось, не бежали, а мучились друг с дружкой, вытягивая один из другого жилы. По степи аукались их вопли. Взвивалась песчаной мошкой пыль, окутывая бегущих своими клубами.

Зек так и был от офицера метров на двадцать впереди. Он бежал и уже оглядывался, пугаясь, что конвоир или целит в него, или вот-вот настигнет. Их силы выдыхались. Тогда-то, слабея и задыхаясь уж не от ненависти, а будто б давясь глотками воздуха, которые не в силах была сжигать раз от раза рвущаяся на ключья грудь, Батюшков опомнился и постиг: это совершается побег, и он должен стрелять по зеку, чтобы не дать ему уйти. Батюшков мог стрелять — и некого было жалеть, нечего было ждать, ведь и у него самого не было больше сил. «Убьюуюю!» — взвыл он с немощью, надрывая грудь, и не успел выпрямиться, чтобы открыть пальбу, как зек обернулся и, будто руки да ноги его были вздернуты на ниточках, стал пля-

сать перед ним скелетиком, лыбиться и что-то черным беззубым ртом своим хрипеть... Он наскочил на зека, сшиб ударом в лицо — и все было конечно. Был он в его руках. Доходной веселенько лыбился, как пьяный, разбитым ртом, где пузырилась кровь, а Батюшков орал, сидя на его костях, чуть не в лицо ему звонким от отчаяния и надрывным по-бабы голосом: «Играешься, сука?! Со мной играешься?! Весело тебе?! Да ты понимаешь, что я тебя убью? Пристрелю тебя здесь, как собаку!»

Когда поселение уже замаячило в прохладной померкшей дали мачтами лагерных вышек, усталыми дымными крышами домов, Батюшков испытал давно не посещавшее его чувство, что возвращается он домой, где все удивительно да свежо и все-то распаивается ему навстречу. Зек ковылял впереди, обреченно понурив голову, расшатываясь от пинков да тычков, которыми навстречу лагерю гнал его без жалости взводный. Они спустились узким, змеиным ущельем меж сопок и вышли на пустынную покатуя дорогу, хоть должны были по ней весь путь свой и пройти. Показались первые домишки, покошенные степными ветрами изгороди из белесых, как инеем покрытых жердей, то рыхлые, то чахлые огороды, похожая на заросли лопухов пожухлая под солнцем бахча.

Взводный припрятал пистолет в кобуру. На задворках они оба отряхнулись, оправались и шагнули на тесную улочку, где ходили по обочине куры, брехали через забор друг на дружку собаки, доносился шум людской со дворов и теплилась к вечеру жизнь. Пройдя, как на параде, улицу — здесь Батюшков через дом здоровался да раскланивался со знакомцами, — они вышли прямо к вахте лагеря, площадка перед которой была и навроде поселковой главной площади. На площадке этой громоздилась голая бетонная коробка автобусной станции, куда утром и в другой раз к вечеру прибывал автобус из райцентра; подле жалась к бетонным стенам вся сваренная из железа времянка — киоск хлеботорга; стояли скамьи, как на футбольном поле, три ряда, что было похожем еще на базар без прилавков. Но этот ряд базарный скамеек был для родственников осужденных, что ручейками текли и текли неведомо откуда в этот степной поселок на свидания, чтобы им было где побыть, ожидая, когда позовут их с вахты увидеть или узнать о родных.

После у Ильи Петровича было чувство, что произошло все не с ним, а будто потерял он память: он очнулся, когда уже сдал зека дежурному и стоял в проходе на вахте совсем один. С дежурным они еще и проговорили с добрые полчаса: Батюшков рассказывал о том, что с ними приключилось, доложил, чтобы отправили на дорогу за застрявшим в степи автозаком трактор, но про побег, сдавая зека дежурному, про самое что ни есть главное, что случилось с ним в тот день, о чем и права не имел смолчать, — так и не пришло ему на память сказать. А когда спохватился, то уж испугался, подумалось ему украдкой: ведь никто не знает про побег этот, так лучше пускай и не знают, а то мало еще чего, вцепятся в каждое слово и жди уж когда отцепятся, дурачку ж этому никто ни за что не поверит.

Так рассуждал он, думая, что уберегает себя, но если кого и уберег, то не себя, а заключенного. Но и это Илье Петровичу не пришло на ум, что побег — новый для осужденного срок. Будто б сам не свой, конвойный офицер, повывавший на своем веку все, что на службе положено, да еще и с лишком, так он и не понимал, точно помрачился ненароком умом, как слабоумный, что о подсудном-то деле смолчал. Ему хватило ума только спросить у солдата воды. Тот впустил его в караулку, и он сам по памяти пошагал к умывальнику, где долго и жадно пил, сделавшись от простой воды в конце концов как пьяный. Уйдя с вахты, Батюшков сел на скамью и сидел один-одинешенек на длинной, будто дорожка, скамье, дожидаясь возвращения из степи своего конвоя. Открылись ворота. Выехал из лагеря трактор. Он порадовался, но не успел сообразить, что может подсесть да возвратиться за своими вместе с тем трактором, а не ждать без толку еще полчаса. Батюшков, совсем как пьяница, вздремнул, и его разбудил снова гул трактора, но это уже трактор

возвращался с автозаком на буксире, и ему только померещилось, что время пролетело как одно мгновение. Трактор выехал и повернул к роте — потащил автозак в гараж. Батюшков успел увидеть, как рулит автозаком, что катился бесшумно на буксире, его довольный, успевший уже зазнаться своим подвигом солдатик. Тогда Батюшков встал и побрел за пыльным их следом в сторону своей роты, шагал и думал бестолково себе под нос: «Летний день — длинный день...»

В казарме он сдал пистолет в оружейную камеру и повинулся, недосчитавшись двух патронов, дежурному по роте офицеру, что тоже был взводным и которому из-за дежурства в тот день повезло не ехать в конвой, — повинулся, что сдуру стрелял в степи в попавшуюся на глаза змею. Тот, глядя с сочувствием на пожилого изможденного человека, не стал придирается, а уважил: «Черт с ними, Илья Петрович, не бери в голову. Спишем на стрельбище, раз так...»

А наутро все у взводного болело, будто избили его или скинули с горы. Ныли ноги. Висли жердями руки. Ломило спину. И с самого утра, проспавшись, он только и мог думать, что о зеке, чувствуя себя теперь не иначе, как преступником. От мысли, что он так вот по глупости своей стал с ним заодно, корчило посильней, чем от боли, но было уже поздно заявлять правду. Он никак не мог понять: почему ж он не стал стрелять? Зачем бежал он с тварью этой наперегонки? Чего он, околдовал его, что ли? Батюшков чувствовал, что весь день проклятый вчерашний прожил не по своей воле да так, будто б повелевал им кто-то, все равно что издеваясь над ним. Он никогда не стрелял еще в человека, но все годы знал, что не дрогнет и всегда готов выстрелить, даже убить всякую эту тварь. Но вот тварь-то эта делала с ним, что хотела. Как это все случилось? Какая теперь ему будет жизнь, если он долга своего не исполнил — дрогнул, побежал?!

Он заставлял себя думать об этом и все одно чувствовал, что в том, как был он до этого устроен, что-то непоправимо разрушилось. сломалось... Случилось, что оказался он вовсе не таким, как думал столько лет о себе. За это, верно, испытал он и наказание — изведаль сполна свою слабость. Долга он, как надо, не исполнил и принужден был теперь жить, чувствуя себя чьим-то должником, за что-то до гроба виноватым, но этого хозяина не зная — не зная, кто ж держит в своих руках ниточки его судьбы, вины и правил им тогда в степи, заставляя сделать все наоборот.



ОКТАБРЬ — 99

Духовная история русской прозы — область, почти не исследованная, не осмысленная как единое целое.

Известный писатель Олег Павлов выступит на наших страницах не только со своей прозой — романом, повестями, рассказами, но и в новой авторской рубрике — «МЕТАФИЗИКА РУССКОЙ ПРОЗЫ».

В ней Павлов представит опыт художественного исследования неизвестного в судьбах и творчестве тех писателей, чьи произведения, главные в их жизни, не всегда оказывались понятными и даже прочитанными в своем времени, были роковыми, переломными, неизбежными в пути-сплетении русской прозы и стали частью ее *метафизики*.

Одна из первых публикаций этой новой рубрики — эссе «Михаил ПРИШВИН. Философия жизни. Новая русская летопись в годичных кольцах пришвинских дневников».

Лизистрата

НАРОДНАЯ КОМЕДИЯ В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ
НА ТЕМЫ АРИСТОФАНА

«Врачи говорили, что сделать ничего уже нельзя, что все неминуемо... И только моя жена Нина ходила с таким лицом (Филатов быстро, сверху вниз, провел ладонью вдоль лица, и оно приобрело неприступно-отстраненное выражение) и все ставила и ставила в церкви свечи. Как будто это могло помочь... А может, и помогло... Вот и нашей кошке тоже недавно сделали операцию. Ее зовут Анфиса».

В столбе солнечного света на ковре лежала белоснежная Анфиса. Филатов поведал историю о том, что было у Анфисы восемь, а то и более претендентов-женихов. Все возили ее и возили к этим самым претендентам, все ждали: когда же к ней прилетит аист? А в последний раз привезли к одному «персику» (это так персидскую породу называют), оставили в надежде. Несколько дней кряду справлялись по телефону: «Ну как?» «Нет, еще знакомятся...» Не выдержали, приехали и увидели: в одном углу неподвижно Анфиса сидит, в другом — этот мордатый (морда, как подушка) «персик» хвостом бьет. Анфиса лишь глаз скосила, величественно подошла к жениху и лапой — по этой самой подушке... Леонид и Нина клянутся, что услышали, как кот завопил человеческим голосом: «Ма-а-ма!»

«Кому же такая под силу? Ну, чем не Лизистрата?» — подумала я.

«Предупреждаю, буду читать инсультным голосом». — И Филатов начал читать свою «Лизистрату». Поначалу чуть торопливо, но скоро голос вспомнил, вспомнил все — и театральные подмостки, и напряженность зрительного зала. Голос обрел отточенность, виртуозность прекрасного актера, профессионала. Лишь рука Филатова с уже прочитанным листком высоко замирала в воздухе, и Нинина ладонь мягко-мягко подхватывала этот листок, как будто поддерживала мужа под локоть.

Через несколько дней я вновь приехала в Барвиху, где Леонид Филатов отдыхал (не то слово — сидел за столом и писал) и мы говорили о «Лизистрате». Эту беседу мы и предлагаем нашим читателям.

Леонид Филатов. Моя «Лизистрата» — это ни в коем случае не симуляция жизни. Дело в том, что последнее время было обо мне много газетных публикаций, что, мол, помирал, но — все-таки выжил... Признаюсь, ощущать себя как бы в униженном виде мне не хотелось, было желание проявиться в жизни живой, и это послужило подспудным толчком. А если говорить более предметно, то идея использования старого сюжета меня всегда привлекала. Этим блистательно занимается Григорий Горин. Он пересказывает сюжеты. Что значит — пересказывает? Я, помню, в детстве читал пересказы Сергея Богомазова, Тамары Габбе — да, то были действительно пересказы, а у Горина совершенно другое.

Горин выворачивает сюжет наизнанку, берет только отправные точки, опорные, традиционные, всем известные, и строит, создает другое произведение.

Но я так, как Горин, не умею. Меня в эту сторону и не клонит. А сюжет аристофановской «Лизистраты» выбрал потому, что он многолюдный, без каких-либо извивов, Аристофан — как лоскутное одеяло, он не персонифицирован, нет — одна большая магистраль. Как просто — собираются бабы и говорят: «Все, хватит! Больше с мужиками не имеем ничего, пока не закончат воевать. А то потомства нет и вообще сами — инвалиды да уроды». Ну вот, а в конце уже своей пьесы я еще говорю о том, что и другая беда бывает: человек так отвыкает от мирной жизни, что, когда она ценой всяческих усилий наступает, никак не может к ней приспособиться. И грядет расплата. К великому сожалению, все забывают, что война наносит вред сознанию, психике, что человек перестает быть нормальным не только в физиологии, но и во всем другом.

Потом мне показалось, что в моей «Лизистрате» не обязательна тщательная стилизация. Вот, например, я сейчас пишу пьесу по мотивам романа французского писателя восемнадцатого века Шодерло де Лакло. Здесь иное: во-первых, это другое время, для нас более конкретное, другое место — Франция, высший свет. Здесь надо учесть миллион нюансов, особенностей культурного контекста, куда я пытаюсь влезть, и вместе с тем надо написать по-русски, не в прямом смысле на русском языке, а чтобы было понятно — это писано русским человеком в России. Поэтому Франция здесь должна быть не на первом месте и иметь весьма условное отношение к пьесе. Сохранить некий баланс — ох, как трудно! А в «Лизистрате» — совсем другое дело.

Для нас сейчас что такое греческая литература? Клинопись. А Гомер? То ли был, то ли не был. А перевод «Лизистраты» сделан когда? И кем? Допастернаковский период... Это облегчило работу, дало некую свободу, можно было написать просто народную комедию с греческими именами, якобы греческими именами, потому как и это тоже проверить нельзя.

Ирина Николаева. *Теперь понятно, почему вы отступили от общепринятого написания — Лизистрата.*

Л. Ф. Ну, оно более принято с точки зрения литературной транскрипции, хотя и здесь есть разночтения, но поскольку я настаиваю, что пьеса русская, что ничего в ней древнегреческого нет, то на русское ухо лучше будет звучать Лизистрата, да и потом — Лиза, Лизавета... В этом уже появляется знак имени...

И. Н. *В переводе с древнегреческого Лизистрата — «распускающая войско».*

Л. Ф. Я этого даже не знал, я же вам говорю, что я плохой ашхабадский школьник! Что я помню со школы? Помню: купидоны, амурсы, кентавры — и все. Да еще позже в фильме Валерия Рубинчика «Комедия о Лизистрате» были кентавры и амурчики бегали со стрелами, голенькие... И если говорить откровенно, то вот мы так грамотно с вами определили: «по мотивам Аристофана»... Да, по мотивам, хотя всего Аристофана я до конца не дочитал. К сожалению... Понимаю, что это литературный и исторический памятник, ну литературный, может быть, уже не столько, но исторический — конечно... Но не могу... Просто сил нет и времени.

Итак, вернемся к началу нашего разговора об идее старого сюжета: я взял первичный голый сюжет и некоторые приблизительные взаимоотношения героев. Финал моей пьесы я придумал в самом начале работы. Это не главное в сюжете, но это самая главная нота всей пьесы. Она главнее самой Лизистраты, такой одинокой активистки. Тем более что я не хотел представлять мою Лизистрату только активисткой, вождем и такой Машей Арбатовой. Получилась бы глупая история и совершенно неправильная. Надо было Лизистрате сделать любовь, пусть эта любовь несколько пассивна с ее стороны (все же Лизистрату взя-

ли приступом), но у нее должна быть одна антипобеда, одно поражение... Такое красивое, такое женское поражение... У меня Лизистрата — всего лишь женщина, хотя поначалу была знаком, однако лить воду на мельницу идей феминисток мне неохота, я вообще против этих идей, я не за домострой, но эти глупости в конце двадцатого столетия, когда женщины доказывают, что они тоже люди... Конечно, люди, даже лучшие люди!

И. Н. *Об историческом флере. Я тут для верности полистала некоторые книги, и они мне поведали, что Аристофан написал свою комедию, когда полным провалом закончилась одна из военных экспедиций, казна катастрофически пуста, спартанцы совершают набеги на аттические земли, отчего крестьяне покидают свои поля, да еще их нещадно, самым зазорным образом набирают в армию. Демократические силы ослабли, и вот-вот должно наступить непонятно что. Вам ничего это не напоминает?*

Л. Ф. Я вот сейчас вас слушаю и думаю: если бы я все это знал, то написал бы абсолютно другую пьесу. Но если говорить серьезно о совпадении исторического контекста, исторических сюжетов, то, к сожалению, это очевидно. И не потому, что я такой прозорливый или просто угадал, для этого даже не надо выходить на улицу, вон посмотри телевизор с утра до вечера, все новости за день и садись — пиши... У меня в «Лизистрате» есть фраза в конце: «Только не было б войны». Эта фольклорная присказка уже обозначена и в нашей литературе. Александр Моисеевич Володин заканчивает свою прекрасную пьесу «Пять вечеров»: «Только бы войны не было». И если у Володиной в пьесе война присутствует лишь в воспоминаниях, то в моей пьесе эта фраза помещена в другой, густой, реальный контекст. Она звучит острее, должна звучать острее, чем в состоянии мира, равнины, покоя. А потом вообще эти слова для нас многозначны. Это — про русских баб. Русская баба все простит, даже если мужик стал никуда не годен. Не важно — лишь бы живой был, а какой — как Бог даст.

Это о жертвенности, женской жертвенности, она и нам, мужчинам, не чужда, но женщинам особенно, и по глубинному существу — это благородно.

И. Н. *Когда вы писали эту пьесу, были ли какие-то планы поставить ее?*

Л. Ф. Нет, прежде я думал это издать, и у меня есть договоренность с издательством. Хочу, чтобы новая книжка состояла только из новых вещей, совсем без старья, а вот назову ее «Старые сюжеты».

Определенный театр для этой пьесы я, конечно, имел в виду. В грезах... Театр, где я работал, который я очень люблю, театр «Современник» Галины Волчек. Это лучший театр с точки зрения женской труппы, в нем — гениальные актрисы. Во-первых, Марина Неелова, потом там много прекрасных, любимых актрис, моих подруг — Лена Яковлева, Галя Петрова, то есть в этом театре такой каскад женщин! Но все же он несколько другого направления, несколько академичный. Я читал «Лизистрату» Галине Борисовне, она между комплиментами всякими сказала, что слишком все плотно прописано, зазоров нет для режиссерской мысли.

И. Н. *Какую рукопись стережет ваша Анфиса, которая так вольготно разлеглась на письменном столе?*

Л. Ф. А стережет Анфиса несколько только что написанных глав пьесы «Опасный, опасный, очень опасный...» по мотивам романа Пьера Шодерло де Лакло «Опасные связи». Я о ней уже упомянул вначале. Дело в том, что периодически возникают какие-то бумы. Вдруг нападает на людей в разных странах, в разных точках мира одна и та же идея, более того, одно и то же название.

По этому произведению в Америке в один год сделали два фильма. Первый фильм, Фриерса, очень хороший, и второй — Милоша Формана, ну это вообще

гениальная картина, называется по имени главного героя романа — «Вальмон». Не то чтобы я был этим заражен, но все же решил писать пьесу. Роман громоздкий, в письмах, сюжет прощупать очень сложно, долго и нудно. К слову сказать, все должно быть немного шаржировано, потому как это будет не комедия, а трагифарс. Надеюсь, получится такой театральный роман, то есть роман для театра, будет много сюжетных линий, не так много персонажей, но в отличие от «Лизистраты» здесь фантазировать будет нелегко.

Пьеса притягательна, притягательна тем, что ее трудно писать. Простоты и легкости добиваться мучительно, но если я этого не добьюсь — публиковать вообще не буду. Она должна получиться «на пуантах», обманных пуантах, знаете, о жестокости как бы с легкостью. О жестокости сейчас можно говорить только так. Если произведение нагрузить свинцом прямой морали, ну, это скучно... Должно быть все само собой, как воспитание детей по системе Марии Монтессори. У нас, например, в гуманитарном лицее в Митине, ректором которого я являюсь, никто не может отрывать детей от дела, которым они в данный момент занимаются. Взрослые так выстраивают зависимость детского непослушания от жизнедеятельности ребенка, что все становится завязано одно с другим. Дисциплины, как мы привыкли понимать, нет, но невыполнение определенных обязанностей выливается для ребенка в определенный дискомфорт.

Так и в этой пьесе не будет ведущего или резонера, в уста которого можно вложить определенные нравоучения, потому как в этом романе все большие негодяи... Жизнь подсказывает, что прямые морализмы, наставления не действуют — даже Бог по-настоящему приходит к человеку в зрелом возрасте, обычно в несчастье или невезении.

И. Н. *Все же отчаянный поступок — взяться за сюжет «Лизистраты» в эпоху вседозволенности, когда можно все и всем. Вот и Филатов туда же. Не боитесь прослыть любителем соленья?*

Л. Ф. Конечно, могут сказать, ну, милый, долго же тебя держала плотина-то, вот ты и разговорился... Кривотолки не решают мою судьбу, если я уверен в точности моих посылов. Могут возразить: как было понято, так и было написано. В таком случае я не смогу быть понятым верно, значит, я виноват. Этот упрек я приму всегда. Но увидеть в моей пьесе хулиганствующего типа, подрывающего основы... С этим я не соглашусь. Знаете, в греческом варианте этого сюжета много моментов более откровенных, греки метафорами вообще не мыслили, все называли впрямую, и это лишало сюжет юмора. В России на эту тему можно говорить только смешно. Мы так воспитаны... У нас воспитание, конечно, и ханжеское, не без того. Но есть и демократический, народный слой, есть же сказки Афанасьева, народные частушки. Они смешны, наивны — такие самodelки на нескромные темы. Не будем говорить об Иване Баркове и его фривольных стихах, которые расходились в списках, — это интеллектуальные игры. Барков был человеком неглупым, очень образованным и хитрющим, как собака. Недаром его Пушкин любил.

А мне хотелось, чтобы это был как бы звук из народа. Не то, что я сам совсем уж из народа, но чтобы это был звук низа нашего, который гораздо талантливее звука верха.

И. Н. *Существует риск в рассуждениях, скажем так, «ниже пояса», скатиться в похабщину.*

Л. Ф. А я хитрый, проверял свои сомнения на женщинах. Читал им пьесу, и они все до одной уверяли, что похабщины никакой нет. Но вот моя мама...

И. Н. *А, значит, все же оказалась среди женщин одна...*

Л. Ф. Мама все повторяла конфузливо: «Бесстыдник, бесстыдник», — и улыбалась...

Жене моей и другу Нине, без которой эта пьеса (да и не только она) никогда не увидела бы свет

Участвуют:

Лизистрата, Миррина, Старая женщина, Молодая женщина, 1-я женщина, 2-я женщина, 3-я женщина, 4-я женщина, 5-я женщина, 6-я женщина, 7-я женщина, 1-я гетера, 2-я гетера, Кинесий, Предводитель, 1-й офицер, 2-й офицер, Женский хор, Мужской хор.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

На площади у городской крепости волнуется женская толпа. На некотором возвышении — Лизистрата.

Лизистрата

Прошу прощенья, милые товарки.
Но — если бы не крайняя нужда —
От ваших стирки, глажки, дойки, варки
Я вас не отвлекла бы никогда.
Чтоб положить конец мужским раздорам
И прекратить в стране мужской террор,
Сегодняшний наш форум должен хором
Им вынести суровый приговор!

1-я женщина

Но кто мы есть?.. И что для них мы значим?..
И вправе ль мы советы им давать?
Мы просим, отговариваем, плачем,
А им на наши просьбы наплевать!

2-я женщина

Бывало, муж вернется из похода,
Хлебнет винца и дрыхнет, как свинья.
А утром — в бой и снова — на полгода!
И это называется «семья»?!

3-я женщина

А мой придет и хмурится чего-то,
Потом рывком повалит на матрац..
Но только распахнешь ему ворота,
Глядишь — экстаз и кончился как раз!

4-я женщина

А моему, бывало, разминаешь
Его игрушку... Трешь ее, как трут..
И лишь с восходом солнца понимаешь:
Не женский, ох, не женский это труд.

Старая женщина

Ах, милые товарки, вы не правы!
Хочу добавить реплику еще:

Важны, конечно, бабам и забавы,
Но нужно им и твердое плечо.

Молодая женщина

Не оттого ли, милая подруга,
Ты так об этом судишь горячо,
Что с возрастом у твоего супруга
Из твердого осталось лишь плечо?

Твой муж давно мне не дает покою,
Приходит и бесстыдно пристаёт...
И соловья в штанах бодрит рукою,
А соловей охрип и не поёт!

Старая женщина

Да на тебя, бесстыжая корова,
Мужчинам и вскарабкаться-то лень!
Не то уже давно бы — право слово! —
Твой муж ходил рогатый, как олень.

Старая и молодая сцепляются в драке. Их осаживает
властный голос Лизистраты.

Лизистрата

Эй, доблестные дочери Эллады!
Кругом горит родимая земля!..
А вы и в том не видите преграды,
Чтоб власть подрачься из-за кобеля.

5-я женщина

Мы, женщины, мужской любви в излишке
И в мирные не знали времена!..
А нынче не осталось и мальчишки,
Кого б не забрала к себе война.

6-я женщина

Ну, как мы можем этим быть довольны?
Едва вздохнули — вновь кричат: беда!
Все время — только войны, войны, войны!..
А жить, а жить-то, бабоньки, когда?

7-я женщина

Но как в Элладе мир мы обеспечим?
Мужчины не воспримут нас всерьез!..
Гасить пожар войны нам будет нечем,
За исключением разве наших слез!

Лизистрата

Нет, мы свое с лихвою отрыдали,
Для слез не будет более причин!
Мы так изменим мир, чтоб слезы стали
Уделом исключительно мужчин!

Ведь всюду — стоит только обернуться —
 Один пришел без рук, другой — без ног,
 А третий мог и вовсе не вернуться,
 Но все-таки вернулся — Зевс помог!

А тот, похоже, в голову контужен.
 Придурки нынче тоже не в цене!..
 Такой — он и чужой жене не нужен,
 Не говоря о собственной жене!..

Я представляю ваш кромешный ужас,
 А также выраженья ваших лиц,
 Когда, в бою изрядно поднатужась,
 Ваш муж домой вернется... без яиц!

Не выгонять же этого дебила!
 Придется продолжать его любить!
 Он будет делать вид, что так и было,
 Вы — делать вид, что так должно и быть.

Молодая женщина

Кошмар!.. Вы только вдумайтесь, девчонки:
 Без рук, без ног — еще туда-сюда!
 Но если муж вернулся без мошонки,
 То это настоящая беда!

1-я женщина

Но это же нечестно, Лизистрата!..
 И слишком уж безжалостно к тому ж!..
 Придет кастрат — я встречу и кастрата!..
 Какой он там ни есть, а все же муж!..

Лизистрата

Чем ждать такого страшного подарка
 И у пустой надежды жить в плену,
 Не лучше ли, любезная товарка,
 Остановить проклятую войну?..

2-я женщина (в истерике)

Не верю я, что все так обернется!
 Я знаю, я ручаюсь головой:
 Мой милый обязательно вернется!
 С руками и с ногами!.. И живой!..

Лизистрата

А если не вернется?.. Так бывает!..
 Удар мечом — и рухнул твой герой!
 Ведь на войне, бывает, убивают,
 И чаще, чем мы думаем, порой!

Пойми меня, любезная подруга,
 Про то сегодня и веду я речь,

Чтоб твоего любимого супруга
Да и других — от смерти уберечь!

Ропот недовольной толпы.

3-я женщина

Все это — только слов пустая трата!
Дурное горлопанство! Бабий крик!

Женский хор

Зачем ты собрала нас, Лизистрата?
Неточен и невнятен твой язык!

Лизистрата

Чтоб наш характер испытать на крепость,
И — всем мужским интригам вопреки —
Давайте в городскую влезем крепость
И двери все защелкнем на замки!
Возьмем туда с собой питье и пищу,
И сделаем надежным наш редут!
И пусть по всей стране мужья нас ищут...

Мужской хор

Найдут!

Лизистрата

Найдут!.. А в крепость не войдут!

Миррина

Рискну предположить одну нелепость.
А если — всем стараньям вопреки —
Мужчины вдруг проникнут в эту крепость?
Ведь как ни кинь, а все же мужики!

Чем дело обернется в результате?
Вдруг чей-то муж, уставший воевать,
Узрит жену и вздумает некстати
Немедля уложить ее в кровать?

Лизистрата

Нельзя ему дерзить!.. Напротив, надо
Подманивать, манежить, волновать,
Пронзая его насквозь стрелою взгляда,
А как дойдет до дела — не давать!

Миррина

А если он попробует без спросу
Пристроиться к супруге между ног?

Лизистрата

А ты должна принять такую позу,
Чтоб он никак пристроиться не смог!

Миррина

А если он пойдет на приступ силой.
Сумею ль вернуться второпях?

Лизистрата

Ты ласково скажи: «Не надо, милый!»
И врежь ему ногою прямо в пах!

Миррина

А если он наляжет всюю массой —
Мужчина он тяжелый,— что тогда?

Лизистрата (*со вздохом*)

Придется дать!.. Но нехотя. С гримасой
Бессилья, отвращенья и стыда!

Коль штурм сулит мгновенные улады,
Мужик берет копьё наперевес,
Но, если крепость требует осады,
Он к ней теряет всякий интерес!

Вначале он напорист, наш вояка,
Но слишком долгий штурм ему во вред..
Глядишь, отбита первая атака,
А на вторую — сил уже и нет!

1-я гетера

Эй, Лизистрата!.. Что за чертовщина?!
Не хочешь ли ты, милая, сказать,
Что — подойди ко мне любой мужчина —
Я вынуждена буду отказать?

Лизистрата

Беседуй с ним... И улыбайся мило..
Но только не тащи к себе в кровать!
Ведь мы же защищаем дело мира,
Не следует об этом забывать!

2-я гетера

Все эти пацифистские химеры
Касаются одних лишь только жен!..
А что до нас — мы вольные гетеры,
Зачем же мы полезем на рожон?

1-я женщина

Эй, женщины!.. Да вы в своем рассудке?
Совсем уж потеряли стыд и честь!
Не зря вас называют — «проститутки»,
И точно — проститутки вы и есть!

1-я гетера (*с достоинством*)

Да, мы — не вы!.. Мы из другого теста!..
Но вы должны нас тоже уважать!

Тем более что акцию протеста
Мы все-таки решили поддержать.

2-я гетера

Пока мы тут болтаем, как сороки,
Война-то продолжается — увы!
Но мы бы уточнить хотели сроки:
А сроки забастовки каковы?

Лизистрата

Не знаю... Может, год, а может, сутки...
Надеюсь, не до гробовой доски!

1-я женщина

Смотри-ка, проститутки, проститутки,
А начинают думать по-людски!

Лизистрата

Что ж, наши споры были не напрасны —
Мужчинам мы придумали ответ!
Давайте ж поклянемся!.. Все согласны?..
Других, надеюсь, предложений нет?

1-я женщина

Покамест муж купается в насилье...

2-я женщина

Покамест продолжает воевать...

Женский хор

О чем бы нас мужья ни попросили —
Клянемся: ничего им не давать!

3-я женщина

Покамест муж не думает о сыне...

4-я женщина

Покамест на жену ему плевать...

Женский хор

О чем бы нас мужья ни попросили —
Клянемся: ничего им не давать!

5-я женщина

Попросит муж на завтрак колбасы ли...

6-я женщина

Попросит ли улечься с ним в кровать...

Женский хор

О чем бы нас мужья ни попросили —
Торжественно клянемся: не давать!

Мужской хор

Да, акцию задумали вы ловко!
Но выполнить ее — нелегкий труд!

Миррина

А эта... третьесортная массовка,
Чего они там, собственно, орут?

Лизистрата

Мужчины наше мнение презирают,
Знать, взгляд на жизнь у них совсем иной.
Ну что же, пусть отныне выбирают
Между войной и собственной женой!

Побудем здесь и вскорости узнаем,
Как наши поведут себя ослы!
Веселой ли покажется война им,
Когда у них взбунтуются тылы?!
Докажем нашим чертовым задирам
Одну простую истину хотя б:
Мужчины хоть и правят этим миром,
Но кое-что зависит и от баб!

КАРТИНА ВТОРАЯ

Во дворе городской крепости женщины уже наладили привычный быт:
кто-то варит в котле похлебку, кто-то стирает в тазу белье, кто-то
развешивает белье для просушки. Вдалеке, в башне на крепостной стене,
Лизистрата дает инструкции женщине-караульному.

1-я женщина (*кивая на Лизистрату*)

Замужество пошло бы ей во благо.
Найти ей мужа срочно надлежит!

2-я женщина (*поддерживает*)

Ведь до сих пор не замужем, бедняга,
От этого, как видно, и блажит.

3-я женщина

Будь у нее семья, жила б, как все мы:
Муж на работе — ты сиди и жди!

4-я женщина

Будь у нее семейные проблемы,
Ее не потянуло бы в вожжи.

5-я женщина

Нет ничего страшней безмужней бабы:
Кто попадет к ней в руки — тот держись!

6-я женщина

Свою-то жизнь устроила хотя бы,
А ей подай — общественную жизнь!

7-я женщина

Есть вроде и мордашка, и фигурка,
И, говорят, приличное жильё...

1-я женщина

А только не нашлось в стране придурка,
Который бы польстился на нее.

2-я женщина

А мы? Какими ж дурами мы были,
Когда так дружно согласились с ней?

3-я женщина

Нет, все-таки мужья нас мало били.
А били бы — так были бы умней!

4-я женщина

Тупые вертихвостки! Горе всем нам!..
Мы каяться должны сто раз на дню,
Что предпочли своим любимым семьям
Пустую Лизистраты болтовню.

5-я женщина

Муж бил меня порою — ну и что же?..
Бывает все меж близкими людьми.
С похмелья даст разок-другой по роже,
Так не со зла ж!.. Скорее от любви!

6-я женщина

У моего такое ж было свойство...
Все время бил, а как-то раз забыл.
И у меня возникло беспокойство:
Не врезал!.. Неужели разлюбил?

7-я женщина

А мой, хотя и пил вина помногу,
А иногда и крепко запивал,
Но все ж домой заветную дорогу —
И пьяный! — никогда не забывал.

1-я женщина

А мой, хотя частенько отлучался
Куда-нибудь... Ну, скажем, на войну.
Но всякий раз обратно возвращался,
Чтобы обнять любимую жену.

2-я женщина

А мой, когда терял к любви охоту
И был пригоден только для бесед,
То звал соседа, и его работу
Заканчивал отзывчивый сосед.

3-я женщина (*согласно кивает*)

Не говори, любезная товарка!
В своей семье и горе — не беда!
Конечно, и в семье бывало жарко,
Но скучно не бывало никогда.

Женский хор

Да, мало мы мужей своих любили!
Да, мало мы ценили прежний быт!

4-я женщина

За это нас, видать, мужа и били!

5-я женщина

И правильно! А как же нас не бить?..

Старая женщина
(*решившись вступить в разговор*)

Мне обойти бы тему осторожно,
Да тема-то уж больно горяча!..
Никак прожить нам, бабам, невозможно
Без твердого надежного плеча.

Молодая женщина (*раздраженно*)

Мне помнится, на прошлой нашей встрече
Ты втюхивала тот же манифест.
Дались тебе, однако, эти плечи!..
Иль у мужчины лучше нету мест?

Старая женщина (*парирует*)

Знать, у тебя зудит одно местечко,
Тебя и раздражает все кругом!..
И правильно: когда у сучки течка,
Она не в силах думать о другом!

Старая и молодая женщины опять сцепляются в драке.
Появляется Лизистрата.

6-я женщина

Скорее разними их, Лизистрата!

7-я женщина

У них опять военная страда!

Лизистрата

Стыдитесь!

(*Старой женщине.*)

Ты для драки старовата!..

(*Молодой женщине.*)

А ты для драки слишком молода!

Нам от войны нигде житья не стало!..

Хотели скрыться здесь — и вот те на! —
Она нас даже в крепости достала.
Липучка эта подлая — война!..

В толпе женщин неожиданно начинается переполох.

6-я женщина (*указывая на здание крепости*)

Смотрите! Кто-то там проворней белки
На верхние метнулся этажи!

7-я женщина

Да чьи ж это нахальные проделки?!

Голоса

Гляди: мужик!..
Держи его, держи!..

Лизистрата

Чего вы раскричались беспричинно?
Куда вы этак кинулись гурьбой?

1-я женщина

Но там — мужчина!

Лизистрата

Это не мужчина!..
Верней, мужчина... Только голубой!..
И хоть не схож он с нами нижней частью,
Его мы впустим в крепость, не чинясь!
Ведь он — подруга наша по несчастью,
Он, проще говоря, одна из нас!

2-я женщина (*одобрительно*)

Сей факт его неплохо аттестует!
Но кто его в движенье к нам втянул?

Лизистрата (*пожимая плечами*)

Шел мимо. Видит — женщины бастуют.
Подумал. Посочувствовал. Примкнул.
Для женских нужд пригоден он не очень,
Но тем хорош он, что издавека,
В большой туман, к тому же темной ночью,
Слегка напоминает мужика!

3-я женщина

Представим, что мужчина он как будто.

4-я женщина

На истинную суть его — плевать!

5-я женщина

Он видимость семейного уюта
Хоть изредка нам будет создавать!

Неожиданно Лизистрата замечает, как к крепостным воротам крадется группа молодых женщин, пытающихся под шумок улизнуть из крепости. Лизистрата властно поднимает руку, гам стихает, и взгляды всех присутствующих обращаются к «дезертирам».

Лизистрата *(6-й женщине, понимающе)*

Причиной, разумеется, мужчина?
С чего ты вдруг решила удирать?

6-я женщина *(неуверенно)*

Да я белье для стирки замочила...
Хотела на досуге постирать...

Лизистрата *(7-й женщине)*

И у тебя такая же причуда?
И ты хотела выстирать белье?..

7-я женщина

Осталась дома грязная посуда,
И я помыть надумала ее...

Лизистрата *(молодой женщине)*

И твой мотив, конечно, в том же духе?
Ну и компашка, я вам доложу!

Молодая женщина *(выставляя огромный живот)*

А я... Мне срочно нужно к повитухе!
Еще часок-другой — и я рожу!

Лизистрата *(разглядывая живот)*

Да ты и впрямь беременна, девчонка!
С чего бы это? Странные дела!
Сегодня ты на вид круглей бочонка.

Молодая женщина

Вчера во сне я встретила с супругом,
И он меня всю ночь — такой нахал! —
Распахивал своим отменным плугом.
И вот смотрите...

(Снова выставляет живот.)

...сколько напахал!..

Лизистрата

Еще вчера клялась перед народом,
А нынче удираешь, не простясь!

(Неожиданно изо всех сил бьет молодую женщину кулаком в живот. Слышится металлический звон, из-под одежды молодой женщины с грохотом выпадает большой медный таз.)

О-о!.. Поздравляю, милая, с приплодом!
Ты родила отличный медный таз!

В Элладе роды всякие случались,
Но помнится, что в прошлые разы
У женщин никогда не получались
Такие превосходные тазы!

Ну что же, если ты не возражаешь
И если способ родов твой таков,
То ты еще нам много нарожаешь
Полезных для хозяйства пустяков!

Молодая женщина (*смущенно*)

Прости мне эту подлость, Лизистрата,
Прости мне хитрость дерзкую мою!..
Но если в чем-то я и виновата,
Так в том, что я люблю свою семью...

Лизистрата (*печально*)

Мне ль не понять, любезные подруги,
Сколь, в сущности, нелепы и смешны
Все наши неуклюжие потуги
Плевками загасить костер войны!

Вот если б и соседние державы
Мужчин из дому выгнали бы вон,
Они б нас этим очень поддержали
И вовсе бы не стало в мире войн!..

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Ночь. Площадь перед крепостной стеной. У подножия стены
крадучись появляется Кинесий.

Кинесий (*негромко*)

Любимая!.. Война неумолима,
Но я пришел к тебе, оставив бой...
Не мог я умереть, моя Миррина,
Еще хоть раз не встретившись с тобой!

На крепостной стене появляется Миррина.

Миррина

Кинесий мой!.. О, ты ли, мой любимый?!
А впрочем, нет!.. Молчи!.. И без того
Одною лишь тоской моей глубинной
Узнала я супруга моего!

Кинесий

В ночи ты для меня почти незрима...
Твои лишь очертанья мне видны.

Приди ж в мои объятия, Миррина,
Спустись сюда, к подножию стены!

Миррина

В согласье с нашим внутренним уставом
Мы Лизистрату слушаться должны!..
Никто из нас не обладает правом
На улицу спускаться со стены.

Уж лучше сам ты прояви сноровку
И собери силенок — сколько есть.
Я со стены спущу тебе веревку,
И ты сюда ко мне попробуй влезть.

Кинесий (*обиженно*)

Мне ползать, точно муха, неохота,
У города к тому же на виду.
Открой-ка крепостные мне ворота,
И я по-человечески войду.

Миррина

Открыть тебе ворота я могла бы,
Да стражники подмогу позовут.
А набегут взбесившиеся бабы,
Они тебя на части разорвут!

Кинесий (*жалобно*)

Ужели к мужу будешь не добра ты?
Он так устал!.. И так изранен весь!
Да плюнь ты на приказы Лизистраты!
Спускайся вниз!

Миррина

Лови веревку!.. Лезь!

Миррина сбрасывает вниз конец веревки. Разгорячившись, Кинесий и Миррина не замечают, как начинают разговаривать все громче. Наконец на крепостной стене появляется разгневанная Лизистрата.

Лизистрата

Скажи на милость, что тут происходит?
Откуда среди ночи этот гам?

(*Прислушивается.*)

Я слышу, там, снаружи, кто-то ходит,
Причем мужчина, судя по шагам!

Миррина

Кинесий мой вернулся из похода,
Всего на час расстался он с войной.
Столь краткая дана ему свобода,
Чтоб он успел потешиться с женой...
Не откажи нам в этом, Лизистрата!

Лизистрата

Ты спятила! Забудь про эту блажь!
Какой пример публичного разврата
Ты нашим бедным скромницам подашь?!

Появляются другие обитательницы крепости
с горящими факелами в руках. Они уютно располагаются
по всей крепостной стене.

Суровое такое заявленье
Я сделала, как видишь, неспроста.

(Указывает на женщин.)

Еще не объявили представленье,
А зрители уж заняли места!

(Замечает карабкающегося по стене Кинесия.)

А ну к порядку, юноша, к порядку!
Ты влез уже почти на полстены!
Теперь остановись. Люби вприглядку!
Оттуда все подробности видны...

Миррина *(умоляюще)*

Смягчить жестокость нашу не пора ли?
Закон насчет любви уж больно рьян!

Лизистрата *(в сторону Кинесия, небрежно)*

От этого еще не умирали!
Пусть сам себя обслужит, павиан!

Кинесий *(жалобно)*

Миррина! Помогите мне хоть немножко!
Пожалуйста, родная, будь добра!
Ну покажи одну хотя бы ножку...
Хотя бы грудь... Хотя бы часть бедра!

Женский хор

Давай, Миррина! Сбрасывай одежду!
Тут все равно не видно ни черта!

Мужской хор *(поддерживает)*

Не можешь дать — так дай хотя б надежду,
Что все его усилья не тщета!

Миррина нехотя обнажается.

1-я женщина *(Кинесию)*

Ты паузой себе наносишь вред лишь:
Желанье превращается в недуг...

2-я женщина

Трудись рукой, Кинесий! Что ты медлишь?

3-я женщина

Забыл, как это делается, друг?

Миррина (*Лизистрате, почти плача*)

Избавь его от этого мученья!
Он вынужден орудовать рукой!

Лизистрата (*пожимает плечами*)

Обычное мужское развлечение!
Подумаешь, особенный какой!

Миррина (*Кинесию, в отчаянье*)

Поверь, Кинесий, я не виновата!..

Кинесий

Я знаю, ты страдаешь и сама!
Всему виною стерва Лизистрата,
Она всех наших жен свела с ума!

4-я женщина

Ты лучше береги свою пустышку,
Чем Лизистрату склочно обвинять!

5-я женщина

Попробуй, что ли, сделать передышку!

6-я женщина

Попробуй, что ли, руку поменять!

Кинесий отвечает злобным рычанием.

Молодая женщина (*Кинесию с вызовом*)

Любить жену — занятие пустое,
Ты этим занимаешься не с той!
Мое вот тоже гнездышко — в простое,
И я б тебя пустила на постой!

Старая женщина

(*вскакивает, возмущенно*)

Платить такому надо идиоту,
Который бы, жену свою любя,
Вдруг в кой-то миг почувствовал охоту
Публично взгромоздиться на тебя!
Ну, полюбуйте вы на стерву эту!
Будь поскромней, паршивая овца!
Страшней тебя девицы в мире нету!
Хоть спереди! Хоть сзади! Хоть с торца!

Молодая женщина (*опешив*)

Ну до чего ж ты злобная особа!
Что ни скажу — ты сразу мне под дых...

Тебе всего полмесяца до гроба,
А ты все задираешь молодых.

Старая женщина

Быть может, я и впрямь близка ко гробу,
Но если там — заранее скажу! —
Такую ж я почувствую стыдобу
За вас, я и в гробу не улежу!

(Обращается ко всем.)

Пора кончать спектакль этот жуткий!
Терпеть его не в силах дольше взор!
Ужель вам невдомек, что ваши шутки
Мужчину обрекают на позор?
Вы из мужчины сделали уродца,
Меж тем мужчину надо уважать.
Вы спросите: а как же с ним бороться?..
Да как угодно! Но не унижать!

Лизистрата *(посерьезнев)*

Итак, спектакль окончен! Гром оваций!..
Оставим обсуждение про запас!
Негоже, в самом деле, издеваться
Над теми, кто и так слабее нас.

Кинесий спрыгивает со стены. Миррина вновь надевает свою одежду.
Женщины аплодируют. Кинесий порывается что-то сказать,
но Лизистрата не дает ему вымолвить ни слова.

Твой монолог заранее нам ясен.
Не ставь позор свой женщинам в вину!
Лети, наш гордый сокол, восвояси
На милую душе твоей войну!

Кинесий, шатаясь от горя и стыда, уходит. Лизистрата
смотрит ему вслед.

Вот, женщины, наглядная картина,
Которой я хотела показать,
Насколько жалок может быть мужчина
В своем природном виде, так сказать!

Он важно надувал пред нами щеки,
В нем были сила, твердость и покой.
Но вдруг сошел с ума от женской щелки,
От малой чепуховинки такой!

Лизистрата поворачивается к женщинам.

А вы чего расселись, будто квочки,
Надеетесь, что он придет опять?..
Теперь, после веселой этой ночи,
Вам надлежит как следует поспать!

Женщины принимают эти слова как приказ и, недовольно ворча,
расходятся. На крепостной стене остаются только
Миррина и Лизистрата.

Ах, подлость в мужиках необорима.
До гнездышек чужих мужчина слаб.
Он вроде бы хотел тебя, Миррина,
А сам все на других косился баб...

Миррина (*вздыхая*)

Да, что и говорить!.. Мужчины слабы!

Лизистрата (*горячо*)

Но женщинам сдаваться не к лицу!
Неужто же, Миррина, ты дала бы
Такому беспринципному самцу?

Миррина (*огорченно*)

Не знаю... На душе темно и тошно...
Теперь, попросит если — так не дам!
А вот кому уж я дала бы точно —
Так это нашим бабам! По мордам!

КАРТИНА ВТОРАЯ

Раннее утро. Площадь перед крепостной стеной.
На площади появляется предводитель в сопровождении
двух офицеров.

Предводитель (*громко*)

Не здесь ли проживает Лизистрата,
Известная теперь на всю страну,
Что против брата нашего, солдата,
Ведет непримиримую войну?

На крепостной стене появляется Лизистрата.

Предводитель (*ошеломленно*)

Ты — Лизистрата?

Лизистрата

Да!.. Привет, вояка!
Так ты о чем тут давеча кричал?

Предводитель (*приходя в себя*)

Какая ж ты красавица, однако!
Я никого красивей не встречал!

Лизистрата

Ну, что ж, дружок, за комплимент спасибо,
Хоть это и армейский комплимент.
А рассуждать о том, как я красива,
Не те ты выбрал место и момент...

Предводитель

Согласен, Лизистрата!.. Сменим тему.
Позволь тебя спросить: какой кретин
Упрятал вас за крепостную стену
И выдумал столь дикий карантин?

Лизистрата

Должна предупредить тебя я сразу:
Полегче, парень!.. Ты не на плацу!
Еще одну такую скажешь фразу —
И тотчас же схлопочешь по лицу!

Предводитель

Да, перебор! Прости меня за это!..
Я солдафон! Я дурень! Я нахал!..
Но мало-мальски внятного ответа
Я все же от тебя не услышал.

Так чем же перед вами виноваты,
Пред женским населением страны,
Отважные и честные солдаты,
Эллады благородные сыны?

Лизистрата

Да, нетрудно в том не согласиться с вами:
Что летописцы в хрониках войны
Вас обозначат гордыми словами —
Эллады благородные сыны!

А вот мои ехидные подруги
Готовы раззвонить во все концы,
Что вы весьма бездарные супруги
И крайне бесталанные отцы!

Предводитель

Солдату и нужна-то только малость —
Чтоб родственники были с ним милы.
И чтоб солдату легче воевалось,
Он должен быть спокоен за тылы...

1-й офицер

Но нынче и в тылу нам нет покоя...

2-й офицер

Куда нам притулиться?.. Как нам жить?

Предводитель

Что требуется сделать нам такое,
Чтоб вновь доверье ваше заслужить?

На крепостной стене появляются другие женщины.

Лизистрата

Мы, женщины, народ весьма упрямый!
Чем, говоришь, доверье заслужить?
А просто: у стены вот этой самой
Вели войскам оружие сложить!

1-я женщина

Мы предлагаем вам сложить оружие
И погасить военный жар в крови!

2-я женщина

Тогда поговорим. Сперва — о дружбе.
А после, может быть, и о любви!

1-й офицер (*возмущенно*)

А чем сражаться будем мы с врагами?

2-й офицер (*с пафосом*)

Или Отчизна вам не дорога?!

Лизистрата

Рогами, драгоценные, рогами!
На что ж мы подарили вам рога?

Предводитель

Ах, вот как?! О несчастные солдаты!
Отведавшие горюшка сполна,
Они еще вдобавок и рогаты!
Достоинно ж наградила их страна!

3-я женщина (*поправляет*)

Жена, а не страна!.. Не шей нам дело!
Не путай нас в политику, дружок!

4-я женщина (*авторитетно*)

Мужьям к лицу — свидетельствую смело —
Один-другой на темечке рожок...

5-я женщина

А обижаться — глупо и не надо!
Представь себе смятение врага,
Коль на него попрет оленья стадо,
Перед собою выставив рога!

6-я женщина (*миролюбиво*)

Чего тут обижаться, в самом деле?
Когда мужья уходят воевать,
Ведь должен же у женщины в постели
Хоть кто-нибудь хоть изредка бывать?

7-я женщина (с горечью)

Ведь ваши жены, как бы ни хотели,
Не вспомнят даже с горем пополам,
Какими вы бываете в постели
И вообще — бываете ль вы там!

Предводитель

Обманутые воины! Мне жаль их!
Одна надежда: кончится война —
И на родной истории скрижалях
Героев не сотрутся имена!

А честь страны? А денежные траты?
А воинская слава, наконец?
И что — из-за какой-то Лизистраты
И кучки глупых баб — всему конец?

Женский хор

Казарменный жаргон у нас не в моде!
Еще одно поганое словцо —
Мы хором надаем тебе по морде!

Лизистрата (поправляет)

Точней сказать: набьем тебе лицо!

Предводитель (в сторону)

Чем больше в разговорах наших перца,
Чем громче я бранюсь и ссорюсь с ней,
Тем явственней я ощущаю сердце
И тем огонь любви моей сильней!

(Лизистрате.)

Пока вы тут беспечно верещали:
Мужчина, он такой, мол, и сякой!
Бесстыдницы, мы вас же защищали,
Оберегая глупый ваш покой.

Лизистрата

Постой!.. Ты что-то путаешь в запале!
Известно ведь любому пацану:
На вас не нападали. Вы — напали.
Вы первыми затеяли войну!

Вы гражданам защиту обещали,
А получился форменный скандал!..
Кого и от кого вы защищали,
Когда на вас никто не нападал?

Ах, сколько на земле людишек подлых!
Такие уж настали времена!..
Вы подлость преподносите, как подвиг,
И просите за это ордена!

Предводитель (*надменно*)

Позвольте вам заметить с укоризной —
И поскорей возьмите это в толк! —
Мы выполняем долг перед Отчиной,
Священный перед Родиною долг!

Лизистрата (*раздумчиво*)

Пред Родиной, конечно, неудобно...
Долги, конечно, надо отдавать...
Но почему она — в уплату долга —
С вас требует кого-то убивать?

И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь — в уплату их — пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?
Коль Родина удар наносит сзади,
Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, дорогие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!

1-й офицер

Твои слова кощунственны и глупы!

2-й офицер

И больше половины их — вранье!

Предводитель

Выходит, зря сегодня наши трупы
Клюет на поле брани воронье?

Лизистрата

Выходит, зря!.. Героев мы зароем
И перед ними головы склоним!
А вот что с главным делать нам героем?
Скажи, начальник, что нам делать с ним?

Предводитель молчит.

Что голову повесил, предводитель?
Оплакиваешь воинскую честь?
В одних глазах — герой, в других — вредитель.
Так кто же ты в действительности есть?

Предводитель (*в сторону*)

Бывало, недруг пер на нас стеною,
Я вел себя, как воин и храбрец!
А тут — она одна передо мною,
Без стрел и без меча... А мне — конец!

(*Лизистрате.*)

Видать, я для тебя противник слабый,
С тобою спорить мне не по плечу.

(После некоторой заминки)

Но падать на колени перед бабой
Я все же не могу и не хочу!

К этому времени на площади скапливается изрядная мужская толпа,
но мужчины все прибывают и прибывают.

Лизистрата

Ну что ж, не повезло на этот раз нам!
И — хоть с тобой схлестнулись мы всерьез —
Наш спор — как оказалось! — был напрасным
И нужных результатов не принес.

(Обращаясь ко всем)

Две страсти мучат нас неистребимых,
Которые нельзя свести в одну...
Нам выпало любить своих любимых.
Вам выпало любить свою войну.
Мужчины!.. Мы любили вас когда-то,
Но женщины теперь вам не нужны!..
Воюйте ж на здоровьичко, ребята!
Счастливой вам и радостной войны!

Внезапно в толпе начинается волнение — среди эллинских воинов
появляется гонец из неприятельского войска.

Гонец *(кричит)*

Эй! Главного зовите командира!

Предводитель *(отделяясь от толпы)*

Ну я, допустим, главный командир!

Гонец

Командованье наше просит мира...
Верней, не просит... предлагает мир!

Предводитель *(озадаченно)*

Приятно слышать!.. Но желаем все мы
Узнать, что за беда у вас стряслась.
Сломались копья?.. Прохудились шлемы?..
Распалось войско?.. Поменялась власть?

Гонец

Война еще, пожалуй, шла и шла бы,
Быть может, до скончания веков,
Но наши обезумевшие бабы
Вдруг взбунтовались против мужиков!

Предводитель *(заинтересованно)*

Но есть же, вероятно, и причины
Тому, что так разгневались они?
Чем провинились бедные мужчины
Пред женщинами? Толком объясни!

Гонец

Грешно на полоумных обижаться,
 Безумье не поставишь им в вину.
 Орут: «Не смейте даже приближаться,
 Покамест не закончите войну!»

Предводитель (*в сторону Лизистраты, громко*)

Мысль свежая! И в целом неплохая!
 С ней может спорить разве что дебил...
 Ее и прежде, кажется, слышал я,
 Вот только имя автора забыл.

(*Гонцу.*)

На женщин ваших ты, дружок, не сетуй,—
 Война и вправду требует конца!

Лизистрата (*язвительно*)

Вы вышли из войны позорной этой,
 Не потеряв нисколечко лица.

(*Улыбаясь*)

Что ж, раз судьба такое учудила,
 Скорей в объятия жен, сестер и мам!

Предводитель

Солдаты, слушай голос командира:
 Войне — конец! Ступайте по домам!

Солдаты на площади ликуют. Женщины в крепости — тоже.
 Площадь перед крепостной стеной мгновенно пустеет.
 В центре ее остается лишь один предводитель.

Лизистрата

Ну вот теперь ты можешь быть доволен:
 Окончена война. И ты живой!
 Что скажешь напоследок, храбрый воин?

Предводитель (*выпаливает*)

Эй, Лизистрата!.. Будь моей женой!

Женщины на крепостной стене настороженно затихают.
 Лизистрата — в замешательстве.

Лизистрата

Хоть мой житейский путь тяжел и труден,
 Мне все же рваться замуж нет причин.
 Я не из тех, надеюсь, страхолюдин,
 Что жизнь проводят в поисках мужчин.

Но, чтоб не омрачать такую встречу,
Я дам тебе расплывчатый ответ.
Я не отвечаю «да»! Но я отвечаю...

(После паузы.)

А почему бы, собственно, и нет?!

Женщины аплодируют.

Старая женщина *(предводителю)*

Твоя невеста краше Афродиты,
Она и есть твой орден, командир!

Женский хор

И пусть в большой войне не победил ты...

Мужской хор

Но в этом поединке победил!

ЭПИЛОГ

Первая ночь после войны. Дом Кинесия и Миррины.
Кинесий и Миррина в постели.

Кинесий

Приученный к насилию и крови,
Я возвратился в мир забытых чувств.
И прежний мир я постигаю внове,
И жить на свете заново учусь!

Мне снился как-то ночью, после боя,
Войны такой примерно эпилог —
Что я не звезды вижу над собою,
А низкий наш домашний потолок...

Мне снилось, что на нашем брачном ложе
Живой и невредимый я лежу,
И ту, что всех на свете мне дороже,
В своих объятиях пламенных держу.

И снилось мне, что страсть моя бездонна
И неземною силою полна...

Миррина

Любимый, все сбылось! Ты снова дома,
И я с тобой. И кончилась война!..

(После паузы.)

Но счастье не приходит без напасти.
Ты видишь, я от страсти вся дрожу!

Свидетельства ж твоей безумной страсти
Я, честно говоря, не нахожу!..

Кинесий (*растерянно*)

В бою себя я чувствовал мужчиной,
Хотя стоял у смерти на краю.
Теперь же, в мирной жизни благочинной,
Я, право, сам себя не узнаю.

(*В отчаянии*)

И как вы допустили это, боги,
Чтобы в такой ответственный момент
Мне отказал в поддержке и подмоге
Дотоле безотказный инструмент?

Миррина

Такой эффект, должно быть, жизни мирной —
Мы заново друг друга узнаем...
Не причитай, не надо, слышишь, милый?
Ведь главное, что мы опять вдвоем!

Кинесий (*плачет*)

Да будь ты мной — и ты бы причитала!
Ведь мне еще пока не шестьдесят,
Меж тем мои мужские причиндалы,
Как стиранные тряпочки, висят!

Миррина

Не стоит, милый, слишком огорчаться,
Не повезло — и ладно! И плевать!..
И прежде нам везло не так уж часто,
Так что ж сейчас об этом горевать?

Кинесий (*с неожиданной горячностью*)

Любимая! Ты мне необходима,
Но для успеха мне еще нужны —
Свист копий, звон мечей и запах дыма,
И прочие реалии войны!

Хватает мне и пыла, и сноровки,
И технику я дела не забыл!..
Но лишь в своей привычной обстановке
Смогу я стать таким же, как и был...

Ты погреми на кухне сковородкой,
Как будто где-то рядом грянул бой.
Дай лишь толчок, лишь импульс дай короткий —
А дальше все пойдет само собой!..

Миррина послушно гремит сковородкой. В ту же секунду ночная тишина взрывается диким звоном и грохотом: изо всех городских окон Миррину поддерживают гремящие сковородки, кастрюли, тазы... Кинесий напуган и растерян.

Кинесий

Вот этого нам только не хватало!
Кто по ночам смущает наш покой?

Миррина (*с деланным равнодушием*)

А-а... Это жены нашего квартала...
Ведь ты же не один у нас такой!..

Грохот понемногу затихает... Кинесий и Миррина лежат, откинувшись на подушки, и безучастно глядят в потолок.

Кинесий

Прости... Но нет ни страсти, ни азарта...
Я, кажется, отвык от тишины.

Миррина

Не важно, милый... Спи... Продолжим завтра...
О боги, только б не было войны!..

Конец



Два рассказа

ПАСКАЛЕВЕДЕНИЕ НА НОЧЬ ГЛЯДЯ

Снезапамятных времен у нас во дворе стоят под кустом черемухи два стола, оба деревянные, оба выкрашенные темно-зеленой краской, только один стол миниатюрный, другой большой. За большим столом в праздничные дни пьянствуют жильцы дома № 17 по Товарищеской улице, на первых порах косясь в сторону дровяных сараев, откуда, не ровен час, может появиться участковый уполномоченный Поцелуев, а по будням на одном конце стола мужики играют в домино, на другом — старушки дуются в карты, главным образом в «дурака». За маленьким же столом более или менее регулярно собираются посумерничать трое приятелей, именно зубной техник Сергей Четыркин, инженер Николай Утехис и один человек без определенных занятий по прозвищу Лимонад.

Замечательно, что приятели любят поговорить под кустом черемухи, где их можно легко подслушать, хотя по временам они собираются в четырех стенах, именно на квартире у Лимонада, где их, впрочем, тоже легко подслушать, и беседуют чуть ли не до утра. Кстати сказать, в квартире у Лимонада живут еще двое соседей — старуха Филимонова и наш дворник Иванов по прозвищу Утконос, — имеется большая прихожая, просторная кухня с плитой посередине, которая топится дровами, и таинственный чулан, наглухо заколоченный досками по образцу андреевского креста. Понятно, что сам семнадцатый дом наш по Товарищеской улице старый-престарый, еще дореволюционной постройки, и представляет собой двухэтажный деревянный барак, почерневший от времени и как бы с устатку присевший на правый угол; впрочем, он крыт черепицей, которая поступила к нам по репарациям в сорок шестом году.

Также замечательно, что Четыркин, Утехис и Лимонад обыкновенно беседуют на темы отвлеченные, посторонние, которые по крайней мере редко совпадают со злобой дня, но, с другой стороны, симпатично то, что запросы приятелей простираются далеко за рамками простого житейского интереса, и вот даже зубной техник Сергей Четыркин зарабатывает так смехотворно мало, что больше года жены с ним не живут. Разговоры главным образом отправляются от книг, которые в данный момент занимают приятельские умы; прошлой осенью, например, это была «Роза ветров» Даниила Андреева, зимой же (!) — «Повторение» Кьеркегора, сочинение прямо вредительское, производящее помутнение в голове.

А теперь весна, точнее, третья неделя мая, если еще точнее — девятнадцатое, среда. Поздний майский вечер обворожителен, как воспоминание о первом поцелуе: черемуха остро благоухает, ветерок слегка ерошит прически, уже прорезалась первая звезда, похожая на крохотную слезу, и тишина такая, какая у нас бывает исключительно по ночам; в эту волшебную пору не хочется говорить, а хочется уйти в себя, задумавшись о чем-нибудь романтическом, вроде путешествия на Канарские острова, но Четыркин, Утехис и Лимонад тем не менее говорят.

То есть Четыркин наморщил брови и говорит:

— Вот в конце первой части «Мыслей» Паскаль пишет, что мы так мало знаем себя, что иногда собираемся умирать, пользуясь отличным здоровьем, или кажемся сами себе вполне здоровыми, в то время как нас уже точит смертельный недуг... О чем, по-вашему, идет речь?

Утехис с Лимонадом отвечают ему молчанием, в котором чувствуется вопрос.

Четыркин продолжает:

— Речь идет скорее всего о том, что всякие умствования на предмет... ну, скажем, первоисточника бытия представляют собой своего рода искусство, а никак не инструмент познания истины, поскольку мы не в состоянии постичь даже самих себя. Причем искусство как созидание иллюзии, подменяющей действительность, как правило, непереносимую, если бы не искусство. Отсюда у людей такая тяга к литературе, музыке, живописи и особенно к умствованию, поскольку, чтобы кантату сочинить, все-таки нужен какой-никакой талант, и достаточно быть всего-навсего культурным человеком, чтобы забыть в беседе о первоисточнике бытия.

— Однако из этого вытекает,— сказал Николай Утехис,— что чем отвратительнее жизнь, тем выше искусство, тем острее в нем нуждается человек. И наоборот: стоит только до отвала накормить простонародье, а главное, его грамоте обучить, как сразу подавай «милорда глупого», криминальную хронику и душещипательное кино. Я вам так скажу, мужики: самым мудрым государственным деятелем России был Константин Петрович Победоносцев, который боролся против гиблой культуры масс.

Лимонад сказал:

— В связи с этим положением назрело такое занятное соображение: Блез Паскаль, мысливший и страдавший в условиях тоталитарного государства,— ведь это же совершенно русского качества человек, а современный француз — смешон! Следовательно, можно ожидать, что через двести — триста лет, когда Россия станет демократической страной и народное благосостояние достигнет известного уровня, наш распрекрасный Иванов превратится в такого же пошло-го балбеса, каков сегодня мсье Дюпон...

— Нет, это вряд ли,— возразил Четыркин и посмотрел на небо, как-то очень внимательно посмотрел.— Историческая наука нам говорит, что русская жизнь вечно развивается в диапазоне от сифилиса до трахомы, и, значит, мы вечно будем верны ценностям высокой культуры, что по-своему гнусно и по-своему хорошо. Во всяком случае, покуда у нас стоит вопрос о жизни и смерти, можно не беспокоиться за Париж...

А на небо действительно стоило посмотреть: какое-то там разлилось по голубому нежно-розовое свечение, прямо над головами висел крестом Христовым крошечный самолет, Венера же опустилась совсем низко над горизонтом и уже сделалась похожей не на слезу, а на далекий-далекий глаз; где-то за дровяными сараями заливалась некая птичка, опять же остро пахла черемуха, и по-майски жизнерадостно тренькал трамвай в районе пересечения Товарищеской улицы с проспектом 25-го Октября.

Из парадного выбежал золотарь Самсонов и стал нервно озираться по стономам.

— Мужики! — через минуту заорал он, обращаясь к приятелям.— Вы не видали мою *кастрюлю*?

— Нет, не видали,— ответил ему Николай Утехис и добавил вполголоса: — Вот это, я понимаю, семейная жизнь! Ну каждый божий день с Антониной у них раздрай!

— По вопросам семьи и брака,— заметил Сергей Четыркин,— у Паскаля

ничего нет. Впрочем, это не удивительно, поскольку великий француз не был женат, скорее всего прожил жизнь девственником и вообще гораздо больше размышлял о смерти, чем обо всем прочем, включая прекрасный пол.

— Как же о ней не думать,— сказал Лимонад,— если не сегодня-завтра отдашь концы?! При нашей злокачественной жизни, то есть принимая во внимание отравленную пищу, питье, воздух и общественные отношения, можно в самом цветущем возрасте очень просто отдать концы. Вот и Паскаль, между прочим, пишет: вопрос о жизни и смерти есть вопрос настолько важный для человека, касающийся его до того остро и глубоко, что равнодушие к нему служило бы признаком потери всяческого сознания и, следовательно, права на звание — человек.

— Размышлять о жизни и смерти, конечно, не возбраняется,— сказал Николай Утехис,— только особого смысла я в этом занятии не нахожу, потому что вопрос-то неразрешим. Мы не можем знать, зачем мы умираем и куда деваемся после смерти, ибо мы не знаем, зачем живем.

Четыркин сказал:

— И у Паскаля на это ответа нет. Если, разумеется, мы сойдемся на том, что «мыслящий тростник» — в общем-то не ответ.

— Ну почему же не ответ? — возразил ему Лимонад.— Именно что ответ! Человек был сотворен из природного материала, буквально по таблице Дмитрия Ивановича Менделеева, и поэтому он так же беззащитен перед стихией, как какой-нибудь пеликан. Но в то же время он есть мыслящая частица природы, единственное бытие, осознающее себя во времени и в пространстве, в частности, ему известно, что со временем он уйдет. И в этом-то знании вся загадка! Казалось бы, постороннее знание, абсолютно избыточное, ненужное с точки зрения таблицы Дмитрия Ивановича Менделеева, ан из него вырастает, например, неумное стремление человека к созиданию как к фикции, если не вечного, то по крайней мере продолженного бытия. То есть, с одной стороны, человек не может смириться с неизбежностью своего ухода, и в этом мы видим залог бессмертия души, но, с другой стороны, он безумно боится смерти, и это намекает на дарвинизм.

— Отцы-основатели предлагают довольно простое решение этой проблемы,— сказал Николай Утехис,— человек, дескать, есть млекопитающее, которое в силу чисто случайных обстоятельств оказалось наиболее приспособленным к социальности как средству выживания, и только поэтому оно преобразилось в мыслящее существо. То есть Бог представляет собой всего-навсего следствие усложненного общения, каковое, в свою очередь, подразумевает соборный труд. Поэтому вопросом жизни и смерти заведуют академик Чазов и Четвертое управление, а не Бог.

— То-то и подозрительно,— заметил Сергей Четыркин,— что у отцов-основателей все просто, как табурет! Между тем каждому дураку известно, что на всякое резонное «да» найдется не менее резонное «нет». Я бы вот ответил отцам-основателям: в том-то и промысел Божий, что человеку назначен соборный труд! Но мы казуистикой заниматься не будем и поставим вопрос ребром: если вам нравится чувствовать себя млекопитающим — полный вперед! Но в нашем понимании мира есть поэзия, тайна, высокое ощущение общности всех людей через единого Создателя, наконец, нам просто нравится считать себя детьми Бога, а не побочным продуктом гончарного ремесла. Отсюда вопрос жизни и смерти есть, в сущности, вопрос выбора — вот и все!

Лимонад сказал:

— Полагаю, с этим выводом согласится любой марксист. Только он огово-

рится: если вопрос жизни и смерти есть вопрос выбора, то все равно это будет выбор между объективной реальностью и морфином...

— А нам-то что за дело! — вспылал Николай Утехис.

— Нам до этого, разумеется, дела нет. Я бы только еще спросил у товарищей марксистов: а куда вы денете, товарищи марксисты, такую, например, иррациональную этическую категорию, как добро?! Ведь если человек представляет собой логичное следствие логично организованного труда, то укажите мне, пожалуйста, на такую трудовую операцию, которая могла бы развить в наших предках способность к самопожертвованию, самое ненормальное человеческое свойство, идущее непосредственно от Христа...

— В случае с Христом, — заметил Сергей Четыркин, — я никакого самопожертвования не вижу, а вижу, в сущности, мастер-класс.

— Это в каком смысле? — справился Лимонад.

— В том смысле, что Христос ведь наперед знал о своих злоключениях на земле... Ну что это, по-вашему: спустился, воплотился, поведал людям, как надо жить, показательно отстрадал свое на кресте и опять вознесся — именно мастер-класс!

Утехис добавил:

— Кроме того, некоторые птицы способны на самопожертвование, когда они притворяются подранками и отвлекают хищника от гнезда.

— Эта параллель представляется мне натянутой, — возразил ему Лимонад. — Вот и голуби целуются, однако же очевидно, что такие усложненные отношения, какие, например, терзают наших Самсоновых, им точно не потянуть...

Легка на помине появилась Антонина Самсонова с двумя авоськами овощей; она остановилась напротив парадного, осмотрелась по сторонам, а потом крикнула приятелям:

— Витька моего не видели, мужики?

— Видели, — ответил ей Лимонад. — Только что тебя побежал искать.

— Интересно, — как бы самого себя спросил Николай Утехис, — они вообще когда-нибудь встречаются?

Четыркин сказал:

— Я полагаю, да.

Из-за появления во дворе Антонины Самсоновой ход мысли оборвался на некоторое время, и приятели замолчали, причем на лицах у них появилось совершенно одинаковое выражение — как будто они мучительно вспоминают, выключен ли уют. В такие минуты на них бывает занимательно посмотреть: Николай Утехис, круглолицый, упитанный, со свиным хвостиком волос посреди плечи, приставил к носу указательный палец и точно дремлет; Сергей Четыркин, вообще улыбчивый усач с хорошим русским лицом, подпер рукой голову и мычит; Лимонад же, мужичок какой-то помятый, которого выдают несколько слезящиеся глаза, внимательно смотрит вдаль. Поглядишь на них, и невольно придет на память стишок о том, как три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу, и подумается тогда: а ведь точно отважные, даже отчаянные мужики, другие десять раз подумали бы, прежде чем наводить критику на материалистическую платформу, а эти упражняются, этим злопыхателям хоть бы хны!

— Кстати, о птицах, — наконец сказал Лимонад. — Вот Короленко пишет: «Человек создан для счастья, как птица для полета» — это, конечно, чушь. То есть не чушь, а литература, социалистический реализм, потому что для счастья создана безмозглая птичка, а человек существует для того, чтобы реализовать богоданную способность к сотворению как бы мира, как бы нового естества. Разумеется, в жизни и счастье имеет место, но это редкие минуты торжественного озарения, точно ты спал-спал и вдруг проснулся, весь в солнечном свете и с пра-

здником в голове. По моему разумению, эти-то минуты и есть Бог в физическом смысле слова, та самая мера, в которой мы способны Его познать.

— У Паскаля на этот счет имеется такое соображение,— сказал Николай Утехис,— если Бог есть, то почему бытие Его не очевидно, если Бога нет, то почему так много на него намекает... Эти слова нам говорят о том, что существует Бог или не существует — такого вопроса нет.

— А жаль! — сказал Лимонад со вздохом.— Потому что хотелось бы со всей определенностью вызнать, к чему стремиться: к счастью ли в личной жизни или к ценностям вечного бытия.

Четыркин сказал:

— Паскаль эту проблему решает так: взвесьте выигрыш и проигрыш, ставя на то, что Бог есть. Если вы выиграете, то выиграете все, то есть вечную жизнь, если проиграете, то не потеряете ничего, и даже еще при вас останутся жизненные силы, которые у безобразников уходят на блядство, пьянку и прочие непотребства. Поэтому, не колеблясь, ставьте на то, что Бог есть, иначе вы поступите вопреки рассудку, ибо где дано бесконечное и нет бесконечно большого риска проигрыша против вероятности выигрыша, там нечего взвешивать, а нужно отдавать все.

— Однако далее,— сказал Лимонад,— великий француз предлагает нашему вниманию подвопрос: а что если ты рискуешь верным ради в высшей степени гадательного выигрыша,— и сразу дает ответ: всякий игрок уверенно рискует ради выигрыша, в котором он не уверен. Но ведь на то он и игрок, то есть человек не совсем нормальный, вроде алкоголика, с которого спросу нет! А здравомыслящий мужик еще начешется в затылке: стоит ли ему пожертвовать любовными утехами, полноценной пищей, карьерой, дерзновенной мыслью и прочими благами земной жизни ради сомнительной, ох сомнительной вечности, которая ожидает его, собственно, невесть где? Ведь согласитесь, мужики,— нет ничего до такой степени невообразимого, недоступного пониманию, как вечность, предназначенная невесть где!.. И, напротив, опыт земной жизни нам говорит о том, что смерть — это бесповоротно и навсегда.

— Тут уж ничего не поделаешь,— сказал Николай Утехис,— поскольку Паскаль выдвигает такое обязательное условие: не играть нельзя, так или иначе, а сделать ставку необходимо, коли уж ты родился, то по отношению к Богу, хочешь, нет ли, а ты — игрок. Появился на свет Божий — стало быть, ты игрок!

Четыркин сказал:

— Что касается меня, то лично я, мужики, поставил бы на жизнь временную, но верную, то есть на нашу земную жизнь. Я из чего исхожу? Во-первых, из того, что на похоронах всегда рыдают и убиваются, даже глубоко верующие люди рыдают и убиваются, точно они генетическим кодом знают, что смерть — это не отложенное свидание, а бесповоротно и навсегда. Во-вторых, если бы существовала вечная жизнь, то жизнь временная была бы на нее как-то ориентирована, например, в ней главенствовали бы горе-злосчастье и всяческая беда, чтобы человек только и думал, как бы поскорее закрыть глаза, между тем в земной жизни гораздо больше... ну не радостей, а по крайней мере посредственного, безбедного состояния, чем беды...

Только Сергей Четыркин огласил это свое заключение, как из парадного вывалилась компания доминошников во главе с нашим дворником Ивановым по прозвищу Утконос; дворник нес на вытянутых руках жестянку из-под сухого молока, в которой позвякивали костяшки, бережно нес, как носят ящик для подаваний или склянки с отравляющим веществом. Вслед за тем доминошники чинно уселись за большой стол и принялись за свое. Когда костяшки разошлись по рукам, Утконос сказал:

— Которые будут злобно делать «рыбу», я тем лицам устрою стрелку! — затем с такою страстью вперился в свои фишки, точно на них были начертаны вешие письма.

Заход был дворников; он с такой силой ударил о столешницу фишкой один, что с черемухи посыпались бледные лепестки.

— Зато общественная жизнь людей, — сказал Николай Утехис, — слишком даже круто замешана на нелепостях и беде. Это прямо какая-то мистерия: в личной жизни точно больше радостей, чем горестей, а общественная жизнь — это сплошное горе! Возьмите дурацкие крестовые походы, исламский фундаментализм, наконец всеобщее избирательное право, в результате которого бесхитрое население приводит к власти извергов и рвачей!.. А смертная казнь, а вот как центральная фигура русской жизни, а примат национального над общечеловеческим?! Вот Паскаль где-то пишет: «На три градуса ближе к полюсу — и вся юриспруденция летит вверх тормашками», или: «Хороша справедливость, которую ограничивает река», или: «Истина по сю сторону Пиренеев становится заблуждением по ту». Это я, ребята, веду к тому, что на самом деле мир устроен настолько глупо, что в другой раз и точно — хочется поскорее закрыть глаза.

Лимонад добавил:

— А главное, Бога-то в общественной жизни ну решительно не видеть! Столько тут несправедливости, жестокости и коварства, что Бог в этой ипостаси даже недопустим! Как хотите, а это странно: всякое, даже самое цивилизованное общество в той или иной степени грешит против Нагорной проповеди, а всякий нормативный человек способен ее блюсти...

— Дело, видимо, в том, — молвил Сергей Четыркин, — что по какой-то неясной логике, где собираются трое, там Бога нет. Может быть, людям медицински противопоказано кучковаться, и тогда мы напрочь отменяем социальную теорию происхождения человека и заявляем, что история есть болезнь. Может быть, тут как-то количество переходит в качество, и человек соборный приобретает свойства, которые противоречат идее Бога, как, скажем, волк сам по себе — осторожное животное, а в стае — уже беда. Наконец, похоже, что если Бог есть, то это Бог отдельно взятого человека, и духовное их сосуществование происходит по схеме: Отец и я. Таким образом, Создатель не имеет никакого отношения ни к войнам, ни к налогам, ни к безобразиям политического порядка и молить Его, чтобы пенсию вовремя приносили, так же бессмысленно, как просить Солнце временно не светить. Вот почему отправлять религиозные обряды скопом мы, конечно, можем, а праведно жить — ни-ни!

— Разве что общество еще находится в движении, — предположил Лимонад, — что оно еще не исчерпало возможности своего развития, и в будущем мы можем рассчитывать на более-менее радостный результат...

— Это вряд ли, — усомнился Сергей Четыркин. — Во всяком случае, еще триста лет тому назад Паскаль указывал на те общественные болезни, которыми человечество мается по сей день. Да вот пожалуйста: неверующие на деле оказываются самыми легковерными — это про наших большевиков. Или: нет беды страшнее, чем гражданская смута, которая неизбежна, если попытаться всем воздать по заслугам, поскольку тогда каждый скажет, что именно он заслужил награду, — это про последствия Великого Октября.

— Более того, — сказал Николай Утехис, — Паскаль еще когда предупредил, что ни в коем случае нельзя трогать существующее положение вещей, а то выйдет себе дороже... Погодите, мужики, сейчас достану свои бумажки.

Утехис залез во внутренний карман пиджака, вытащил пачку затертых листов, нашел нужный и стал читать:

— «Что может быть неразумнее обычая ставить во главе государства стар-

шего сына королевы? Ведь никому не придет в голову ставить капитаном судна знатнейшего из пассажиров! Такой закон был бы нелеп и несправедлив. Закон престолонаследия, казалось бы, не менее странен, но он действует и будет действовать и, значит, становится разумным и справедливым, ибо кого нам следует выбирать? Самого добродетельного и сообразительного? Но тогда рукопазная неизбежна, потому что каждый будет считать, что речь идет именно о нем. Значит, надо найти какой-то неоспоримый признак. Вот этот человек — старший сын королевы, тут спорить не приходится, это самое разумное решение, ибо гражданская смута — величайшая из бед».

Пока Николай Утехис прятал во внутреннем кармане свою бумажку, за тем же большим столом, наполовину занятым доминошниками, примостились старушки-картежницы и принялись играть в своего любимого «дурака». Но только они кончили первую игру, как из-за дровяных сараев появился участковый уполномоченный Поцелуев, приблизился к картежницам и сказал:

— Как известно, игры бывают азартные, коммерческие и так...

— Знаем,— ответила ему старуха Филимонова.— Мы, мил человек, так...

— То-то! — отозвался милиционер.— А то у меня разговор короткий: штрафану вас для порядка на пять рублей, и сразу станет ясно, почему коммерция и азарт!

Лимонад сказал:

— Нет, это совершенно невозможно заниматься!.. Айда, мужики, ко мне!

Прятели поднялись из-за стола и побрели в сторону парадного, недоброжелательно поглядывая на доминошников и старух.

В комнате Лимонада они расселись за дубовым столом старинного еще дела и чрезвычайно сложной конструкции, так называемой «сороконожкой», зевнули по очереди и стали смотреть в окно. За стеклами, немывыми с прошлых Октябрьских праздников, воздух уже окрасился в темное и как бы отяжелел, какая-то ненормальная птица парила черным демоном над дровяными сараями, в соседнем дворе выла кавказская овчарка по кличке Жлоб.

— Так на чем мы остановились? — справился Лимонад.

Четыркин сказал:

— Мы остановились на том, что наследственная монархия — самое надежное государственное устройство.

Утехис оговорился:

— Если бы не научно-технический прогресс как объективная тенденция, которая корректирует общественные формы жизни и сбивает человечество с истинного пути. Ну что, собственно, выиграл род людской, сменив ослицу на паровоз?! Или возьмите средства сообщения, которые достигли невероятного уровня совершенства, когда стало нечего сообщать!.. Между тем еще две тысячи лет тому назад нам было сказано: «Я есмь и путь, и истина, и жизнь», — то есть Иисус Христос премудро попытался отвратить человечество от губительного научно-технического пути!..

— Все бы ничего,— сказал Лимонад,— кабы не та загвоздка, что христианство изначального образца — чистой воды большевизм в адресном смысле слова, такое радостное завтра для слабоумных, бездельников и больных. Согласитесь, это подозрительно, что и у ранних христиан, и у большевиков в этом радостном завтра нет места сильным, мудрым, талантливым, провидящим все и вся...

Четыркин добавил:

— В таком случае рай гарантирован нашему городскому дурачку Никитке, а в ад пойдет поэт Бессчастный и глава администрации Востряков. Ведь должно же быть какое-то воздаяние за то, что ты существуешь не по Христу, за то, что

ты водочку крепко уважаешь, на мысль дерзок, кругом критику наводишь, не раздал свое имущество бедным и один раз изменил жене...

— Воздаяние, разумеется, неизбежно, — сказал Николай Утехис, — и, как показывает практика, называется оно — жизнь, только поганая: вышел на волю, напакостил — и в тюрьму; вышел на волю, напакостил — и в тюрьму! Я к чему, мужики, клоню: жизнь сама по себе такое чудо, радость и ужас одновременно, что загробное существование где бы то ни было — это уже получается перебор. И Бог, понятное дело, есть, и душа есть, но и человек конечен, и душа его конечна, то есть ни рая, ни ада нет. Вот такая вырисовывается свежая религия под названием — «Третий путь».

Лимонад сказал:

— Ад, полагаю, есть.

— Ни Боже мой!

— Может быть, конечно, его и нет, но мой покойный дед перед самой кончиной мне завещал: никогда, ни при каких условиях не заходить в наш чулан, потому что это и не чулан вовсе, а вход в преисподнюю, то есть в ад! Конечно, это странно, что именно в нашей дыре существует такая загадка природы, но за что купил, за то, ребята, и продаю...

Наступило продолжительное молчание; Утехис с Четыркиным внимательно смотрели на Лимонада, и видно было, что он не шутит, что по крайней мере сам он точно верит в таинственную дверь, заколоченную досками по образцу андреевского креста.

— Хорошо! — сказал Николай Утехис. — Где у тебя топор?

Лимонад залез под кровать, выгасил плотницкую переноску и сказал Утехису, протягивая топор:

— Можешь думать обо мне, что хочешь, только я с тобой не пойду.

— Что за вопрос: не хочется — не ходи.

Утехис с Четыркиным отправились в прихожую, где под лестницей был чулан, и скоро оттуда донеслись противные звуки, которые обыкновенно производит выдираемый ржавый гвоздь. Дверь в чулан оказалась не заперта; Четыркин толкнул ее, она поддалась со скрипом и обнажила непроглядную, холодную, затхлую темноту.

— Алё! Есть тут кто? — крикнул Утехис в бездну то ли от робости, то ли сдуру.

Бездна отозвалась продолжительным эхом, которое постепенно доносилось все глуше и глуше, точно катилось куда-то вниз.

В общем, беседа о Паскале — надо полагать, временно — пресеклась. Впрочем, приятели и так наговорили как минимум на семь лет усиленного режима, и оставалось только проверить их злостную выдумку насчет двери в ад, но прежде — дырочку заделать и спрятать в тумбочку стетоскоп.

Произвести ревизию удалось только около часу ночи, когда дом № 17 по Товарищеской улице весь погрузился в сон. Дверь оказалась самая обыкновенная, однако за нею следовали бесчисленные ступени, как будто вырубленные в скале. Уже и дыхание стеснилось, и фонарик стал беспричинно меркнуть, когда вдруг в темноте мрачно высветилось лицо; лицо это было знакомое, даже слишком знакомое и, хочешь не хочешь, следовало как-то отреагировать на странное явление во плоти.

— Владимир Владимирович, вы как очутились здесь?

В ответ ни звука, только слегка качнулась в сторону лысая голова.

— В таком разе я лучше назад пойду...

И тут Владимир Владимирович говорит:

— Поздно, товарищ, прошу за мной.

КОНЧИНА И КОММЕНТАРИИ

Все-таки странным образом конституирован человек, даже и чересчур. Вот, скажем, волк: он знает все, что ему нужно знать для отправления своих функций, и когда колхозных овец резать, и как от охотников ускользнуть, и больше того, что от природы известно волку, ему вовсе не нужно знать. Не то человек; во-первых, ему ведомо гораздо больше того, что по-настоящему необходимо для отправления его функций, во-вторых, он одержим загадочным стремлением к дополнительному знанию, хотя Екклезиаст еще когда предупреждал: «Умножающий знание умножает скорбь», — причем человеческое любопытство, как правило, носит характер праздный, никак не связано с его повседневными интересами и редко когда обеспечивает вящее благосостояние, безопасность, а скорее наоборот; во всяком случае, не изобрети люди порох, их бесконечные войны так и оставались бы поножовщиной, массовым мордобоем, из тех, что по сей день можно наблюдать возле рюмочных и пивных. Эта исключительная особенность нашего вида навеивает такую мысль: человек все же метафизичен, хотя бы и частично, в отдельных проявлениях, а не весь. Он уже потому частично метафизичен, что ограниченная осведомленность волка всегда во благо, а человек знай себе умножает скорбь. И ладно, если бы эта скорбь представляла собой побочный продукт развития, а собственно знание — сокровенную благодать, а то ведь и собственно знание представляет собою сплошную скорбь... Вот характерный пример из жизни: в один прекрасный день один гражданин, обитавший в одном маленьком городке, сдуру проявил излишнее любопытство и навлек на себя беду; звали гражданина Иван Иванович Озеркан.

Это был не то чтобы совсем старичок, а около того, именно пожилой человек с молодежью-благообразной физиономией, какие бывают у французских официантов и русских профессоров, бывший работник райисполкома, холостяк и — возьмем на заметку — оголтелый материалист. Так вот, в один прекрасный день Иван Иванович сунул свой нос куда не следовало, и вдруг с ним случилось такое, чего он долго был не в силах уразуметь. Все началось с того, что он мягким движением толкнул дверь, обыкновенную дверь с филенками, выкрашенную темно-зеленой краской, но внезапно почувствовал себя худо и от слабости уселся на сундучок. В следующее мгновение у него дыхание пресеклось, потом в голове помутилось, и мнится ему, точно он видит сон: длинная-предлинная лестница, ведущая вниз, в двух шагах от него по лестнице спускается человек с бритым затылком, а далеко впереди брезжит какой-то манящий свет. Впрочем, на сон это было похоже только отчасти, скорее дело смахивало на синдром Баратынского, у которого сказано: «Есть бытие: не сон оно, не бденье», — то есть в случае с Озерканом имело место нечто промежуточное, наверное, отчасти смахивающее на сон. Такое с ним и допрежь бывало: в первый раз ему глубокой ночью привиделось, будто незнакомый человек стоит посередине комнаты спиной к его постели и делает руками загадочные пасы, а в другой раз явилась белая кошка, как бы изображавшая вечную женственность, которая норовила залезть к нему под шотландский плед, — посему Иван Иванович не так сильно перепугался, когда ему стало худо и он от слабости уселся на сундучок.

Только вот какая история: дальше — пуще. Кончилась лестница, хлынул свет, но какого-то странного, оливкового оттенка, увиделись четыре солнца, точно подернутые плесенью и слегка налезавшие друг на друга, наконец, глазам открылось что-то блекло-бескрайнее, похожее на пустыню; насколько было видно, пустыню эту заполняли толпы нагих людей, которые понуро бродили туда-сюда по щиколотку в пыли, отчего казалось, что это люди на культуях бродят туда-сюда. Несмотря на такое столпотворение, было тихо, как под водой.

— Ничего не понимаю! — сказал Иван Иванович. — Где я нахожусь? Что за люди вокруг? И почему они нагишом?!

Проводник с бритым затылком не отвечал.

— Владимир Владимирович, я вас русским языком спрашиваю: куда вы меня, к чертовой матери, завели?!

— Фильтрационный пункт.

— Ну и что?

— А то, что сейчас тебя, товарищ, будут со всей строгостью фильтровать.

— Не надо меня фильтровать! — возроптал Иван Иванович. — Вот еще какую моду взяли — кого ни попадя фильтровать!

— А тебя никто и не спрашивает. Раз существует такой порядок, то будь любезен, замри и ляг.

— Кстати спросить, какие тут вообще порядки?

— Порядки такие: сначала новопреставленных фильтруют в соответствии с их моральным обликом, а потом определяют на соответствующие места.

«Ага! Так, значит, я новопреставленный! — подумал Иван Иванович Озеркан. — Так, значит, это я, оказывается, умер невзначай, когда вдруг почувствовал себя плохо и от слабости уселся на сундучок!..»

Странное дело: страха не было, и даже не вызывал острого любопытства новый способ личного бытия, а разве что на Ивана Ивановича навалилось горькое чувство разочарования: дескать, всю жизнь верил в периодическую систему Менделеева и вдруг, здравствуйте, я ваша тетя: оказывается, существует загробный мир...

Между тем этого следовало ожидать. Если человек владеет членораздельной речью, этим чудом из чудес, с которым не идут в сравнение самые дерзкие ветхозаветные чудеса, если он способен в бессознательном состоянии открыть химическое строение мира, одной только силой своей фантазии производить такие внушительные идеи, какие потом сами по себе становятся материальной силой, то не приходится удивляться, что сознание человека может работать и в автономном режиме, помимо, сущностно и вовне. Опыт Ивана Ивановича, разумеется, частный опыт, возможно, предопределенный особенностями его психики, но, с другой стороны, очевидно то, что человек представляет собою прямое чудо, прежде всего чудо, да еще в такой несусветной степени, что никак нельзя исключить возможности автономного существования его сознания и души. Кабы превращаться время от времени в царевен было в обыкновении у лягушек, кабы сопряжение натрия и хлора давало экономические кризисы, а не поваренную соль, то есть если бы в природе имелось нечто мало-мальски приближающееся к субстанции «человек», только одно-единственное дыхание, способное подвести мир Божий под катастрофу, либо монадологию сочинить, тогда еще можно было бы согласиться, что и на род людской распространяется всеобщий закон кончины, а то ведь человек настолько одинок, штучен, беспримечен среди сонма бытийных форм, что от него чего угодно можно ожидать, вплоть до самобытности его сознания и души. Особенно в этом смысле настораживает то, что у нас бытие далеко не во всех случаях определяет сознание, что таковые существуют вне зависимости друг от друга, а то чего бы, например, миллионщик Савва Морозов вдруг застрелился в Ницце, а то чего бы писатель Писарев, сидючи в Петропавловской крепости, сочинял веселые кляузы на пушкинскую стезю... Как бы там ни было, нужно на всякий случай ухо держать востро, не то, не ровен час, испустишь последнее дыхание и, вместо того чтобы укутаться вечным сном, вдруг окажешься в каком-нибудь страшном месте, да нагой, да холодный, да по щиколотки в пыли...

— Насчет морального облика я не беспокоюсь,— молвил Иван Иванович,— кажется, всю сознательную жизнь стоял на страже против очернителей и врагов.

— Там разберутся,— сообщил ему проводник.

Иван Иванович сказал:

— Это сомнений нет!

Тем временем открылись новые детали потустороннего пейзажа, как-то: высокое дерево, похожее больше всего на дуб, только сухой либо растущий корнями вверх; под деревом стоял стол, совершенно по-земному покрытый зеленой тканью, за столом сидел человек в очках и что-то записывал в толстенную тетрадь.

Ивану Ивановичу показалось довольно странным, что в мире ином так много напоминает прямую жизнь, по крайней мере присутствуют кое-какие признаки материального бытия, однако удивляться тут было нечему: если предположить, что существование за гробом представляет собой коли не зеркальное, то некоторым образом превращенное отражение земной жизни, то в нем должны быть и тетради, и скатерти, и очки. Сколько ни фантастичны наши представления о потустороннем, в нем непременно должно быть место воплощениям разных земных вещей, равно как во сне мы воссоздаем материально существующие предметы и даже людей, либо никогда не виденных нами, либо давно переселившихся в мир иной.

Проводник подвел Ивана Ивановича к столу.

— Фамилия? — спросил человек в очках.

Иван Иванович назвался и робел.

— Так...— сказал человек в очках, достал из-под стола фолиант в кожаном переплете, полистал его, нашел нужную страницу и стал водить по ней пальцем, отыскивая строку.— Так: Иван Иванович Озеркан. Посмотрим, что там у нас в дебете... Поджог дровяного сарая, групповое изнасилование девицы Знаменской из поповских, членство в обществе воинствующих атеистов, незаконченное среднее образование, случаи рукоприкладства по разным поводам, недюжинная вероспособность, шестьдесят два доноса на соседей и сослуживцев, супружеские измены, две кражи по мелочам...

Иван Иванович скривился, крякнул, но промолчал.

— Так, а что у нас в кредите: в кредите у нас незаконченное среднее образование, четыре года добровольной каторги на оборонном заводе в городе Нижний Тагил, недюжинная вероспособность, хроническая пневмония, бессонница, освоение целины, семьдесят два рубля пятьдесят копеек пенсии, уклонение от воинских сборов, в общей сложности восемь лет и два месяца, проведенных в очередах... Ну что сказать: в общем, получается так на так.

Проводник заметил:

— Прямая дорога ему до лагпункта Россия-шесть...

— Твое, положим, дело десятое,— оборвал его человек в очках.— Значит так: проводишь клиента до лагпункта Россия-шесть и сдашь с рук на руки Мартынову,— пускай он его разместит.

Проводник слегка пнул Ивана Ивановича указательным пальцем в плечо, и они пошли. Вернее, не пошли, а стали перемещаться: оттолкнутся ногами, подняв клубы пыли, и полетят, оттолкнутся и полетят.

— А кто это был? — сторожко справился Иван Иванович, имея в виду человека в очках.— Неужели Бог?!

— Держи карман шире,— сказал ему проводник.

— Недаром я всегда держался той платформы, что Бога нет.

Это, как говорится, еще бабушка надвое сказала: у морской свинки Бога и

точно нет, по крайней мере непосредственно, напрямки, а у человека как будто есть. Тому имеются кое-какие, сравнительно веские, доказательства: Бог есть хотя бы по той причине, что человек извечно подозревает о Его существовании и боится, что огромное большинство людей, не имеющих понятия о евангельских истинах, живут так, как подобает добрым христианам, ориентированным на непротивление злу насилем, и даже амазонцу трудно перешагнуть через заповедь «Не убий»; и то правда, что ворон ворону глаза не выклюет, но и в случае с убийством посредством смертной казни и на войне мы находим указание на божественное происхождение человека, ибо кем нужно быть, если не младшим богом, чтобы перешагнуть через предопределенность и навывкнуться к убийству посредством смертной казни и на войне... Вообще агностики отправляются от того... то есть не от того даже, что жизнь слишком несправедлива и слишком зла, а от того, что Бог абсолютно невообразим, хотя он в какой-то мере вообразим; для того, чтобы понятийно воспринять Бога, нужно взять лист бумаги, вырезать в нем крест и посмотреть на свет: вроде бы ничего нет, дырка одна, а есть светлый-пресветлый крест. По крайности психически нормальным особам нужно иметь в виду: может быть, Бога и нет, но на всякий случай следует вести себя так, будто Он, безусловно, есть и неуклонно берет на заметку каждое твое поползновение, каждый шаг. А то как бы не вышло себе дороже.

— Долго нам еще тащиться? — поинтересовался у проводника Иван Иванович Озеркан.

Проводник в ответ:

— Твое дело десятое, клязник, знай тащись.

Вокруг по-прежнему простиралась безжизненная равнина, покрытая толстеньким слоем пыли, в которой было что-то от инопланетного пейзажа, и оттого Иван Иванович подумал: а не обретается ли он на каком-нибудь далеком-далеком небесном теле, может быть, даже не входящем ни в одну галактику? По-прежнему месили пыль толпы нагих людей, однако при ближайшем рассмотрении Иван Иванович углядел, что каждый из бедолаг аккуратно ходил по кругу и что-то бормотал себе в задумчивости под нос, не обращая никакого внимания на соседей, да еще строил гримасы, делал руками и временами поднимал к небу невидящие глаза.

— Чего это они?

Проводник сказал:

— Переживают, сукины дети, свои грехи. Нагадили, натворили дел, а теперь — казись! Причем это еще сравнительно мелкота: неплательщики алиментов, карточные шулера и кто за рулем ездит в нетрезвом виде.

— И долго им так ходить?

— Вечно.

— А геенна огненная — это как?

— Геенна огненная на самом деле — вечное воспаление легких с температурой сорок один и два. Там, конечно, собралась серьезная публика, главным образом народные трибуны и палачи.

— А по-моему, это не наказание, а презент. Это каждый народный трибун скажет: лучше вечное воспаление легких, чем вечное ничего.

— Может быть, и скажет... в первые полчаса...

— А какие еще тут бывают кары?

— Кары бывают разные, — со вздохом отвечал ему проводник, — на сердитых воду возят, за «нечаянно» бьют отчаянно, есть даже вечный понос, который назначается за государственную измену.

Действительно: толпы нагих людей, бродивших кругами и что-то бормотавших себе под нос, мало-помалу остались справа, и взгляду открылось широ-

ко-поле, усеянное людьми, которые сидели на корточках и хмуро глядели вдаль. За полем оловянно светилась какая-то извилистая река, за рекой намечался забор, которому не было видно конца и краю, а за забором — это уже у самой линии горизонта — вздымались кроны больших деревьев, ласкавших глаз привычною зеленцой; оттуда тянуло свежестью и как будто доносились хорошие голоса. «Что-то больно много у нас государственных изменников», — подумал Иван Иванович, но вслух справился о другом:

— А там, за забором, часом у них не рай?

— Это не исключено.

— А вы случайно не знаете, чего у них там делается в раю?

— Откуда?!

— Ну, может быть, ходят какие слухи...

— Никаких слухов тут не ходит, я, по-моему, единственный тут хожу.

Уже и широко-поле осталось сзади, и через речку они сиганули, которая на поверку предназначалась для утоления вечной жажды, и уже до бесконечного забора было рукой подать, когда проводник сказал:

— А может быть, это и не рай вовсе, а так... чтобы смущение наводить...

И в самом деле, существование рая как некоего заоблачного пристанища для безукоризненно чистых душ уже потому следует взять под сомнение, что не бывает безукоризненно чистых душ. Правда, христианская традиция уповает на бесконечную снисходительность Господа к слабостям человека, но ежели даже гневливость есть непростительный, смертный грех, ежели мужчина, ни разу не провинившийся против второй заповеди Христа, — это что-то экстренное, ежели чудачки, раздавшие свое имущество спившимся побирушкам, такая же диковина, как стеллерова корова, то на снисходительность Господа вряд ли приходится уповать.

Следовательно, похоже на то, что есть только ад и вечное ничего. На это еще потому похоже, что наша душа развивается так же, как и телесная оболочка, но не автономно, а через соприкосновение с общественной душой человечества, которую мы обыкновенно обозначаем словом «культура», имея в виду, что центр ее составляет собственно человек; в известных, счастливых, случаях происходит диффузия этих душ, и тогда смертное существо приобретает такую неслыханную энергию, которая даже физически не исчезает с прекращением жизнедеятельности организма и объясняет некоторые явления, необъяснимые с материалистической точки зрения, например: видения, синдром Баратынского, передача мыслей на расстоянии, прозрения, сродство душ; в прочих, несчастных, случаях, когда объем тела почему-либо опережает объем души, получают чувствительные убийцы, насильники, маугли, борцы за социальную справедливость, вообще разного рода изуверы и палачи; у этих экземпляров духовная энергетика так слаба, что с прекращением жизнедеятельности организма она исчезает всецело и навсегда; что лучше, разумеется, неизвестно, но хочется думать, что все-таки лучше вечное воспаление легких, чем вечное ничего.

Между тем путь преградил забор, которому не было видно конца и края. Проводник повернул налево и двинулся вдоль забора, Иван Иванович Озеркан волей-неволей пошел за ним. Замечательно, что ему на глаза там и сям попадались надписи, сделанные невесть кем, и между ними следующие стихи:

Пусть характер твой рассеян
И позиция странна,
Исполать тебе, Расея,
Черно-белая страна!

— А стишки-то так себе,— отозвался Иван Иванович Озеркан.

— По Сеньке шапка,— согласился с ним проводник.— Писатель за этим забором сидит простой: реалисты, плакальщики, защитники природы, обличители и прочая дребедень...

— Если тут писатели томятся, тогда мне непонятно: почему я-то сюда попал?!

Это как раз было понятно. Дело в том, что писательское занятие само по себе грешно; во-первых, по той причине оно грешно, что серьезный писатель покушается на Божью прерогативу по сотворению мира из ничего, во-вторых же, по той причине, что большинство писателей не творит, а прилежно переносит на бумагу свои впечатления от фактов общественного и личного бытия, и в этом смысле они нимало не отличаются от осведомителей по призванию либо характеру ремесла. Кроме того, писатель разжигает в мещанстве вредное любопытство, которое без малого уже ввергло человечество в стадию новой дикости, меж тем как вопрос вопросов давно решен: Бога нет, потому что сказано: «Царство Мое не от мира сего»; потому что какой у нас, у сволочей, может быть Бог, если мы с женами на ножах в эпоху межпланетных сообщений и компьютеризации всей страны...

Вдруг в заборе отворилась калитка, которую трудно было издали угадать, и перед путниками предстал сурового вида, а впрочем, весь какой-то мизерный мужичок,— верно, это был тот самый Мартынов, начальник лагпункта Россия-шесть. Проводник исчез, точно растаял в воздухе, Мартынов кивком головы пригласил Ивана Ивановича войти.

В действительности это оказался вовсе даже и не забор, а стена барака, которому не было видно конца и края. Прошла минута, и обозначился земляной пол, кучки людей в отдалении, о чем-то беседовавших меж собой, и противоположная стена, возможно, граничившая с раем, которую усеяло такое множество тараканов, какое даже трудно вообразить.

— Ну и что дальше? — спросил Иван Иванович Озеркан.

Мартынов не отвечал. Он так прочно, безнадежно не отвечал, что Иван Иванович подумал: просто-напросто он молчальник, видно, это ему, в свою очередь, вышла такая казнь.

— Кстати, вы случаем не читали Блеза Паскаля? — спросил Иван Иванович, чтобы проверить свою догадку.— Это я к тому, что у него есть такая лихая мысль: в наше время, когда истина потеряна, казалось бы, безвозвратно, найти ее может лишь тот, кто любит истину, как себя...

Мартынов не отвечал.

Тогда Иван Иванович направился к противоположной стене барака, немного понаблюдал за передвижением тараканов, а затем принялся ногтем дырочку ковырять, так как ему было донельзя любопытно: что ж там у них делается в раю?



Родословное дерево

РАССКАЗЫ*

ФАМИЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ

На службе Алексея Петровича никто всерьез не принимал. Ну, вахтер и вахтер. Сидит себе при входе за столиком, пропуска смотрит, по телефону отвечает. Жалуется, что за квартиру платить нечем, и у всех в долг просит. Или еще вещь какую-нибудь старинную предлагает. То корпус от каминных часов, то чернильный прибор с фигурами, то кошелек для табака или шкатулку резную в кожаном чехле.

— Откуда это у вас? — спрашивают его.

А он загадочно так отвечает:

— Семейное... По наследству... От предков...

Вид у него самый жалкий — костюм обтрепанный, весь в пятнах, ботинки стоптанные. Директор не раз ему говорил:

— Ты бы приоделся, что ли... А то неудобно. При входе ведь сидишь...

А он смотрит, как директор в машину садится, охранники возле него, а сам говорит:

— Все вы новые... Без роду, без племени...

Были и такие, которые жалели Алексея Петровича, уборщица Фрося, например.

— Как же вы живете? Все время один и один...

— А я не один, — отвечал Алексей Петрович. — Со мной предки. Весь мой род. Все уже знали его странность. Утром, как мимо него идти, всегда спросят:

— Ну, как там ваши предки? Еще одного нашли?

А потом в стороне где-нибудь хохочут и пальцем у виска крутят. В самом деле — удит человек. Как получит зарплату, бежит на Арбат к художникам, они там в подземном переходе сидят. Увидят его — здороваются, приветствуют. А он им репродукцию из журнала или из книги показывает:

— Предок мой. По отцовской линии.

Художники уже знают: надо сделать копию большого размера. Ну а им все равно, что писать, лишь бы платили. И дня через три-четыре портрет готов.

На службе Алексея Петровича, конечно, не понимали:

— Вот куда ваши денежки уходят. Оделись бы лучше...

А тут как-то Алексей Петрович не явился на службу. День его нет, другой.

А потом кто-то вдруг и говорит:

— Вы что, не знаете? Он же умер.

Пожалели его, конечно, помянули. Послали к нему домой уборщицу Фросю: может, помочь надо — похороны там, поминки. Фрося пришла по адресу, это где-то на Ордынке, в квартире люди какие-то. Тут выяснилось, что у Алексея Петровича есть жена и дети — дочь и сын. Жена сказала, что который уже год живет за городом, в Болшеве, санитаркой там в лечебнице. В лечебнице сын их Славик — от пьянства лечится. Она за ним присматривает. Дочь, как замуж вышла, тоже уехала в Подмосковье куда-то, к мужу.

В комнате еще старушка — соседка с нижнего этажа. Это она жену с дочерью вызвала.

* Этими рассказами мы начинаем публикацию своеобразного романа Григория Петрова, состоящего из самостоятельных новелл, объединенных одной темой. Предполагается, что роман составят девять таких новелл, которые будут напечатаны в журнале по мере их написания.

— А как же... — говорит она. — Он все лежал, плакал. Мне, говорит, и проститься даже не с кем. А я ему: терпи, милоч. Каждый должен нести свой крест, какой ему положен. Наш крест — наши беды и печали. А я за тебя, говорю, свечку в храме поставлю... Перед Алексеем, человеком Божиим.

Тут Фрося всплакнула:

— Человек Божий и есть...

— А отходил тяжело, — продолжает соседка. — Ох, как тяжело! Умирал по нескольку раз на день. Врачи измучились. Пульс, говорят, такой слабый, будто нет его. Ну, вроде отмаялся человек, отошел. А он вдруг вот он — глаза открывает. Только теперь доктор сказал: все, уже окончательно.

Жена тут тоже заплакала вслед за Фросей:

— Бедный, бедный... Всегда хотел иметь большую семью, чтобы люди вокруг, народ. А вот поди ж ты — в одиночестве помер...

Внезапно она вскрикнула и рукой на покойного показывает. Все смотрят — щека у Алексея Петровича дернулась, потом губы шевельнулись. И он тихо так произносит:

— Я все слышу...

А еще через минуту и глаза открыл. Увидел жену и спрашивает:

— Ну, как там Славик?

— Пока держится, — отвечает жена. — Слежу я за ним.

— Хороший он, только слабый, — говорит Алексей Петрович. — Надежда моя. Продолжатель рода.

Жена помолчала, потом говорит:

— Ну, если ты не умер, так я поеду. Не могу Славика надолго оставлять. Сорваться может, сбежит.

Уехала она, за ней дочь, муж, говорит, волноваться будет. Алексей Петрович снова один остался. А как к вечеру смог подняться, стал по всей комнате портреты фамильные собирать, какие у него накопились. Разложил их на полу, сам на стул сел.

— Смотрю я на вас, и хорошо мне, — говорит. — Вон вас сколько... Весь род...

Потом взял один из них в руки:

— Ты самый первый в роду. Можно сказать, родоначальник.

А в комнате так не очень светло, лампочка тусклая. И вот смотрит Алексей Петрович, а у него в руках уже не портрет, а зеркало в раме. И глядит на него оттуда его собственное лицо. Только костюм в зеркале диковинный — кафтан красный с золотым шитьем, камзол серебряной парчи, на плечах накидка меховая. Самое забавное — смешной парик на голове с буклями.

Алексей Петрович смотрит на себя в зеркале и думает: «Вот теперь посмотрим, что скажут все эти новые люди без роду, без племени...»

Когда он появился в Петербурге, никто не знал его имени, только прозвище. Все так его и звали — Оглобля. Откуда он взялся — тоже неизвестно. Знали только, что из какого-то северного села.

Настоящим делом Оглобля не занимался. Ходил по случайным заработкам у купцов или нанимался в адмиралтейство пеньку чистить. Но больше шатался по городу и бормотал себе под нос какие-то слова — рифмы подбирал. Вечерами записывал их на клочках бумаги и прятал в свой сундучок.

Агафья, хозяйка квартирная, так всем про него и говорила:

— Пустой человек! Без всякой пользы!

У него и имущества-то всего — сундучок небольшой, с которым он явился в город. А в сундучке все больше пустяки — галстук кожаный, перчатки длинные, по локоть, да чарка посеребренная с какими-то вензелями. Только Оглобля очень дорожил своим сундучком. Говорил, матушка в дорогу дала, наказала хранить пуще жизни. Спасение, сказала, здесь твое.

Ну а если доводилось Оглобле заглянуть в кабак, тут уж непременно жди какого-нибудь шумного непотребства. Или скандал учинит, или драку. К примеру, на Ильин день в церкви во имя животворящей Троицы. Заходит он в шумном виде, обедня только отошла. Он вдруг подходит к чаше со святой водой, снимает крышку и на голову себе надевает, а воду на пол льет. Ну, служители, конечно, и кто из мирян на улицу его выволокли и крепко поколотили.

Другой раз в Надворном суде. Заходит прямо из кабака, часа три было. В суде дневальный да драгуны на часах. Оглобля стал в дверях и кричит:

— Кто ваш государь?

— Наш государь Петр Великий, император и самодержец всероссийский, — отвечает дневальный.

— Плохо вы ему служите! — кричит Оглобля. — Я вот за него голову готов положить!

И опять из суда его вытащили и побили.

И с людьми он водился подозрительными. К примеру, Вилькин Питер Юрьевич, лютеранин из Риги, человек и вовсе не русской природы. Сидят они за вином, разговаривают.

— А сколько лет императорскому величеству? — спрашивает лютеранин.

— Пятьдесят четыре, — отвечает Оглобля. — А что?

— Много, — говорит лютеранин. — Более трех лет не будет ему жизни.

Оглобля, конечно, не верит.

— Откуда ты знаешь?

— Который человек на Рождество Христово родился, как я, тот может видеть дьявола и знать, сколько кому жить...

Агафья не раз предупреждала Оглоблю:

— Смотри, договоришься. Болтаешь со всякими. Заберут тебя в Тайную канцелярию.

Про эту самую Тайную канцелярию ходили тогда самые невероятные слухи. Кум Агафьи Агафон как-то в компании расхвастался, что может выпить за раз десять бутылок вина. Ему и говорят:

— Врешь ты все!

— Подумаешь! — отвечает Агафон. — Что за беда! Государь Петр Алексеевич и тот, надо полагать, врет.

Проснулся Агафон на другой день уже под арестом. Три месяца тянулось следствие, после чего били его нещадно батогами за непристойные слова.

Другой раз сосед Свиноухов побил жену свою, как раз на Рождество. Просил у нее вина опохмелиться, а она не дала. Ему говорят: что ты делаешь, пожалей, мол, свою Анфису. А он отвечает:

— Что вы мне за указ? Сам государь император тоже свою бьет.

И вот на другой уже день являются за ним. Полгода провел сосед в Петропавловке. Под конец решение — бить прапорщика Тимофея Свиноухова палками, затем отпустить.

Главное, что поражало, — все они там в канцелярии тут же узнают, каждое слово до них доходит. Ну да дело известное — доносчиков кругом сколько угодно. Каждый норовит опередить другого. Указ даже такой был — чтоб непременно доносить. Вон дворовый человек Федор Котелков донес на своего барина, будто у того на пивном чане какие-то непонятные литеры выведены черною краскою. А в какую силу и для чего — никто не знает: худые они или хорошие. Барина били кнутом, а Федор Котелков получил в виде поощрения триста рублей.

Однако все увещевания Агафьи были напрасны. Оглобля все так же продолжал шататься по городу безо всяких занятий. Особенно любил он праздники, маскарады всякие, шествия. Здесь он гулял в полную свою волю.

К примеру, январский маскарад по случаю мира со шведами. Вот уж где было раздолье! По улицам взад-вперед сани, сколько их — не сосчитать. На санях — ряженые в масках. Бахус на бочке с бутылкой в руке. Нептун в короне и с трезубцем. Женщины тоже все в костюмах. Какая испанкой одета, какая монашенкой. Как сани за угол заворачивают, из них арапы черные в снег вываливаются. Пушки палят, трубы трубят — весело.

На задних санях — государыня. Оглобля так и бегал за ней, наглядеться не мог. Одетая государыня амазонкой, на боку шпага вся в бриллиантах, через плечо лента со звездой. В руках копьё, на голове белокурый парик и шляпа с белым пером.

Какой-то солдат, когда сани с государыней мимо проезжали, вдруг говорит:

— Знаем мы про нее. Как она в плен взята и приведена под знамя в одной рубахе. А караульный офицер кафтан на нее надел.

— Замолчи! — крикнул на него Оглобля. — Не смей так про нее!

А солдат свое:

— Она с князем Меншиковым его величество кореньями обвели.

Тут Оглобля не выдержал и огрел солдата по спине. Стали они драться, а солдат все не унимается:

— Не подобает Катерине на царстве быть! Не природная она и не русская! Они бы долго еще дрались, но тут кто-то крикнул:

— Император!

А мимо уже сани в виде большой лодки с парусами, на них государь в морском костюме. При нем барабанщики, барабанят вовсю. Оглобля отскочил от солдата да так и замер, глаз с императора не сводит. А солдат все успокоиться не может, кровь с лица утирает:

— Какой он государь? Бусурман! В пост мясо ест. Лягушек тоже. Царицу свою в ссылку сослал, а живет с иноземкой!

Оглобля кулаком ему грозит:

— Дождешься ты у меня!

Только всем рты не зажмешь. Многие тогда думали так же, как солдат. Журавкина, например, Соломонида, что живет в работницах у посадского человека Бобровникова.

— Государь лучше жалует иноземцев, нежели русских, — говорила она. — Слышала я, что он и вовсе не русской природы и не царской крови. Муж мой покойный был в Архангельске. Там немец какой-то ему говорил: «Дурак ты, русак! Государь не ваш, а наш».

— Глупая ты баба! — бранился Оглобля. — Как это не наш?

— А так! — отвечала Журавкина. — Царица Наталья Кирилловна родила девочку да убоилась гнева блаженной памяти царя Алексея Михайловича. Он ей сказал: «Не родишь сына, велю тебя постричь». Вот и сыскали младенца мужского пола в Немецкой слободе.

— Врешь ты все! — обрывал ее Оглобля.

А тут еще объявился беглый монах Фаддей из Тамбова. Заберется на крыльцо повыше и давай кричать:

— Нынче последнее время! Антихристово пришествие! Хотят весь народ пятнать!

Руку вверх тянет, пальцы растопырил.

— Вот здесь! — И на свою руку указывает между большим и указательным пальцем. — В этом месте пятнать будут!

Снимает с себя шапку и в толпу бросает:

— Все то дело не государево, а антихристово! Не царь он Петр Алексеевич, а антихрист!

Оглобля однажды стащил монаха с крыльца, за воротник схватил и трясет:

— Откуда ты все это знаешь?

— Книга такая есть! — вырывается от него Фаддей. — Книга Кирилла об антихристе! Сказано: явится гордый князь мира сего антихрист под именем Симона Петра. Так оно и есть! Государь-то Петр при себе синод сделал. То же, стало быть, и выходит: Симон да Петр. Бывало, молятся за царя Петра Алексеевича, а ныне молятся за императора Петра Великого. Отечество уже не поминается! Потому он антихрист, что владеет сам один, а патриарха нет! И то его печать, что бороды бреют. Он и царевича Алексея Петровича, сына своего, хотел привести в свое состояние, а тот его не послушал. За то антихрист и убил его до смерти!

— Вранье! — замахивается Оглобля на монаха. — Антихрист женат не будет!

Только монах на своем стоит:

— Царицу-то он постриг, иную взял! Вот и грех! Довелось мне быть в городе Суздале, куда царица сослана. Отреклась она от него! Говорила людям: держите веру христианскую, а это не мой царь, иной вышел.

Но Оглобля никого не слушал. Он всегда любовался императором, а отчего — и сам не знал. Как увидит где на улице, так и ест глазами, оторваться не может.

Особенно были памятливы ему торжества на Троицкой площади в годовщину Полтавской победы. Петр Алексеевич стоял возле шатра, в котором служили литургию. На нем полковничий мундир зеленого сукна с медными пуговицами, кожаная португеза, на ногах зеленые чулки и старые, изношенные башмаки. В одной руке трость, в другой — шляпа, пробитая пулей при Полтаве. Выпивает он чарку водки, солдаты кричат «ура!». Пальба с крепостного вала и с фрегатов на Неве.

Рядом с императором государыня Екатерина Алексеевна, придворные. Оглобля смотрит на государыню и снова удивляется — вроде ничего особенного: небольшого роста, пухлая, никакого, что называется, представительного вида. И платье какое-то старомодное — с образками на юбке. А вот поди ж ты — глаз не оторвать.

Вечером по случаю праздника оказался он в кабаке. Рядом какие-то приятели случайные — Троха Власьев да Конон Лошкарев. Вот Троха и говорит, как вина выпили:

— А что, ведь государь хорошо выглядит, ничего. Говорили — занемог, болеет.

— Ну и что ж, что болеет, — откликается Конон. — Государь ведь тоже человек, не бессмертен. Воля Божия придет — помрет.

И к Оглобле обращается:

— А вот ты что будешь делать, если твой любимый государь помрет?

А Оглобля возьми и ни с того ни с сего брякни:

— Я тогда царицу за себя возьму!

И ведь сказал-то просто так, для смеха, чтоб приятелей повеселить. И вот месяц, наверное, проходит с того дня. Сидит он дома, вдруг бежит к нему Агафья: там пришли за тобой. Вышел Оглобля, у дома унтер-офицер и два солдата. Оглобля прямиком в Петропавловку, в Тайную канцелярию. На допросе он ни от чего не отпирался:

— Если что и говорил, то в пьянстве, потому как в тот день пил вино по случаю праздника. А в трезвости помышлений таких никогда не было.

Один из судей, особенно сердитый, все угрожал Оглобле:

— Ты не запирайся, тебе же лучше будет...

Он даже водил Оглоблю показывать застенок, где была дыба — два столба, вкопанные в землю, третий сверху, поперек. Показывал инструменты всякие — хомут с веревкой, которым людей на дыбу поднимают, кнуты, ремни. Оглобля все внимательно осматрел: клещи какие-то, тиски — как в мастерской.

— Говори все, как есть! — пригрозил судья. — Не то не миновать тебе обряда пыточного.

Сосед Оглобли по каземату, псаломщик соборной Троицкой церкви, сказал, что сердитый — это князь Толстой Петр Андреевич, а тот, что пожиже, Ушаков Андрей Иванович.

— Мне вот тоже грозят кнутом и Сибирью...

— За что же тебя? — спрашивает Оглобля.

— За кикимору! — смеется псаломщик.

— За какую еще кикимору?

Псаломщик долго смеялся, веселый такой, потом рассказывает:

— Как дело-то было? Перед самым Николиным днем, на утрени, бежит ко мне солдат, который в карауле стоял при церкви. Ночью, говорит, шум наверху был сильный. Будто бегают кто на колокольне. Пошли мы с ним к дьякону, поднялись на колокольню. А там будто татарин прошел. Разбросано все, раскидано. Лестница деревянная на полу валяется, канаты все оборваны, веревки узлами закручены.

— Кто же там был? — спрашивает Оглобля.

— Вот и дьякон меня тоже спрашивает: кто? А я ему отвечаю: не кто, говорю, иной, как кикимора.

— Что же кикиморе на колокольне надо?

— И дьякон этим интересуется. А это, отвечаю, знамение. Петербург пустой будет. Ну, меня и забрали. Спрашивают: какой смысл я имел? А я им: знаете, что в народе про Петербург говорят? Говорят так: с одной стороны море, с другой — горе, с третьей — мох, а с четвертой — ох!

И псаломщик залился смехом, на ногах удержаться не может.

— Чудно! — удивляется Оглобля. — Такая беда, а ты веселый, смеешься.

— А что же грустить? — отвечает псаломщик. — Скорби терпеть надо, терпеть. Без терпения нет спасения. Спаситься-то можно только скорбями. Горька чаша терпения, зато целебна. Выпьешь ее, и превращается она в вечную сладость, приносит душе здравие. Грехи наши горят и сгорают скорбями. Все хотят радости без страданий. А ты терпи. Смири себя — вот и радость. А скорби, которые с радостью, уже не скорби.

Тут он запел что-то радостное, а как кончил, продолжал:

— Так-то, друг-колодник. Нет мук, нет и подвига. Жди скорбей, как лучших гостей. День без скорби — несчастный день. А как перетерпишь — вот ты и мученик, вот тебе и венец... Я тебе вот что скажу, — закончил псаломщик. — Господь и худое направляет к добру. Из самого дурного выходит самое хорошее. Ведь какая грязь на земле — запачкаешься весь. Глядишь — бриллиант нашел. Так и бывает: из беды — счастье.

Через день стражники увели куда-то псаломщика, и Оглобля его больше не видел. «Точно, в Сибирь уехали», — решил он.

А тут как-то вызывают его на допрос, смотрит Оглобля — на столе сундук его стоит.

— Твои это вещи? — спрашивают.

— Мои, — отвечает Оглобля.

Потом бумажки со стихами показывают:

— А это что? Для чего слова эти написаны? К добру или к худу? Какой умысел ты имел? Может, здесь заговор против государя?

— Это стихи, — отвечает Оглобля. — Никакого умысла в них нет.

— Ну, вот что, — говорят ему. — Мы дознались все — где ты родился, в каком селе, какого года, месяца и числа. Кто твои родители — тоже знаем. Обо всем будет доложено государю. За ним слово, ему решать.

Еще месяц томился Оглобля в каземате. Вдруг в одно прекрасное утро является за ним офицер незнакомый, с ним два солдата, тоже незнакомые. «Все, — решил Оглобля, — вот и казнь моя. Отрубят голову — и конец».

Вывели его из каземата, посадили в карету и повезли куда-то. А как карета остановилась, Оглобля озирается, понять ничего не может. Перед ним царский дворец. «Неужто во дворце голову рубить будут?» — думает он.

И вот ведут его внутрь и мимо караульных гвардейцев вверх по лестнице. Наверху дежурный офицер велит им обождать, сам скрывается за дверь. Потом выходит и приглашает Оглоблю войти.

Оглобля как вошел, так и обмер — будто на маскарад попал. Все ряженые — кто турком одет с чалмой на голове, кто китайцем в халате, дамы так те все пастушками. Среди гостей бегают шут в старинном боярском кафтане, в высокой шапке, к подбородку борода зеленая привязана. Увидел Оглоблю — и к нему:

— Милости просим... Милости просим...

Арапчонок какой-то несет Оглобле его сундучок, Оглобля еще удивился, как он сюда попал. Заглянул внутрь — вещи все на месте, только бумажек со стихами нет. Вместо них деньги набросаны.

Тут ряженые гости все в дальний конец залы спешат, там в дверях человек стоит высокого роста в гвардейском мундире. Оглобля, конечно, сразу узнал государя Петра Алексеевича. Император быстрыми шагами пересек залу, а как мимо Оглобли проходил, остановился.

— Этот? — спрашивает.

— Он самый, — кивает шут и закудаhtал курицей.

Император поглядел на сундучок в руках Оглобли и говорит:

— Ну, так оденьте его, как положено. И дать ему фамилию Петров.

Потом пальцем в Оглоблю тычет:

— Будешь отныне Петров. Так и писать впредь. И дети твои Петровы будут.

Сказал и пошел дальше. А двое слуг подхватили Оглоблю под руки — и в соседнюю комнату. Не успел Оглобля опомниться, как был уже одет в новое платье. Смотрит на себя в зеркало, узнать не может. Франт какой-то стоит перед ним — кафтан дорогого бархата с серебряными пуговицами, жилет из блестящей парчи, вместо пояса — лента серебряная, на ногах белые шелковые чулки и башмаки с дорогими пряжками. На голове щегольская пуховая шляпа с пером. Ни дать ни взять — галантный кавалер. Вышел он к гостям, все на него смотря, пальцами показывают и хохочут.

— Что все это значит? — спрашивает Оглобля. — Когда голову рубить будут?

А шут с зеленой бородой бумагу какую-то ему протягивает:

— Вот тебе царская милость!

Поглядел Оглобля — печать царская, подпись. И красиво так выписано: «Дана грамота сия Петрову Алексею Петровичу, чтобы пить безданно-беспощинно во всех царевых кабаках целый год».

— Ступай, бражничай, — толкает его шут. — И чтоб завтра непременно здесь! Царский приказ! Нам начальник над мухами нужен!

Домой Оглобля вернулся, как пьяный. Агафья увидела его в новой одежде, подойти боится.

— Господи, да будет воля твоя! Мы думали — тебя уж в живых нет... Откуда ты взялся?

— Из дворца царского! — отвечал Оглобля.

Агафья подошла к нему, потрогала — не привидение ли?

— Что ж ты там делал?

— Смеялись надо мной! Шутки шутили! Будто у них своих шутов мало! Потеху тоже устроили!

Потом сундучок свой открывает.

— Вот и денег дали. Тоже, верно, в насмешку. Вроде как за стихи заплатили.

Агафья обрадовалась, деньги схватила.

— Дай им, Господь, здоровья! Ты завтра снова сходи. Может, еще дадут.

На другой день Оглобля опять был во дворце. Не успел в залу войти, вчерашний шут возле него, в руках корзинка с яйцами.

— Государь повелел всем сидеть на яйцах, чтоб цыплят выводили. Желает, чтобы во дворце были свои цыплята...

Вокруг все так и надрываются со смеху. Кто-то протянул Оглобле громадный бокал с вином.

— Жалует всешутейший князь-папа!

Вино пахло отвратительно, но Оглобля выпил весь бокал.

«Ну, уж это в последний раз,— думает он.— Ноги моей здесь больше не будет».

Тут его окружили дамы, все красивые, напудренные, в румянах.

— Мы слышали, вы стихи пишете! Напишите нам что-нибудь!

Оглобля смотрит через их головы и видит фрейлину, которая к нему не подошла, так и стоит у стены. Как дамы оставили его, он напрямик к ней. Запах от нее сладкий, дурманящий.

— А вам не нужно стихов? — спрашивает.

— Отчего же? Пишите, коль охота...

Потом дома Оглобля все вспоминал странную фрейлину, и ночью она ему все время виделась. Самое удивительное, как она была похожа на императрицу Екатерину Алексеевну, просто одно лицо. Та же черная коса вокруг головы, полные щеки, на губах загадочная улыбка.

На второй день Оглобля снова оказался во дворце. Разыскал вчерашнюю незнакомку и тайком сунул ей в руку листок со стихами: «Сердце тоскливое, долго ли мучиться?» Она прочитала и сказала:

— Мне Егор Столетов тоже песни пишет.

— Кто это — Егор Столетов? — спрашивает Оглобля.

— Секретарь камергера ее величества Монса Виллима Ивановича.

Был Оглобля во дворце и на третий день и опять со стихами, посвященными С. (Незнакомку звали Софьей.) Дождался, когда она в залу войдет, отвел в сторону и читает:

— Ах, что есть свет? Ах, все противно!
 Ни жить я не могу, ни умереть!
 Тоскует сердце, все не дивно,
 И мне уж нечего хотеть...

Софья выслушала и сказала:

— Егору тоже нравятся ваши стихи. Я ему показывала.

— Какому еще Егору?

— Я же говорила! Секретарю камергера ее величества Монса Виллима Ивановича. Вы что, забыли?

— Вот еще! — говорит Оглобля.— Очень нужно! Я думаю только о вас! Я когда в каземате сидел, мне один псаломщик говорил: из самого худого выходит самое хорошее. Всегда так бывает: из беды — счастье. Вот я и нашел свое счастье, свой бриллиант!

Софья вдруг оглянулась и шепчет:

— Ах, вот и он сам...

— Кто?

— Виллим Иванович, камергер,— сказала она и убежала.

Оглобля посмотрел в ту сторону — идет к нему щеголь, совсем молоденький, одних, наверное, с ним лет. Подошел, взял листок со стихами.

— Ну, что ж, недурно, недурно. А почерк какой! Почерк! Вот что, иди ко мне в канцелярию. Мне грамотные нужны. Чтобы слог был. Мой секретарь Егорка не справляется. Будешь ему помощником.

— Я даже не знаю,— пожимает плечами Оглобля.— Это не по мне.

— Иди, иди, не пожалеешь...

Оглобля поглядел в конец залы, где Софья с другими дамами стояла, и согласился. Работы у него было немного. Принимать челобитные письма, составлять доклады для государыни. Главная же забота лежала на секретаре Егоре Столетове — принимать подарки и приношения. Чего только не несли просители! Белье, галстуки, камзолы, чайники серебряные, меха, парчу. Вся канцелярия была завалена презентами.

Но вот, видно, так уж в природе заведено. Вроде бы пристроен человек, при деле, место почетное. Агафья нарадоваться на своего жильца не может. Всем соседям уши прожужжала:

— Мой-то жилец на службе... Во дворец ездит...

Только Оглобля возвращался домой мрачнее тучи.

— Не могу я там... Не по мне это — служить. Все только и тянут, хапают все подряд. Уйду я от них. Да я бы давно ушел, если б не Софья.

Одно только поражало Оглобля: откуда у камергера Виллима Ивановича такая сила? Ведь весь, наверное, высший Петербург, вся знать шла к нему на поклон.

Князь Никита Юрьевич Трубецкой нижайше просил чина обер-офицера. Гамбургский посол Петр Михайлович Бестужев-Рюмин кланчил титул тайного

советника. Князь Алексей Григорьевич Долгорукий умолял помочь завладеть каким-то выморочным имением. Князя Вяземский и Белосельский, Черкасский и Шереметев — все к Виллиму Ивановичу.

Оглобля спрашивал у Егора Столетова, тот только усмехался и ничего толком не говорил. Однажды Оглобля спросил:

— А отчего камергер не женится? С его-то властью...

Тут Егор загадочно так отвечает:

— Если Монс женится, он кредит потеряет...

Другой случай еще больше сбил с толку Оглоблю. Как-то шел он к ее величеству с письмами к докладу. Было раннее утро, во дворец никого. Вошел он в покои государыни да так глаза и вытаращил. Ну, то, что камергер Монс сидел в кресле, тут ничего особенного. Только он не просто сидел, как положено в присутствии ее величества, а как-то развалился по-домашнему, будто у себя в комнате, ноги вытянул. Оглобля растерялся, а императрица пальцем ему грозит:

— Так ты стихи дамам пишешь? А вот мы женим тебя!

— Помилуйте, ваше величество! — вспыхнул Оглобля. — Я об этом еще не думал.

Тут Виллим Иванович с кресла поднимается.

— А тут и думать нечего. Тебе же лучше. Господь установил брак для облегчения человека в горестях жизни.

Императрица так и залилась смехом:

— Ты не думай, невесту мы тебе хорошую найдем.

А еще через несколько дней рассылный вызывает Оглоблю к государыне.

— Вот видишь, — смеется Екатерина Алексеевна, — мы обещали тебе невесту. Изволь, вот она! Аннушка Нарышкина.

И подводит к нему какую-то девушку. Оглобля даже толком не разглядел ее.

— А это вам подарки к свадьбе! — веселится государыня. — Жениху — парчу на кафтан, невесте — платок флеровый. Через неделю свадьба.

Оглобля в этот день уже не мог работать в канцелярии, все у него из рук валялось.

— Что мне делать? — жаловался он Столетову. — Женят меня...

— Так что ж ты плачешь? — смеется Егор.

— Я другую люблю, — признался Оглобля. — Софья — вот мое сокровище, мой ангел небесный.

Егор Столетов так и покотился со смеху:

— Софья? Вот уморил! Да она же цветочная! Ты что, не знал?

— Как это — цветочная?

— Да так. Ее Брюс из цветов сделал.

— Что ты врешь? Какой еще Брюс?

А Егор, как отсмеялся, рассказывает:

— Есть у нас такой Брюс, начальник артиллерии. Человек подозрительный. Швед, одним словом. Чернокожник. Он раньше здесь, в Петербурге, жил, потом государь в Москву его отправил. Вот за эту самую Софью. Она у Брюса прислугой была — комнату убирала, кофе готовила. А он ее из цветов сделал. Совсем как живая, только не разговаривала. Ну, государь Петр Алексеевич увидел ее и покой потерял. Хорошая, говорит, у тебя служанка. Отдай ее мне. Брюс тогда взял и вынул у нее из головы булавку. Она вся и рассыпалась цветами. Потом он, правда, снова ее собрал. Полил каким-то составом из пузырька, она говорить начала. Только государь все равно на него обиделся и услав в Москву. Он теперь там в Сухаревой башне живет. А Софья вот здесь осталась.

Оглобля ничему этому верить не хотел.

— Сказки все это!

— Но что самое интересное, — продолжал Егор, — когда нынешнюю государыню-императрицу Екатерину Алексеевну привезли во дворец, мы все так и ахнули — вылитая цветочная Софья. Я так думаю, что государь, может, потому и привязался к своей Кате, что она одно лицо с Софьей.

А через неделю, как и намечали, играли свадьбу. И опять все было, как на маскараде. У невесты на голове шапка какая-то высокая бобровая. На Оглоблю венки надели с лентами. Гости — кто во что нарядился, кто арлекином, кто кучером. Повсюду карлики бегают, пищат что-то. Особенно веселился шут с зеленой бородой, фамилия его Балакирев. Принес во дворец ворону с подрезанными крыльями и пустил по залу. Гости за вороной бегают, хохочут, какая-то дама упала, карлики ее поднимают, смеху еще больше. У всех инструменты музыкальные — балалайки, колокольчики, свистки, дудочки, трещотки. Так под эту музыку в церковь и шли. Впереди карлик в цветном камзоле и в треугольной шляпе. Народ на улице толпится, глазееет. В церкви сам государь пел с певчими.

Вернулись во дворец, там уже в большом зале столы накрыты. Вина на столах вдоволь — бургонское в плетеных бутылках, венгерское. А тут еще, как все расселись, шесть гвардейских гренадеров несут на носилках большие чаши с хлебным вином. Государь Петр Алексеевич лично разливал вино по стаканам и смотрел, чтобы все непременно пили. Царь за столом веселился вовсю. Слуга ставит перед ним блюдо, а он схватил слугу за голову и два пальца приставляет в виде рогов. Сам гостям подмигивает и на молодых кивает. Невеста смотрит на все это, на глазах слезы.

— Какая же это свадьба? Шутовство одно!

А Оглобля не сводил глаз с государя, не знал, чем услужить. Увидел — слуга несет поднос с полными бокалами, выхватил у него — и к царю. Да по дорожке споткнулся и опрокинул поднос прямо на государя. Весь кафтан его залил вином. Аннушка даже вскрикнула. Государь уже руку с тростью поднял, замахнулся, лицо красное. А тут шут Балакирев между ними:

— Вот ведь как, ваше величество. На кого капля, а на ваше величество вся благодать Божия... Вся целиком изливается.

Государь рассмеялся и опустил трость. Слуга кинулся подбирать осколки, а Балакирев царю на осколки указывает:

— Так и ты, государь, сокрушишь врагов своих!

Тут император совсем развеселился, обнял сначала шута, потом Оглоблю, расцеловал его.

— Алешка, мой Алешка!

Потом его величество танцевал с новобрачной менуэт. А как к столу вернулся, говорит:

— Сон мне сегодня был. Огород какой-то. В огороде турки гуляют с женщинами. У женщин ветром юбки на головы поднимает. А турки кричат: «Салдареф!» А что такое «салдареф», я и не знаю.

Тут один из гостей рядом с молодыми поднимается с бокалом в руке.

— Да здравствует государь-император!

Оглобля не выдержал, вскакивает, бокал у гостя выхватывает.

— Разве так приветствуют? Не можешь ты!

Снимает с бокала крышку и отдает соседу. Потом кланяется императору.

— Да здравствует его величество государь мой Великий Петр с превосходительной супругой своей императрицей!

После пира молодых отвели в комнату во дворце, где им была приготовлена постель. Гости дурачились, дудели в дудки, карлики кривлялись.

На другой день Оглобля привез Аннушку к себе. Агафье молодая не понравилась.

— Тоже выбрали... На нее сбоку посмотришь — будто дверью расплющено. Не могли получше во дворце найти.

Государь подарил молодым денег на свадьбу, и они купили себе небольшой домик на Васильевском острове у флотского поручика Алексева. И все вроде бы хорошо, ребенка они ждали, только тут новые события. Пошел слух, что на камергера ее величества Монса Виллима Ивановича поступил какой-то донос. Какой — никто толком не знал. Говорили, будто бы о лихоимстве и взятках. Но другие только ухмылялись:

— Взятки взятками. Без этого тоже нельзя. Только здесь другое.

Донесли наконец государю про связь немца с его супругой. Рассказывали даже, будто государь так сильно разгневался на Екатерину Алексеовну, что разбил кулаком огромное венецианское зеркало в ее покоях.

— Враки все это! — говорил Оглобля. — Не может быть!

Тем не менее камергера Монса Виллима Ивановича вскоре арестовали. А еще через неделю и всю канцелярию под арест взяли. Дошла очередь и до Оглобли. За ним приехали ночью, в его новый дом. Аннушка, конечно, в слезы. А Оглобля ей говорит:

— Как учил меня псаломщик? Встречай скорби, как лучших гостей. Из самого дурного выйдет хорошее. Из беды — счастье.

В каземате Оглобля встретил всех своих приятелей — Егора Столетова, Балакирева, других еще. Допрашивали уже знакомые ему князь Толстой Петр Андреевич и Ушаков Андрей Иванович.

Однажды приводят Оглоблю на допрос, он смотрит и глазам не верит — судей за столом нет, а сидит сам император. Долго государь глядел на Оглоблю, потом говорит:

— Ты же ведь Алексей... Алеша... У тебя еще сундучок был. Галстук там, перчатки, чарка. Признал я их — мои это вещи.

Под конец государь спрашивает Оглобля, не слышал ли он о каком-либо заговоре против императора.

— Нет,— сказал Оглобля.— Не слышал.

В каземате Оглобля всех утешал:

— Не бойтесь скорбей, терпите. Скорби — наши учителя! Чем больше терпеть, тем выше человек!

Балакирев даже в каземате кривлялся — метался из угла в угол, рвал на себе рубашку и звал караульных:

— Братцы, а братцы! Спасать надо Петра Алексеевича! Ведите меня! Я знаю злодея, который хочет отравить государя! Рецепт у него о составе питья для хозяина!

Столетов Егор был спокоен и не терял надежды:

— Вот погодите, даст Бог — все уладится. Государь, говорят, сильно болен. Горячка. Мне караульный говорил.

— А при чем здесь горячка? — удивлялся Оглобля.— При чем болезнь государева?

— Да уж известно. Всегда так. Как царь болен, он непременно прощает тех, кто под стражей, отпускает их. Чтобы, значит, их молитвами о его здравии болезнь облегчить.

Тут Егор подмигивал:

— А потом, неужто ее величество за своего камергера не заступится? Екатерина-то Алексеевна? А государь во всем ее слушается...

Однако надежды Егора не оправдались. Ни болезнь государя, ни заступничество государыни не помогли. Приговор гласил: за плутовство и взятки Монса Виллима Ивановича, камергера ее императорского величества, казнить смертью и всего имения лишиться. Столетова Егора Михайловича бить кнутом и сослать на десять лет под Ревель. Наказаны также были Балакирев Иван и другие. Оглобля отделался легче других — в солдаты без наказания, рядовым в Преображенский полк. Государь своей рукой начертал: учинить по приговору.

Рано утром всех вывели на Троицкую площадь, напротив Сената. Народу на площади полным-полно — яблоку негде упасть. Посреди помост из досок, на нем плаха. Возле помоста шест, на который цепляют отрубленные головы.

Тут же на столбе прибиты росписи взяток обвиняемых. Монсу Виллиму Ивановичу приписывалось село Орша с деревнями, псковские деревни, дома в Петербурге, сервизы серебряные, экипажи с лошадьми, собаки охотничьи. За Егором Столетовым записано — десять фунтов чаю, кусок полотна, пятьдесят четвертей муки, лента, шитая золотом, шарф шелковый, три косяка камки.

Виллим Иванович вышел в нагольном тулупе, рядом с ним — пастор. На помосте Виллим Иванович сам разделся, положив голову на плаху. В толпе многие плакали. Оглобля видел рядом с помостом императора. На его величество смотреть было страшно — все лицо дергалось, рот налезал куда-то на ухо, голова ходуном ходила.

Потом вывели Егора Столетова — пятнадцать ударов кнутом. Балакиреву — шестьдесят палок.

Когда все было кончено, Оглобля вернул обратно в каземат. И в ту ночь, как он остался один, была у него на свидании женщина. Сначала-то он не мог разобрать — кто: темно было. Запах только знакомый. «Неужто Софья цветочная?» — пронеслось у него в голове. А как она рукой его коснулась, сразу узнал — матушка.

— Прости меня, сыночек,— говорила она.— Виновата я перед тобой. И перед людьми грешна.

Оглобля лежал на полу, она опустилась возле него.

— Молодая я тогда была. Меня же в восемнадцать лет замуж выдали. Все у нас хорошо было, жили мы себе. А тут вдруг известие — государь в селе. Это он на чугунные заводы ехал, а у нас остановка — лошадей меняют. И вот сидим мы, ничего не знаем, вдруг дверь открывается, государь на пороге, Петр Алексеевич. Тут, конечно, суета, все бегают. Пошло угощение. Водку на стол подали. Петр Алексеевич достает свою чарку. Налил себе и выпил. Потом еще наливает и меня потчует. А мне стыдно, я не пью. Отец уговаривает: «Выпей, жена, не спесивься. Ничего — коли царь просит, надо выпить». Ну, выпила я. А Петр Алексеевич со мной шутит. Снял с шеи галстук кожаный и мне повязывает. Потом перчатки снимает, длинные такие, по локоть,— и на мои руки. После чарку свою жалует, из которой водку пил.

Оглобля прижался к матушке, она его гладит, сама плачет.

— Отец напился, ушел куда-то с солдатами. А государь ночевать остался. Ну, утром ничего, уехал. Вещи его — галстук, перчатки, чарка у меня остались. Денег потом тоже прислал — двести рублей.

Матушка долго молчала, всхлипывала.

— А потом ты родился. Перед родами, помню, странник какой-то в дом заходил. Откуда он взялся? Вошел и кланяется. Кланяюсь, говорит, младенцу в утробе матери. Положит он начало большому и славному роду. Только большие страдания примет.

Оглобля слушает ее, потом говорит:

— Псаломщик один меня учил. Говорил: скорби и страдания терпеть надо. Я терпел, терпел. И что вышло? Ничего... Вот, видишь, в солдаты...

Матушка слезами так и заливается:

— Вон какую я тебе жизнь уготовила. Ты простишь меня? Твоя жизнь не задалась. Но сегодня ночью у тебя сын родился. Внучок мой. Вот у сына твоего все по-другому будет. Ему в счастье и радости жить. А ты уж потерпи, родной мой... Ты потерпи...

— Ты знаешь, мама,— говорит Оглобля.— Меня здесь женили... А я дру- гую люблю. Цветочную женщину... Не могу без нее...

Как стало светать, Оглобля все боялся, что караульные откроют дверь, а у него гостя. Только когда за ним пришли, у него уже никого не было. Оглобля теперь уже и сам хорошенько не знал, приходил ли кто к нему ночью или это только так — видение. Известно, однако, что сын у него и в самом деле родился этой ночью.

Только Оглобля сына своего так и не увидел. Его зачислили тогда же в полк, и он принял участие в одном из походов, в котором и погиб, был убит где-то под Дербентом.

Ну а сын ничего, остался, потом вырос.

На службе Алексей Петрович так больше и не появился. Соседка с нижне- го этажа заглянула как-то к нему, а он лежит на полу без движения. Возле него человек какой-то молодой, так, по виду, студент. Рядом на полу бутылка пустая от вина.

— Ты Славик? — спрашивает соседка.— Из лечебницы сбежал?

— Матушка обманула меня,— отвечает Славик.— Сказала, что отец умер, а потом ожил. Где же — ожил? Я вошел — он тут и лежит.

— Нет, матушка не обманула,— говорит соседка.— Все так и было.

Славик повернул к ней голову:

— Значит, я опоздал?

Потом наклонился над Алексеем Петровичем, у самого слезы так и текут.

— Отец, ты слышишь, я больше не пью! Я бросил, отец! Вылечился!

Всхлипывает он, рукой глаза вытирает.

— Я продолжу наш род, отец! Ты не беспокойся! Я буду твоим наследни- ком!

Соседка смотрела, смотрела, не выдержала, тоже заплакала.

— Ты не убивайся так, сынок. Кто его знает, может, он опять очнется.

Плачет она и все повторяет:

— Может, еще и очнется... Может, очнется...

БИБЛИОТЕКАРЬ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА

Славик, хотя и числился на работе, но все равно что не работал. Раза два в неделю ходил он в какую-то библиотеку, разбирал там книги, заполнял форму- ляры, а больше дома сидел. Даша каждое утро, как ей в свою аптеку идти, одно и то же ему:

— Ты бы, Славик, нашел настоящую работу. Чтобы платили. Как же мы с тобой распишемся, когда ты без денег? Мне что, всю жизнь тебя кормить?

Славик ей не возражал:

— Надо, конечно, поискать. Вот, погоди, поищу.

— Ты бы мог хоть подрабатывать,— не унималась Даша.— Вон баба Маня предлагает. Сейчас деньги по воздуху летают. Только хватай.

Бабу Маню из первого подъезда все хорошо знали — всякий день на углу возле рынка стоит. Ей какие-то ребята возят ящики с самодельной водкой —

пробки, этикетки, все, как полагается, будто с завода. Вот она с утра до вечера и околачивается возле рынка с бутылками:

— Роденькие мои, даром уступлю, на хлеб денег не хватает. В шкафчике под замком хранила, чтоб муж не выпил. Вон вынесла — возьмите, пожалуйста бабушку.

Но Славик стоять с бабой Маней отказывался. Соседи, конечно, жалели Дашу. Агейкина с пятого этажа, как встретит ее на лестнице или во дворе, всегда говорит:

— И что ты его возле себя держишь? Гони ты его куда подальше! Сам-то он никогда не уйдет, не надейся. А ты не старая еще. Найдешь себе мужика настоящего.

— Да куда же он денется? — отвечала Даша. — Нет у него никого. Отец с матерью померли, сестра замужем, у нее своя семья. Некуда ему идти. Он же блаженный — стихи сочиняет.

А тут однажды и вовсе такое! Возвращается как-то Даша с работы, а в квартире запах какой-то новый, незнакомый. Вроде как мылом сладким пахнет.

— Господи! — всплеснула руками Даша. — Этого еще не хватало! Неужто баба была?

А Славик ей и рассказывает. Сидит он за столом, очередное стихотворение обдумывает, вдохновения ждет. И вдруг чувствует, за спиной кто-то стоит. Оборачивается — женщина, молодая, красивая. Одежда на ней только странная — вроде монашеской, с капюшоном. Славик ей и говорит: я, мол, знаю, кто ты. Ты Муза. А она ему: нет, говорит, я не Муза. Я княжна.

Даша так и оторопела:

— Какая еще княжна?

— Княжна Тараканова, — отвечает Славик.

— Это какая Тараканова? — недоумевает Даша. — Которая на картине, что ли, в Третьяковке? Тюремная камера, наводнение, мыши.

— Она самая! — кивает Славик. — Внучка Петра Великого! Только в жизни все не так, как на картине.

Даша лишь пальцем у виска покрутила.

— Совсем ты, Славик, свихнулся со своими стихами. Лечиться тебе надо — вот что.

— Да нет, ты не знаешь! — разволновался Славик. — Она мне все рассказала. На самом-то деле были две княжны Таракановы. Одна — авантюристка, ее поляки хотели на наш трон посадить. Принцесса Волдомирская. Это ее граф Алексей Орлов из Италии выманил. Грязная была история. Обещал жениться и предал. Она потом в Петропавловском каземате сына ему родила, а сама умерла — чахотка. Только настоящая княжна — другая, которая ко мне приходила, Августа. Родители ее венчались здесь, в Москве, в храме Воскресения в Барашах, на Покровке, она мне сказала. Императрица Елизавета Петровна и граф Разумовский Алексей Григорьевич. Как она родилась, ее сразу за границу, там она и жила. А потом императрица Екатерина заставила ее в монастырь уйти, в Ивановский. Тоже обманом из Европы вызвала.

Стала Даша на стол к ужину накрывать, а Славик говорит:

— Я ужинать не буду.

— Ты что, Славик? — удивляется Даша. — Что с тобой?

— Княжна меня расстроила. Кусок в горло не лезет. Двадцать пять лет в монастырской келье. Затворница Досифея. А она смирилась. Взяла на себя подвиг. Ее там, в монастыре, как в тюрьме, держали. Не пускали даже в общую церковь. Особое богослужение для нее устраивали при закрытых дверях. Царская кровь, заживо погребенная.

— Да ты не переживай, — успокаивала его Даша. — Это еще, может, хорошо, что в монастыре. Ее же ведь вовсе могли убрать.

— Вот, вот, и княжна так говорит. Она меня спрашивает: знаешь, кто меня спас? Придворный библиотекарь Петров Василий Петрович. Это он дал императрице мысль — в монастырь. А так, конечно, извели бы.

Тут Славик подзывает Дашу ближе и на ухо ей:

— И еще она мне сказала. Знай, говорит, что этот самый Василий Петрович — твой предок по отцовской линии. Я, говорит, для того к тебе и явилась, чтобы это сказать. Я ведь тоже ему родней прихожусь...

— Ну, вот видишь, Славик, а ты расстраиваешься, — говорит Даша.

Рассказала она эту историю Агейкиной, посмеялись они, Агейкина все и разъярила:

— Что же тут удивительного? Он же пил раньше сильно. В лечебнице лежал, лечился. Вот оно и сказывается. Княжны всякие являются.

А сразу после этого другое событие. Встает утром Даша на работу идти, а Славик все спит, проснуться никак не может. Даша одна попила чаю и ушла. Вечером возвращается, входит в комнату да так и остолбенела. Славик как утром лежал на кровати, так и лежит.

Даша перепугалась, кинулась к нему, тормозит — живой ли? А Славик вроде живой, дышит, только глаза не открывает. Даша к телефону, вызвала «Скорую». Врач, молодой совсем, долго прослушивал Славика, ворочал. Потом говорит:

— Ну, что ж, все ясно. Летаргический сон. Истерическая форма. Надо полагать, результат сильного потрясения. Человек он, видно, чувствительный, эмоционально богатая жизнь.

— Очень богатая, — кивает Даша. — Переживает все время. Даже видения бывают...

— Вот, вот, — продолжает доктор. — И как результат — расстройство организма. Нарушение ритма сна. Форма охранительного торможения. Реакция самозащиты.

— Господи, как же так? — чуть не плачет Даша.

— Да вы не волнуйтесь! — успокаивает ее доктор. — От этого еще никто не умирал. Проснется он. Не более четырех-пяти дней...

— А что же мне делать с ним?

— Кормить с ложечки, сúdo подставлять. Он сопротивляться не будет.

Ну, все так и вышло, как доктор говорил. Через четыре дня утром просыпается Даша, смотрит, а у Славика глаза открыты.

— Наконец-то! — вздохнула она. — Как же ты меня напугал! Я уж не знала, что и думать!

И тут она чувствует, от Славика вроде вином тянет. Она сразу-то даже не поверила. Потом принялась — точно, вином.

— Что же это такое? — спрашивает.

— Это ничего, — отвечает Славик. — Так надо было. Угостили меня.

— Да что ты несешь? Когда угостили? Где?

— В императорском дворце, в Петербурге. Императрица всех угощала.

Даша так и ахнула:

— Час от часу не легче! Какая еще императрица?

— Екатерина Великая!

Тут Даша не на шутку обиделась:

— Черт знает что такое! Я здесь с ног сбилась, переживаю? А он с императрицами развлекается!

Ушла она на кухню, стала завтрак готовить. Минут через десять выходит к ней Славик. Налила ему Даша чаю и спрашивает:

— Ну и какая она из себя, царица? Красивая?

— Красивая, — отвечает Славик. — Только голова вся перевязанная.

— Вот тебе раз! Это еще почему?

— Говорит, накануне убилась. С лестницы оступилась и полетела. Думала, говорит, ни одной живой косточки не останется.

— Скажите, пожалуйста! — притворно так тянет Даша. — Кто бы мог подумать? Как же это вышло?

— Да вот, видишь ли, вернулась она с прогулки, захотелось в баню. А баня там у них в нижних комнатах, лестница туда узенькая. Не стала ждать свою камеристку, решила сюрприз ей сделать, пошла вниз одна. Да зацепилась за что-то и с самого верха полетела вниз. Все лицо расшибла, особенно левый висок. Камеристка нашла ее внизу почти без чувств.

— Надо же! — сочувственно качает головой Даша. — Вот ведь как бывает. Ей бы осторожней... В ее-то возрасте...

Допила она свой чай, потом спрашивает:

— Кого же ты еще во дворце видел? Народу там небось полно.

— Публика самая разная, — говорит Славик. — Самая первая при государыне — какая-то Матрена Даниловна. Всякий день во дворце, платя с царского плеча. Говорит императрице: «Я, сестрица, все про тебя знаю. Ты думаешь, у вас секреты да секреты. А мне нужно только приехать домой, к своему Вознесению, придут ко мне богаделенки Марья да Авдотья — так у нас все наперечет, и все знаем».

— Ну, хорошо, хорошо, — перебивает его Даша. — А как там твой предок по отцовской линии? Библиотекарь ее величества... Видел ты его?

— Василия Петровича-то? А как же? В первый же день.

— Так рассказывай, что ж ты тянешь? Мне бежать скоро.

Что было в первый день

— Ходит Василий Петрович важный такой, надутый, — начал рассказывать Славик. — Лакей за ним бумагу носит и чернильницу. Как строчка какая в голову придет, он тут же ее и записывает. У него все больше оды. «На победу российского флота», «На прибытие графа Орлова», «На отъезд князя Потемкина».

— Неужто он только этим и занимается? — спрашивает Даша. — Стихи сочиняет? Как и ты?

— Куда там! Если б только стихи! Другое у него занятие — заказы государыни. Императрица ведь сама сочинительством балуется. Вот Василию Петровичу и работа. Сегодня он переделывает новую пьесу ее величества. Завтра сочиняет куплеты и хоры для другой пьесы. Послезавтра составляет словарь рифм, там собирает пословицы или делает выписки из книг. Тоже по заказу — надписи всякие, эпитафии. К примеру, любимой собачке императрицы: «За верность, за нежность даруй ей бессмертие, Небо!»

Придворные потешаются над ним. Нарышкин, например, Лев Александрович, обер-штальмейстер. Первый шутник и зубоскал.

— Жалко мне тебя, Василий Петрович, — говорит. — Что от тебя останется? Ты думаешь, кто-нибудь будет читать твои оды? Или переводы Вергилия? Слог-то какой, слог! Тяжелый, напыщенный! Нет, голубчик, не будут тебя помнить!

Все, конечно, смеются. А Василий Петрович вдруг ни с того ни с сего отвечает:

— А знаете, что нас обессмертит? Только неземная любовь! Сильная страсть!

Все еще пуще хохочут. Он вообще там у них не то шут, не то скоморох какой-то. Вот подносит он государыне свое стихотворение. На александрийской клееной бумаге, с виньетками, а она ему:

— Что это ты, Василий Петрович, все потеешь да потеешь?

— Никак нет, матушка. Три дня уж как не потею, — отвечает Василий Петрович.

— Ну, это ничего, это пройдет, — говорит императрица. — Я раньше сама потела. Холодные ванны надо.

Василий Петрович тут на коленки и ручку высочайшую целует. А я думаю: неужто и правда мой предок? Его дразнят, а он знай хвастает. Я, кричит, потомок Петра Великого! Сам государь-император моему отцу фамилию дал — Петров. И велел всем потомкам его так называться — Петровы. Отец мой в солдатах погиб, убили его где-то под Дербентом. Матушка рассказывала. Мне, говорит Василий Петрович, нарочно другой год рождения записали и отчество не отцовское. Чтобы, значит, следы скрыть. А то ведь — скандал! Шутки ли — внук Петра Великого, царская кровь! Что Европа скажет? Вот и сделали подлог. А императрица ему:

— Да ты самозванец, Василий Петрович! Бунтовщик! Хуже Пугачева или этой побродяжки Таракановой!

А кто его знает — так ли это, правда ли? Может, все выдумки, шутовство. Василий Петрович все веселит государыню. Показывает ей, к примеру, сукно и говорит, что выткано по его заказу из шерсти какой-то рыбы, которую он лично поймал в Северном море, когда был в Англии.

Там у них во дворце ящик такой есть для штрафных денег за вранье. Соврал, клади десять копеек. Так Василий Петрович один только и наполняет его. Государыне говорят — не надо бы этого стихотворца пускать на наши собрания, а то он вконец разорится.

— Пусть ходит, — отвечает государыня. — Мне нравится слушать его вранье.

Одна только у Василия Петровича слабость — любит не ко времени выпить. Что только про него не рассказывают? Как-то светлейший князь Потемкин Григорий Александрович пригласил его к себе угостить. Князю только что прислали ковенский домашний липец. Так Василий Петрович встать из-за стола не мог. Слуги под руки его увели. На другой день ему говорят: как тебе не стыдно? А он им:

— Это что? У нас в деревне крестьянка беременная была, все никак не могла разрешиться. Наконец родила семилетнего мальчика. И первое слово его было: «Дай водки».

Однажды, рассказывают, кутили они всю ночь с приятелем Костровым Еремиллом Ивановичем, тоже стихотворец у Елагина, на острове. А утром, в шесть часов, государыня требует Василия Петровича к себе — читать список книг из библиотеки Дидро, за которую она тогда заплатила пятьдесят тысяч франков. Что делать? Василий Петрович велит пустить себе кровь из левой руки, две чаш-

ки, и является к императрице как ни в чем не бывало. В руках чистые листы бумаги. «Читай», — говорит государыня. Василий Петрович по чистым листам и перечислил без запинки все книги Дидро.

— Ну, Бог тебя простит, — сказала императрица. — Я вижу, ты предан мне.

А как Василий Петрович выпьет, принимается говорить об актрисах, большой любитель был. Особенно про одну из них — Уранову. Жалуется, что плохо отвечает на его ухаживания, предпочитает ему другого — актера Сандунова. «Мы с ней не в равной доле, — декламирует. — Я, может, мил ей, но она — сто крат мне боле».

— Вот тебе раз! — вмешивается Даша. — Что это еще за актриса?

— Да Василий Петрович влочится за ней, неизвестно для чего, — отвечает Славик. — Стихи ей без конца посылает. «Я не апостол обольщения, но был я счастлив лишь тогда, когда услышал ваше пенье и полюбил вас навсегда». Она как-то прочитала его послание и спрашивает:

— А, скажите, какая разница между одой и простым стихотворением?

— Помилуйте, прелесть моя, — отвечает Василий Петрович. — Громадная. Вот изволите видеть — ода сама по себе, а стихотворение само по себе.

Даша слушает Славика и теряется в догадках, никак в толк взять не может. «Откуда у него такие подробности, все эти детали, имена, фамилии?» — ломает она голову. Но долго сидеть с ним она не могла — на работу надо бежать. Вечером, как только освободилась, Даша сразу домой. Собрала наспех на стол, сели они.

— Ну, рассказывай дальше, — просит она.

Что было во второй день

— Уж наслушался я в этот день! Что там у них творится! Взятки, воровство! Почтище, чем у нас теперь! К примеру, граф Кирилл Григорьевич Разумовский. Между двумя ревизиями у графа бесследно исчезло двадцать тысяч душ крестьян. Просто пропало — и все. Или еще князь Долгоруков Василий Иванович, нижегородский вице-губернатор. Состряпал подложное письмо к самому себе, якобы от императрицы — против раскольников. И отхватил у тех несколько тысяч. Исправники, депутаты наживаются самым бессовестным образом. Дерут немилосердно. Казенные подьяды — одно плутовство. Казну грабят почем зря. Особенно поставщики армии и флота. Так и говорят: «Бери ловко в руки, выдавай ловко из рук, и все сойдет с рук». Называли разных особ. Откупщик питейных сборов из Тулы, вятский губернатор, какой-то бригадир из Пензы по прозвищу Губан (губа у него нижняя висит). Еще много разных, всех не упомянешь. В Кашире губернатор на выборах судей так плутовал, что его в уголовную палату — и под суд. Вот она, Россия!

Все вокруг государыни в один голос: жестокость нужна! Крепкий кулак! Как вместе соберутся, давай кричать: меры надо принимать, меры! Особенно один, толстый, Безбородко Александр Андреевич, действительный тайный советник. Чулки у него всегда спущены, нос картошкой.

— В Богородицке поп один, — рассказывает он, — пил почти без просыпа. Бог знает, как служил. Протопоп молчал и потворствовал. Пил, пил, все дивились, как не спился с круга. Был на сговоре у мещанина, пил вино, покуда тут и не помер. А лекарь прикрывает, сказал неправду: будто помер от болезни. И похоронили. А тем зло умножается только. Надлежало бы наказывать за это.

Василий же Петрович не соглашается, возражает:

— Вы видите слабость ближнего, а не знаете, что, может быть, один его поступок приятнее Богу, чем вся ваша жизнь.

Императрица на него рукой машет:

— Вечно ты споришь, Василий Петрович. Упрям, как осел!

— Упрям, но прав! — отвечает Василий Петрович. — Воля ваша, а я на правду черт!

— Ты уж повесели нас, Василий Петрович, сделай милость, — просит государыня. — А то ведь скука смертная! Совсем тоска!

Василий Петрович будто и ждал этого. Достает куклы тряпичные — даму и кавалера, на руки себе надевает и принимается разыгрывать любовную сцену. Кавалер даме стихи читает: «Как скоро я тебя увидел, я мыслю о тебе одной». Дама бьет кавалера по спине, а кавалер взмахивает руками и кричит: «Наша любовь обессмертит наши имена!»

Государыня смеется, в ладоши хлопает. А другим досадно, что императрица библиотекаря слушает, а их нет. Обиделись на Василия Петровича, что все в

насмешку превратил. И вот какую шутку над ним разыграли, во главе с Нарышкиным Львом Александровичем.

Василий Петрович за обедом выпил лишнего, а потом ушел к себе и еще вина захватил. Шутники подстерegli его, видят — он без чувств. Распорядились разыскать гроб у ближайшего гробовщика и доставить во дворец. Уложили в него Василия Петровича, руки крестом сложили, как покойнику, и приказали отвезти в дом к актрисе Урановой. Кто-то из домашних актрисы наткнулся в сенях на гроб и поднял крик. Сбежался весь дом, суматоха. А покойник вдруг поднялся из гроба. Все в ужасе разбежались. Уранова после этого вовсе глядеть на Василия Петровича не желала.

Славик еще долго рассказывал, потом смотрит — а Даша спит, так и уснула за столом. Разбудил он ее, чтобы она легла как следует. Утром Даша просыпается, а Славик уже одетый, будто не ложился вовсе.

— Так что там во дворце было? — спрашивает она.

Что было в третий день

— Там у них во дворце весело, душа радуется. Соберутся перед обедом и давай фанты разыгрывать. Кому выпадает стакан воды залпом выпить, кому прочитать на память какую-нибудь оду Василия Петровича. Однажды государыне выпал фант сестра на пол. Она тут же и села.

А потом рассядутся за столом, рожи друг другу корчат. Нарышкин Лев Александрович ушами шевелит, разные фигуры из пальцев делает. Василий Петрович всяким голосам подражает. А Салтыков Николай Иванович кричит:

— Это что! Я могу ногой почесать у себя за ухом!

Граф Салтыков в этот день из Москвы вернулся. Рассказывал, что Суворов Пугачева привез в деревянной клетке. На Монетном дворе его выставили на цепи. Вся Москва с утра до ночи ездит его смотреть.

— А чего на него глядеть? — вмешивается Матрена Даниловна. — Злодей и есть злодей! Одно слово — антихрист! Богу угодно было наказать Россию через его окаянство.

— Как есть антихрист! — поддакивает Василий Петрович. — Он же двоеженец. Я слышал, в станице где-то у него жена и пятеро детей. А он, нехристь, в Яицком городке женился на казачке Устинье Кузнецовой. Именовал ее императрицей. Да и так в каждой крепости дочери и жены офицерские у него в наложницах. Антихрист и есть!

— Вот здесь, сестрица, я согласна с библиотекарем, — кивает Матрена Даниловна.

А Василий Петрович скорчил уморительную физиономию:

— Разве я сказал какую-нибудь глупость?

Все хохочут, конечно. Слуги тем временем крышки снимают с кушаний. Перед государыней горшок щей, обернутый салфеткой, золотая крышка сверху. Она сама разливает по тарелкам. Подают ей тарелку Василия Петровича, а Нарышкин говорит:

— Полно, ваше величество. Стоит ли наливать библиотекарю? Видите, какой он насмешник.

— Стоит, стоит, — отвечает государыня. — Он меня так смешит, что я за бока держусь.

А Василий Петрович будто даже и не слышал. Спрашивает у Салтыкова:

— Ну и какой он из себя, Пугачев?

— Да отвратительный на вид. Черный, как цыган, бороденка жиденькая, рот щербатый, зуба верхнего нет. Сидит ест уху на деревянном блюде. Увидел меня — добро пожаловать, приглашает отобедать. В насмешку, конечно. Я его спрашиваю: как же ты посмел против царицы идти? А он мне: виноват перед Богом и государыней, но буду стараться заслужить прощение за все мои вины. Я его бранить стал. Бранил, бранил, а он выслушал и говорит: «Много я вашей братии перевешал, но такой образины, признаюсь, не видывал!»

А у графа вид, надо сказать, на самом деле уморительный. Коротышка, тощий, как щепка, на голове взбитый хохол в пудре. То и дело плечами подергивает и штаны подтягивает.

Тут все, конечно, на Пугачева, давай ругать почем зря.

— Каторжник беглый! Казнить немедленно! Никакого милосердия!

Стали про него всякие ужасы рассказывать.

— Полковнику Елагину грудь взрезали и кожу на лицо задрали!

— Майора Белова повесили... И мертвого секли нагайками!

— Вот еще случай,— говорит Салтыков.— Едет раз Пугачев мимо копны сена. Собачка какая-то на него бросилась. Пугачев велит разбросать сено. Нашли двух барышень. Пугачев подумал, подумал и велел их повесить.

— Он же раскольник! — кричит кто-то.— В церковь не ходит и крестится по-раскольничьи! Сколько монастырей сжег и разорил! Никакой к нему жалости! Только виселица!

А Василий Петрович и тут не соглашается. Это, говорит, все от гордости вашей. А гордостью, говорит, ничего не добьешься. И спрашивает: а знаете ли вы, что такое добродетель? Потом отвечает: человеколюбие это — вот что...

А государыня, как всегда:

— Василий Петрович! Развесели нас! Смотри, все от страха носы повесили.

Она сидит во главе стола, ест медленно, обмакивает кусочки хлеба в соус и кормит собачек. Василий Петрович тут тарелку отставляет и достает откуда-то из рукава колоду карт. Мешает ее, потом взмахивает рукой, и из колоды выпадают на стол четыре короля.

— Что это значит? — спрашивает государыня.

— Фальшивые короли падают перед истинной царицей! — отвечает Василий Петрович.

Государыня хохочет до упаду, есть больше не может...

Славик тут кончил рассказывать, долго молчал, потом говорит:

— А я так думаю. Ну, вешал Пугачев дворян. А посмотришь на наших новых хозяев жизни, на этих теперешних? Ведь вор же на воре! Головорезы такие, куда там прежним! Вот бы их нагайками! А ты не воруй! А ты не воруй!

Даша не стала дальше слушать, махнула рукой и убежала на работу. Вечера ждала она с нетерпением — интересно, что там еще этот полоумный придумает. «И откуда что берется?» — удивлялась Даша. Только вечером Славик что-то не спешил продолжать, уклончиво так:

— Да ничего больше интересного не было...

— Еще же один день остался, последний,— настаивала Даша.— Досказывай уж!

Славик долго отнекивался, потом все же сдался.

Что было в четвертый день

— В этот день все ожидали праздника, который светлейший князь Потемкин собирался дать в своем новом конногвардейском доме близ Смольного монастыря. Дом этот государыня подарила князю три года назад. Князь продал его тогда в казну за 460 тысяч рублей. Теперь государыня пожаловала ему этот дом еще раз.

Во дворце с утра только Матрена Даниловна и Василий Петрович. Императрица показывает подарки от шведского короля.

— Ну, Матрена Даниловна, ты вот все бранила шведа. Погляди, что он мне прислал. Подарки-то какие! Вон кувшинчик какой прелестный, дорогая работа.

— И, сестрица, да ведь он немец,— отвечает Матрена Даниловна.— А у нас на Руси о немцах таких мыслей, что, когда придет к кому в дом немец, так потом весь день дверной крюк моют, за который он хватался.

— А мы этот кувшинчик нашему стихотворцу подарим. Василий Петрович, иди сюда!

Матрена Даниловна только хихикает:

— Так ведь подарки, сестрица, за дела дают. Вон светлейший князь Григорий Александрович турка побил — ему почет и слава. А бездельников за что награждать?

— Не скажи, Матрена Даниловна! Что бы я без него делала? Я ведь сама балуюсь сочинениями. Ну, это, конечно, несерьезно. Так, безделки, развлечение. А Василий Петрович руку свою к ним прикладывает. Куплеты все его. Если бы не он, мои пьесы не увидели бы сцены!

— Да кто сейчас, сестрица, куплетов не пишет? — не унимается Матрена Даниловна.— Разве кому лень только. Сейчас, сестрица, все пишут. Генералы, квартальные, титулярные советники. Вон генерал Волков сочинил стих против французов, чтобы их из Петербурга выгнать. Ты лучше благослови его, царица, водочкой!

Василий Петрович тут не выдержал:

— Молчи, старая ведьма! Много ты понимаешь!

— Я ведьма? — накинулась на него Матрена Даниловна.— А где же у меня хвостик? Если бы я была ведьмой, у меня был бы хвостик!

Тут она повернулась к Василию Петровичу спиной, нагнулась и юбки задирает.

— Не изволите ли посмотреть? Я покажу, ежели желаете...

Государыня хохочет до слез, в ладоши хлопает.

— Bravo, bravo! Вон как вы меня веселите! Вы да еще Нарышкин Лев Александрович. А где же Левушка? Опять нету? Ну уж я ему голову намою!

Только она сказала, обер-шталмейстер тут как тут. Стоит, голова мокрая, вода с него капает.

— Что с тобой, Левушка? — спрашивает государыня.

— А что, матушка! Ведь ты хотела мне голову намыть. А у тебя, я знаю, забот и так хватает. Вот я сам и вымыл ее.

Государыня опять хохочет.

— Ну и вид у тебя, Левушка, — еле произносит она, давясь смехом.

Все смотрят, и правда — Нарышкин весь увешан с ног до головы лентами разных цветов, медалями, звездами.

— А это марокканская принцесса прислала, — отвечает Нарышкин. — Просит передать Василию Петровичу. Влюблена в него, как кошка. Женихом своим называет. Ждет, когда свадьба. Так что теперь Василий Петрович у нас — марокканский принц.

Государыня багровеет вся от смеха, будто вот-вот лопнет.

— Пощади, Левушка! Нам же на праздник идти!

Слухи об этом празднике ходили давно. Говорили, что издержки на украшения громадны. Будто из лавок взято напрокат до двухсот люстр и столько же зеркал. Что в Петербурге уже и воску для освещения столько нет, сколько князю надо, и что по почте послали за ним в Москву.

Перед самим домом князя в три дня расчистили место для простого народа. Установили качели, приготовили угощение. Винá, правда, никакого не выставляли, только медовый квас и простывший сбитень в кадках. Там же на стене развесили товары разные для бесплатной раздачи — сапоги, лапти, шляпы, кушаки.

Праздник был назначен на пять часов, но простой народ начал собираться с самого раннего утра. К обеду погода испортилась, стал моросить мелкий дождик, но никто не расходился. Было определено так, что, когда прибудет императрица, будет дан сигнал к началу угощения. Но вот уже седьмой час на исходе, а государыни все нет.

Вдруг какая-то собачонка выскочила из толпы и кинулась на самую середину площади. Караульные закричали на нее, затопали. А народ принял это за сигнал. Толпа кинулась хватать все, что выставлено. Что тут началось! Давка невероятная, толкают друг друга, какой-то старик упал, его чуть не затоптали. Женщины кричат, дети плачут. Не успели опомниться, все припасы были расхвачаны.

Тут караульные спохватились и давай гнать толпу обратно. Солдаты прикладами, казаки плетью, полицейские заливными трубами. Прогнали людей с площади, но все было испорчено. Светлейший князь когда увидел, только рукой махнул — пусть добирают.

— Вот так всегда, — сказал он. — Всякое доброе дело у нас в России испортят, и из добра выльется зло.

Императрица изволила прибыть после семи часов. Светлейший встретил ее на улице и повел в дом. На нем были малиновый кафтан и епанча из черных кружев. Шляпа с бриллиантами так тяжела, что ее носил за ним адъютант.

В первой зале императрица была встречена кадрилию. Кавалеры одеты испанцами, дамы — гречанками с тюрбанами на головах. Государыня долго смотрела на танцующих, потом подзывает Василия Петровича:

— Тебе, марокканский принц, мы заказываем стихи по случаю праздника. Пусть все танцуют, а ты трудись...

— Уже готово, матушка, — говорит Василий Петрович и протягивает ей листок бумаги. — «Ода на праздник».

Императрица прочитала и сказала:

— Хвалю за усердие. Недаром я тебе кувшин подарила. Теперь можешь веселиться со всеми...

Потом было театральное представление с хором и балетом. Давали сочинение государыни — пьесу «Олег». В первом акте древнерусский князь утверждает на троне в Киеве своего питомца Игоря. Здесь игры, народные танцы и пес-

ни, сочиненные Василием Петровичем. Потом Олег отправляется в поход против греков. Видно, как он проходит со своим войском и отплывает на кораблях. Во втором акте он в Константинополе. Молодые греки, юноши и девушки, поют князю хвалебные песни, тоже сочиненные Василием Петровичем, и танцуют. Последняя декорация — ипподром, император Лев показывает князю Олимпийские игры. Наконец, Олег прощается с императором и прибывает на колонне свой щит. Хор исполняет торжественную оду Василия Петровича.

Во время представления государыня замечает, что Василий Петрович то и дело морщится.

— Что с тобой, марокканский принц?

— Другие здесь куплеты нужны. Переделать надо. Скучные. Кто их будет слушать?

— Не переживай по пустякам, оставь. Это как в басне. Жена у мужика плакала, что муж топор на стену повесил. Вдруг сорвется и убьет дитя? А детей у них никогда не было.

После представления, в 11 часов, начался ужин. Столы накрыли только для дам. Кавалеры должны были им прислуживать. Но все были утомлены танцами, кавалеры оставили своих дам и думали только о том, как бы отдохнуть. Весь порядок был нарушен, все перемешалось. Одни вставали, другие садились, иные ходили взад-вперед и ели на ходу. Обслуживали столы гвардейские солдаты, одетые лакеями.

Василий Петрович сидел рядом с Потемкиным, так князь захотел. Перед светлейшим на тарелке лежала огромная редька под хрустальным колпаком. Григорий Александрович взял редьку, отрезал от нее толстый ломоть и стал жевать. Вслед за тем тут же хватает с блюда ананас, разрезает пополам и ест, запивая вином.

— У всякого свой вкус,— подмигивает он Василию Петровичу.

Пили все время за здоровье государыни. Когда же на дворе зажгли фейерверк с вензелем императрицы, князь вдруг нагнулся к Василию Петровичу, вином от него сильно пахло:

— Может ли быть человек счастливее меня? Все, чего я ни желал, все исполнялось, все мои прихоти. Будто каким очарованием. Хотел чинов — имею, орденов — сколько угодно. Любил играть — проигрывал суммы несчетные. Любил покупать дома — имею дворцы. Любил дорогие вещи — извольте, никто столько не имеет.

Тут князь схватил со стола тарелку и с силой ударил ее об пол. Потом встал и вышел из залы. Василий Петрович поспешил за ним. Догнал он князя во второй зале, где был зимний сад. Вокруг деревьев с плодами из цветного стекла — яблони, сливы, груши. Под ногами ананасы, дыни, арбузы тоже из стекла и с огнем внутри.

Посреди сада грот с фигурой Екатерины из белого мрамора в полный рост. Длинное римское одеяние, в одной руке скипетр, другая рука на раскрытой книге. Под ногами рог изобилия, из которого сыплются награды — ордена, деньги. На подножии надпись золотыми буквами из оды Василия Петровича: «Ты пишешь, как мудрец, и правишь ты, как царь».

Потемкин обнял Василия Петровича.

— Блаженный ты какой-то, ей-богу. Ты же ведь знаешь, как я тебя люблю. Ты из меня мудреца сделал, греческому учил, латыни. Нет у тебя ближе друга, чем я. Проси у меня, что хочешь! Я все могу! Все для тебя сделаю! Хочешь башмаки из Парижа? Сейчас гонца пошлю!

Василий Петрович взял руку князя.

— Мне не надо ничего. Мне достаточно твоей дружбы, князь.

— Помилуй, брат! Ты же стихотворец, любимец муз! Тебе нужен весь мир!

— Какой я стихотворец? Нарышкин прав. Поденщик я, ремесленник. Только и заботы — угодить заказчику. В точности — лакей: «Чего изволите?»

— Впрочем, погоди,— прервал его Потемкин.— Я тебя сейчас познакомлю. Двадцать лет, красавица, прелесть какая, можешь мне поверить. Ничего, что в два раза моложе, не обращай внимания!

Князь вернулся в первую залу, Василий Петрович за ним. После ужина была музыка. Императрица послушала немного, потом изволила отбыть к себе во дворец. А гости веселились до рассвета. Василий Петрович не отходил от стола и все подливал себе вино. Он думал, что князь Потемкин уже забыл про свое

обещание, нигде его не было видно. Как вдруг князь идет через залу и ведет за руку какую-то гостью.

— Знакомься. Варвара Васильевна, Варенька. Любит литературу, много читает. Сама пишет. Какой-то роман. «Заблуждение любви», так, кажется. Или что-то в этом роде. Державин стихи ей посвящает. Все возле нее. Один ты в стороне.

А Василий Петрович был уже сильно навеселе и бормотал что-то непонятное:

— Вы мое бессмертие, Варенька! Жизнь моя вечная! Только через вас, через вашу любовь обрету я память в потомстве!..

Даша слушает Славика, сама думает: «Слава тебе, Господи, что всего четыре дня у него было. Интересно, правда, на сколько бы его еще хватило?»

— Оставь ты его, Славик! — говорит она. — Кому теперь нужен какой-то старый стихотворец? Кто его помнит? Писал он себе, писал, да никто его читать не станет. Жил сам для себя, ну и слава Богу!

И отправилась стлать постель, укладываться на ночь. На следующий день Славик больше не возвращался к своим рассказам. И другие дни проходили спокойно, без воспоминаний. Даша радовалась, думала, что все позади, что Славик уже оставил свои истории, забыл. Как вдруг однажды в субботу убиравшись она в комнате, Славика дома не было. Подметает она и возле двери на полу находит письмо странное. Бумага ветхая, истерлась на сгибах, чернила выцвели, и почерк такой, каким сейчас не пишут, — буквы все ровные, круглые. Раскрыла Даша письмо и читает:

«Как вы провели ночь, мой ангел? Надеюсь покойнее, нежели я. Я не могла глаз сомкнуть. Теперь я перед вами вся и сама не знаю, почему мысль о вас — единственная, которая меня одушевляет».

Даша сначала не придавала письму никакого значения, мало ли у Славика каких бумаг. Только через неделю, в субботу, она находит там же, под дверью, новое письмо:

«Чтоб мне смысл иметь, когда ты со мной, — читает она, — надобно, чтоб я глаза закрыла. А то взор мой тобой пленяется. Глупые глаза мои уставятся на тебя. Рассуждения ни на копейку в ум не лезет, а одури Бог весть как. Мне надобно дня три с тобой не видеться, чтобы ум мой установился и я память нашла».

Даша собиралась спросить у Славика о письмах, но он последнее время стал часто уходить неизвестно куда, и она забыла. А через неделю, она как чувствовала, в субботу — новое письмо:

«Благодарю, жизнь моя, за стихи, которые всегда буду беречь. Ах, мой друг папа, как я этим стихам рада! Я заспалась, дурочка, и ничего не помню. Как ты ушел от меня, расцеловал, как обычно, укутал одеялом и, верно, перекрестил. Приду, сокровище мое, ручки твои целовать. Люблю тебя до бесконечности. Твоя Варенька».

Внизу приписка: «Смотрел меня доктор, душа моя. И не оставил никаких сомнений. Сказал: ждите, придет срок. А я все гадаю, что с ним будет, когда он родится. Обещай, жизнь моя, что ты не оставишь его».

Даша теперь уже твердо положила поговорить со Славиком и все у него выяснить. Но тут новое дело — Славик пропал куда-то. День его нет, другой, неделю. Даша сначала ждала его, ждала, а потом рукой махнула.

— И что я, дура, с ним нянчусь? Сама не знаю. Правильно мне говорят: пусть идет себе на все четыре стороны! Скатертью дорожка!

А еще через какое-то время встречает она на лестнице Агейкину с пятого этажа. Агейкина сразу к ней:

— Что я тебе скажу, Дарья! Видела я твоего Славика! Он с моей свекровью в одном доме живет. Дамочка с ним какая-то. Зовут Варенька. Кто она и откуда взялась — никто не знает. Говорят, приезжая, квартиру купила. Свекровь говорит: странная какая-то, гордая очень. Ни с кем не разговаривает, ни к кому не ходит. А Славик твой так возле нее и вертится.

— Подумаешь! — говорит Даша. — Очень он мне нужен! Я уж и забыла про него!

На другой день стала она наводить в комнате порядок, видит — на шкафу письма лежат. Повертела в руках, повертела да и выбросила. Зачем, думает, в доме всякий хлам? Новых писем она больше не находила.



Александр ЯКОВЛЕВ

О, Сахалин...

«И зачем я сюда поехал?»

В июне нынешнего года я встретил сахалинца, недавно перебравшегося с острова к нам, на материк, поближе к Москве. Среди прочих вопросов задал я и привычно-праздничный: сколько стоит билет на самолет из Москвы до Южно-Сахалинска? Удовлетворенное любопытство обернулось горестным выводом: я вряд ли вновь окажусь в тех далеких краях. Воспоминания только того и ждали. Набросились. Раньше я не позволял им подобных бесчинств. Просто боялся вспугнуть, слезить возможность еще раз побывать там, где провел три года жизни. Вдали от Москвы. Неужели целых три?..

Москва 1986 года ничего не предлагала выпускнику Литинститута. Сахалин же... О, Сахалин манил примером Чехова и подъемными. Нешуточной по тем временам суммой в 250 рублей.

Однако капитал оказался ничтожным в сравнении с огромностью страны нашей, простукиваемой поездными колесами. Деньги оказались на исходе уже в Иркутске. Благо и попутчик до этого славного города оказался достойный — поэт Толя Богатых. Антиалкогольное законодательство и ночные посиделки на Байкале окончательно подорвали мое незыблемое, казалось бы, финансовое могущество. Дальнейший путь — Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Ванино — запомнился величием Амура и тягостными раздумьями о хлебе насущном.

В легендарном Ванине заканчивался материк. В Ванине железная дорога упиралась в конец причала. Далее грузовые вагоны закатывались в трюмы паромов «Сахалин». А пассажиры через бдительный пограничный контроль направлялись на те же паромы, но только в каюты.

«Сахалинов» тогда насчитывалось на линии Ванино — Холмск целых шесть штук. Я угодил на «Сахалин-2».

Обосновавшись на верхней палубе и с неким волнением оглядываясь, я вдруг образил — обратной дороги нет. Хотя бы по причине отсутствия средств. На отлогих ванинских сопках нестройно толпились разнокалиберные строения. Выглядели они негостеприимно и неряшливо. Прошрое проступало из стен приземистых серых бараков, угрюмо окопавшихся на берегу.

Впереди вправо, за широкой бухтой, открывался выход в Татарский пролив. Морская капуста умопомрачительно пахла йодом и дальними странствиями. Оранжевое августовское солнце уходило на оставленный мною Запад. Паром отдавал концы и вслед за мощным буксиром отходил от причала...

Проворные маленькие ручонки неожиданно вцепились в поручни по соседству. Мальчуган лет семи опытным взглядом сразу же определил во мне новичка.

— Как ты думаешь, море соленое? — задал он вопрос на засыпку.

— Конечно, — с легкостью недавнего студента ответил я.

— А кто его посолил? — усложнил задание мой экзаменатор.

— Ну... Видишь ли... — начал я тянуть время.

В самом деле, не заводить же бодягу о химическом составе земной коры и лежащего сверху Мирового океана. И я наконец брякнул:

— А посолили его слезами своими многие бедолаги.

— Вот и нет! — торжествующе выпалил мальчуган, ждавший ошибки. — Никто его не солил. Оно всегда соленое... А кто такие бедолаги?

— Те, кто не по своей воле в этих краях оказался,— снова сумничал я.

Парень оглядел «эти края», явно не ощущая себя бедолагой.

— Я, когда вырасту, моряком буду,— на всякий случай предупредил он. И скрылся в недрах парома.

Буксир давно уже отвалил в сторону причала. Судно набирало ход. Бухта раздвигалась, все дальше разнося берега свои. Ветер свежел, становился более упругим и как-то ухитрялся налетать со всех сторон сразу. И, как только скрылась из виду земля, паром тут же погрузился в туман. Или туман быстро и окончательно поглотил сушу? Поглотил и сушу, и море. Ничего не осталось, кроме тумана да ревущего тревожно и предупреждающе парома. За туманом в восьми часах пути лежал остров, о котором я почти ничего еще не знал.

Я спустился в каюту третьего класса. И там в откидном кресле забылся. Лишь изредка просыпаясь от пронзительных детских вскриков, похожих на возгласы чаек.

«И зачем я сюда поехал? — спрашивал я себя, и мое путешествие представлялось мне крайне легкомысленным» (А. П. Чехов, «Остров Сахалин»).

Итак, сахалинский паром. Это явление сразу не осознать. Мне, человеку крайне континентальному и глубоко сухопутному, паром всегда представлялся предметом неколебимо простым, даже патриархально примитивным. Никак на мореходное средство не походящим. Так, нечто деревянное. Большой плот. На котором некий старичок, дымя самокруткой, налегает на... хм... рычаг. И этот самый плот, то бишь паром, по канату курсирует поперек реки. Туда и обратно. От берега к берегу. Изо дня в день. В общем, дело однообразное, как течение реки. Летают над водой стрелкозы, рыбешка играет, визжит поросенок в корзине, лугают бабы семечки, о прошлом судачат, настоящее кланут... Картина понятная.

Сахалинский паром оказался громадиной с семиэтажку высотой. В недрах его запросто заблудишься. А брюхо разом заглатывает железнодорожный состав.

«Итак, Резанов и Хвостов первые признали, что Южный Сахалин принадлежит японцам» (А. П. Чехов, «Остров Сахалин»).

После того как вагоны оказываются в трюме, их материковая судьба претерпевает изменения. Железнодорожная колея на Сахалине проложена японцами. У миниатюрных японцев и колея поуже нашей, российской. По прибытии в Холмск вагонам меняют колесные пары. И перестук на стрелках здесь, на Сахалине, обретает японский ритм — ритм утонченный и таинственный. Это в Сибири поезд куражливо выстукивает: «Эй, раздолье, так твою в разэдак!», а на Сахалине говор колес невнятен для русского уха. Да и глаз в пlyingущие с юга облака всматривается с недоумением. Оттуда, с японско-корейского юга, облако идет особенное, формы восточной, сказочной, рисованной тонко, словно взлетевшее с ширмы, где остались тоскующие драконы. Облако с четко очерченным силуэтом, с конкретной остроконечной завитушкой, отчетливое и ощутимое, как свежеиспеченное безе. Материковое облако, рыхлое и ленивое, как затрепанное ватное одеяло, сюда заходить не любит, да и не жалуют его ветры морские, резкие, с характером.

«Извольте работать без солнца» (А. П. Чехов, «Остров Сахалин»).

Корейские облака и оранжевое августовское солнце, падавшее куда-то за Тартарский пролив в район Владивостока, завораживали. Я стоял на балконе гостиницы для моряков и не мог взять в толк, за что в этом блаженном краю платят северные надбавки.

Теплый вечер ласково опускался на бархатистые от зарослей бамбука сопки. По искрящейся легкой зыби пролива плавно шествовало на юг далекое и такое хрупкое на вид судно. Зеркальную гладь акватории порта взрезал неторопливый и неутомный буксир. За что же, за что оклады живущих тут умножались на коэффициент 1,4 (а для моряков на 1,6), к которому каждый год добавлялась еще одна десятая?

«Это еще что,— скорбно вздыхали старожилы.— Раньше у нас вообще коэффициент был два. Да приехал один деятель...»

Деятель принадлежал к самой верхушке партийной власти. Оказавшись на Сахалине в разгар бархатного сезона, что тянется с конца июля по начало октября, чиновник не на шутку задумался. За что платят надбавки? Он интересовался конкретно. За отсутствие солнца, конкретно пояснили ему. То есть человек живет в жутких условиях, копит целый год денежку, которую затем благополучно и просаживает на югах, набираясь солнца и витаминов для дальнейшей жизни в жутких условиях. Чи-

новник хмуро оглядел залитые яркими лучами широкие проспекты Южно-Сахалинска, окунул палец в теплые прибрежные воды и разгневанно распорядился урезать льготы. И осталось старожилам вспоминать былой шелест банкнот да чесать в затылке.

А солнце... Что ж, солнце здесь действительно яркое и теплое. С конца июля по начало октября. В остальное же время — тот самый ветер, что не пускает сюда облака российские. И этот ветер сбивает над островом корейско-японскую хмарь. И дует с воем неделями напролет, выматывая душу. Неделями живешь под серым небом среди серых домов и лиц.

«И высокие седые волны бьются о песок, как бы желая сказать в отчаянии: “Боже, зачем ты нас создал?”» (А. П. Чехов, «Остров Сахалин»).

У приезжавших в ту пору на Сахалин юных жен не менее юных мореходов вид был довольно надменный. Они твердо знали: эту дыру они потерпят в лучшем случае года три-четыре. За намеченный срок мужу вменялось в обязанность: как можно чаще ходить в заграничье и как можно больше зарабатывать валюты. Твердую японскую йену. К тому же новоиспеченному мореходу и жилплощадь обещали... Обещали...

А мореход первым делом напрямик попадал в каботажное плавание. То есть возил уголь на Курилы или тушенку в солнечный Магадан. На пароходе типа «Шатура», о котором сказано коротко и емко: «То ли спяну, то ли сдуру угодил я на “Шатуру”». Это проржавевшее корыто, уже лет десять вымаливающее списание «на гвозди», скорбно продолжало длить свою морскую жизнь вопреки всем законам безопасности и плавучести. Палубная команда до одури орудовала шкрябками, стервенился боцман-«дракон», не вылезали из машины механики-«маслопупы», но... Старость неотвратима, и старость судна в том числе.

В короткие и долгожданные дни списания на отдых моряк заставлял красавицу жену в перенаселенном общежитии. Здесь общие кухня, душевая и туалет сплывали товаров по несчастью. Они по инерции хорохорились и язвили мужей. Но теперь их преследовала лишь одна мысль — получить отдельное жилье. Хоть какое. Тем более что и дети как-то внезапно появлялись после кратких визитов мужей, истосковавшихся в море по теплу любимых рук.

И лишь к концу намеченного трехлетнего срока начинал проглядывать некий светлый блик впереди. Моряк наконец-то попадал на судно, идущее в заграничье. Пусть это и Северная Корея. Но уже пахивало валютой. Да и очередь на жилье худо-бедно двигалась. Правда, дома из каменистой почвы острова рождались с большой натугой и дороговизной.

Так миновало лет десять. Заматеревший морской волк уже по праву ходит на добротном судне в Японию. Некогда тосковавшая по материку матрона, в которой трудно узнать юную хрупкую и надменную красавицу, в окружении трех ребятишек с наслаждением копается на дачном участке. И лишь изредка, оторвавшись от прополки грядки и глянув в низкое, серое небо, вспоминает о теплом Севастополе... Да что вспоминать, душу бередить... Вон уж и дочь старшая скоро совсем невестой станет. Пора ее на материк отправлять в институт...

«...женщина, в первое время по прибытии на Сахалин, имеет ошеломленный вид» (А. П. Чехов, «Остров Сахалин»).

Новичку на Сахалине перво-наперво радостно сообщают чеховское: «Климата здесь нет, а есть дурная погода».

И вот заканчивается благословенный теплый октябрь. В сопках буйствуют чудовищные лопухи и дикая, именно дикая по размерам гречиха. Желтеет атласный бамбук, краснеет ядовитый борец. И на все это великолепие наступает зима. Наступает, как и на материке. Таким же ранним серым утром просыпается остров, зябко пожевываясь под первым снегом, из которого еще торчат жесткие ребра разбитых застывших дорог.

Надо сказать, что зиму ждут. Ребятя с восторгом. Взрослые — с любопытством и откровенным страхом. Любопытствующие, а их большинство, гадают: что на этот раз? Запуганные местные власти уверены: ничего хорошего ждать не придется.

И зима ничьих ожиданий не обманывает. С непредсказуемой и пугающей быстротой проносятся над островом тайфуны с могучими снежными зарядями. Первый несмелый снежок давно в прошлом. Остров по горло, до тошноты в снегу. Ворона, летом снисходительно восседавшая на светофоре, теперь не рискует садиться на этот наблюдательный пункт. Запросто потоптать могут. Трехглазая железяка на пере-

крестке нынче безумно светит лишь верхним, красным. Остальное — под снегом. Страшится пернатая циклопического кошмара.

А снег продолжает свое буйство. Провода и опоры не выдерживают мягкой тяжести. И остров погружается во тьму.

Итак, ребятня дождалась длительных и запланированных лишь Господом каникул. И что ей свет? Днем светло, а ночью сладко спится. Взрослые бегают по магазинам в поисках керосинок и свечей. Русский человек, как всегда, не готов к приступу стихии. Да, известно, что грянет... Известно, что не будет света и воды... Но авось... В темных домах робкими, неверными огоньками горят свечи. На лестничных площадках гудят керогазы. Откроешь крышку кастрюли — там пар и темнота. Наугад бросаешь содержимое пакета, соль и лаврушку. А выходит все равно вкусно — другого-то блюда нет. И долгими вечерами тянется под рюмку долгий разговор...

А по извилистым и крутым дорогам среди сопок натужно ползут водовозки. Плещется вода, леденеет дорога. Посыпают ее угольной крошкой, что в избытке производится многочисленными мелкими котельнями. И летом, после того как с наводнением сойдут снега и осушат остров неугомонные ветра, полетит по улицам угольная пыль, все собой забывая.

Но это летом... А пока посреди Тихого океана лежит большая темная рыба стерлядь, остров Сахалин.

«Сравнение Сахалина со стерлядью особенно годится для его южной части...» (А. П. Чехов, «Остров Сахалин»).

«Каторжных работ для женщин на острове нет», — утверждал Чехов. И это верно. Для женщин вообще нет никакой работы. Та самая юная жена моряка, о которой мы сочувственно уже упоминали, не пойдет на рыбоконсервный завод. Это удел местных или пожилых женщин. Приехавшая же с мужем имеет, как правило, некое абстрактное и здорово не законченное высшее образование. Чаще всего гуманитарное. Для начала обладательница этого богатого багажа храбро идет в местный Дом культуры моряков. И для начала предлагает себя в качестве руководителя этого самого Дома. Но место давно и прочно занято. А может быть, вам нужны руководители кружков? Например, чтения вслух? Увы, все подобные синекуры давно обрели своих хозяек. Но... но куда же? Может быть, библиотекарем? Мечты, мечты... Ну хотя бы нянкой в детский сад, уж так и быть, не стану привередничать... Нет и нет. Все немногочисленные должности, предлагаемые дамам колониальной администрацией, заняты. Секретарши, машинистки, телефонистки и делопроизводители, кажется, родились в своих креслах и скорее всего в них же и умрут, нежели освободят их.

Тоскливо девушкам. Раз в месяц или два гастролирует в Доме культуре материковая знаменитость, завлеченная на остров экзотикой и повышенным гонораром. Раз в месяц наряжаются девушки. А потом опять: общежитие, склоки на кухне и... ветер, неустанно воющий ветер.

Незамужним проще. Они всегда готовы к восприятию проносящейся над городом вести: «Сегодня рыбный день!». Но это не то, что вы думаете. Просто с путины возвращается очередной рыболовный сейнер. А рыбаки — народ богатый. В трех местных ресторанчиках идет гульба нешуточная. С визгом дам и звоном стекол. Но и эта забава временна. Пожелтевшие и помятые рыбаки вновь уходят в море восстанавливать подорванное финансовое благосостояние. А девушки остаются. Мечтать о замужестве.

«...Здесь решительно все равно — среда сегодня или четверг...» (А. П. Чехов, «Остров Сахалин»).

Так зачем же я сюда поехал? Наверное, затем, чтобы, вернувшись, вспоминать, вспоминать и вспоминать. И спустя годы ощущать со вторичной новизной далекий Остров.

Опальный дракон и мелкий собственник

Все это не шибко историческое событие происходит на Сахалине, в приморском городке, прикрытом от зимних морозов теплым дыханием Татарского пролива. Происходит после лихого снежного заряда, когда ветер еще мечется потерянно

между домами, а собаки, привычно пользуясь моментом, усаживаются аккуратно на перекрестках и мокрыми носами с наслаждением отлавливают проносящиеся вдоль длинных прибрежных улиц запахи. С севера благоухает рыбоконсервный завод, с юга — целлюлозно-бумажный. Благодать!

Боцман Черкашин, идущий из бани, одет соответственно — надежно укутан — и ничего не подозревает. Он идет мимо снежной горы, где дети играют в различных взрослых, шествует не торопясь, поднимаясь по недлинному трапику к стандартному четырехэтажному дому, краска на котором съедается солеными ветрами за месяц. Боцману в помытом состоянии уютно размышляется о сытном обеде в буфете морвокзала, о койке с чистыми простынями, пусть и в переполненном общежитии, о своем пароходе, штормующем сейчас где-то в районе мыса Крильон.

Вот тут-то боцмана и подстерегают.

Невеликий такой пацан, лет пяти-шести, догоняет Черкашина и плюхается разомлевшему боцману под ноги.

— Аккуратнее, брат,— говорит боцман, поднимая пацана,— так и уши оттопчут.

И следует себе дальше, добавив к мыслям о сытном обеде, общежитии, штормующем пароходе и мысль о занятных пацанах.

Но боцмана продолжают подстерегать. Тот же пацан. С тем же плюханьем под ноги. Черкашин озадачен. И потому спрашивает не очень уверенно:

— Тебе чего... надо чего?

— Не чего, а кого. Отца ему надо,— слышится женский голос.

Пока моряк определяется со стороной света, хлопает подъездная дверь и на крыльце четырехэтажного дома появляется женщина. В халатике, прихваченном одной рукой на груди, другой — у подола. В тапочках на босу ногу. Женщина не крашена, и Черкашин не может определить — симпатичная она или нет.

— Отца ему надо,— говорит женщина.— Пристал как с ножом к горлу. Вынь да положи ему отца. И не волнует его, что мне, например, мужа не надо. То есть муж мне — во,— показывает женщина, на мгновение отпустив халатик на груди.— Вот они мне где, мужики-то. Знаю я вашего брата! — И стремительно запахивает халатик, успев что-то там такое боцману продемонстрировать соответственно моменту.— И что вот тут делать? — напористо спрашивает она.

Черкашин мрачно молчит, продолжая машинально отряхивать притихшего пацана. Но притихшего ненадолго.

— Ну и будь моим папкой. Чего тебе? — спрашивает пацан снизу, продолжая гнать ведомую только ему линию.

— А вы, собственно, кто будете по профессии? — деловито интересуется женщина.

Черкашин лаконично отвечает.

— А-а, дракон,— бесстрастно проявляет женщина знание морского сленга и, нахмурившись, смотрит на сына.— Пойдем обедать, что ли, мелкий собственник?

Ветер стихает. Собаки разбегаются по своим делам, руководствуясь пойманными и оцененными запахами.

А Черкашин продолжает прерванный поход из бани, добавляя к мыслям о сытном обеде, общежитии, штормующем пароходе, занятных пацанах и мысль о женщинах без мужей, которым эти самые мужья — вот где... Сам-то боцман уже дважды разведен: работа такая, все в море, какое там. Но вот только начинает Черкашину казаться, что последний развод пережил он именно с этой женщиной, судя по халату, по тому, как он распахивается. Так что хватит с меня, думает боцман.

Такая рассудительная девочка

Батька ее как-то уж совсем неожиданно стремительно напился. Интеллигент на Сахалине — явление малораспространенное и слабо изученное. А потому непредсказуемое. Поэт Володя Лосев не являлся исключением. Приглашая меня в свой Невельск, он клятвенно обещал стихов не читать. В программе визита был осмотр местной дивной достопримечательности — сивучей. И пиво на берегу Татарского пролива. Но поэт начал с пива. И очень активно. И мы с Асей остались один на один.

Она сделала обход отцова тела.

— Ну, теперь тебя бесполезно воспитывать. А вообще-то стоило бы. И не думай возражать. Я же не возражаю, когда ты меня воспитываешь, когда трезвый. Хоть и не всегда правильно воспитываешь, я же молчу.

Она похаживала по комнате, заложив руки за спину, и так складно излагала, что я прямо заслушался. И тогда она взялась за меня:

— Ну а ты что смотришь? Тоже ведь выпил. А ведь сам сивучей приехал смотреть, а сам выпил. Ну что мне с вами делать?

Она с минуту маршировала молча, иногда изредка поглядывая на свое отражение в зеркальной дверце книжного шкафа.

— Значит, так, — сказала она, остановившись и критически осмотрев спящего отца. — Пойдем смотреть сивучей. Я иду переодеваться. В мою комнату не входить.

И ушла к себе, закрыв плотно за собой дверь. А лет ей в ту пору было что-то около шести.

Но из подъезда мы вышли солидной парой. Ася прихватила сумочку, очень симпатичную дамскую сумочку, позаимствованную, очевидно, из гардероба матери.

— Познакомься с моими подругами, — сказала она, подведя меня к песочнице, где возилась малышня. — Лена, Катя, Таня.

— Здравствуйте, Лена, Катя, Таня, — сказал я.

Лена, Катя, Таня зашмыгали носами и засмутились.

— Ну играйте, девочки, — сказала Ася. — А нам некогда. Мы идем смотреть сивучей. Давай руку.

Я послушно подал руку, и мы пошли.

Мы пошли по весеннему грязному Невельску среди сопок, пошли к морю, туда, где на старый, разрушенный, оставшийся еще от японцев брекватер каждую весну зачем-то приходят ненадолго сивучи. Они видны с берега темными, плавно покачивающимися силуэтами, их много, они похожи на встревоженных, сбившихся в стадо коров. Над городком, перекрывая шум автомобилей, стоит их натужный рев. Желющие посмотреть сивучей поближе садятся на пароходик и подходят к брекватеру, но не очень близко, чтобы не спугнуть сивучей, а то они никогда больше не придут сюда, и это будет большая потеря для людей и для науки, которая до сих пор не знает, зачем сивучи приходят сюда каждую весну...

Ася жутко расстроилась, вымазав свои нарядные сапожки. Она даже расплакалась. Я пытался вымыть ей обувку морской водой, но, кажется, вдобавок намочил ей ноги. Она разрыдалась. Я отошел в сторону, не зная, что делать, и закурил. И, пока я курил, она плакала. Плакала беззвучно, не очень-то красиво кривя рот и прижимая к груди сумочку обеими руками. С моря тянул свежий, полный запахов морской капусты и рыбы ветер. Солнце рассыпалось по волнам.

Ася открыла сумочку и, всхлипывая, достала маленький желтенький бинокль. Бинокль был игрушечный, ни черта он не приближал, даже еще хуже было видно. Но мы по очереди смотрели в него на сивучей, и я ощущал на веках влагу ее слез, впрочем, почти уже высохших.

Мы еще побродили по берегу, собирая ракушки для игры в крепость. Ася здорово рассказывала про крепость, которую мы сложим из ракушек. И еще рассказала пару мультиков. Она с утра до ночи смотрит телевизор, потому что не ходит в детский сад, потому что родители ничего не успевают, а вот отвели бы в детский сад и успевали, но им же некогда отвести...

— Ну вот, я замерзла и, наверное, простужусь. Догулялись, — сказала она осуждающе.

И мы пошли домой, а лапа у нее действительно была холоднющая, а варежки мы не взяли. И я попеременно грел ее ладони в своих.

А батька ее уже перебрался из кресла, где мы его недвижным оставили, на диван. Но все равно спал, а рядом стояла пустая бутылка из-под пива, хотя, где он взял ее, ума не приложу — я ведь перед уходом заглядывал в холодильник, пусто там было.

Ася ушла переодеваться, не забыв закрыть за собой дверь в комнату. Вскоре вернулась и развесила на батарее промокшее бельишко. Мы немного поиграли в крепость из ракушек. Потом Ася стала ходить по комнате, раскачиваясь, как сивуч, и подражая их реву. Весьма похоже подражая. И даже поревела по-сивучьи на ухо от-

цу. Тот повернулся к стене и продолжал спать. Тогда Ася тихонько потянула его за ухо и строго сказала:

— Мы еще слушаемся твоего молчания.

До потолка и обратно

После долгого, долгого, долгого (черт! да когда же оно кончится?!) плавания мнилось моряку: полумрак комнаты, накрытый столик, негромкая музыка... Чего бы еще? Ладно, остальное потом. Главное — дошли.

У нее была безобидная, почти никого не раздражавшая привычка. Она очень не любила мух. Прямо ненавидела. И при первой же возможности колотила их по головам свернутой в трубочку газетой. И сейчас, когда все вышперечисленное сбылось (полумрак и проч.), моряку все еще мнилось: она, оттолкнувшись сильной, стройной ногой, взлетает вверх, паря и победоносно нанося удары, затем медленно, грациозно опускается, колоколом раздувая юбку и открывая нескромному взгляду...

Она неловко, по-бабьи занесла руку за плечо, чуть подпрыгнула (наблюдался небольшой зазор между ступней и полом) и бросила страшное орудие свое вверх. И хотя потолок невысокие, касания моряк не зафиксировал. Более верным оказался глазер от мухи — та даже не дернулась на призыв инстинкта самосохранения.

Пока хозяйка, яростная и негодующая, выходила в прихожую поправить прическу, моряк с большой досадой выпил: разве ж так в цель бросают?

В Татарском проливе

С точки зрения сахалинского парома все реки и моря мира впадают в Татарский пролив. С точки зрения парома Татарский пролив разделяет две главных части света — Холмск и Ванино. По совокупности этих воззрений паром вправе считать себя и считает фигурой масштаба вселенского по меньшей мере.

Вот тут-то и забавно понаблюдать за ним, когда он, набив грузовой трюм вагонами, сонно скашивает иллюминаторы в причальные воды, посматривая равнодушно на суетящихся чаек и ожидая отхода. Пассажиры и команда спуют по нему назойливыми насекомыми; так бы и почесал в затылке, да нечем.

Вот появляется буксир «Монерон».

«Наконец-то, — думает паром. — Ползет, делает одолжение. Откровенно говоря, я бы и без тебя управился. Но не все же одному вкалывать, должна же быть хоть какая-то справедливость».

У «Монерона» на этот счет имеются свои, не менее веские соображения. Примерно такого рода: «Бездельник, обжора и щеголь, — думает тот. — Подумаешь, эка важность. Будто в кругосветное путешествие отправляется. А всего и дел-то — из порта в порт, как маятник... Нет, ты покрутись в порту, как я. Так взопреешь, родного шкипера не узнаешь...».

И «Монерон», сердито пыхтя, нарочно разворачивается под самым носом у парома, чуть задевая его кранцами — автомобильными крышками, которыми заботливо прикрыты его борта. Паром, делая вид, что не замечает этого недомерка, терпеливо ждет, когда примут буксировочный трос, пока зазвучат команды.

Но вот наконец нос парома медленно начинает отходить от причальной стенки, а клинообразная полоса воды усилиями «Монерона» становится все шире. Медленно разворачиваются вправо остающийся берег и город на нем, облепивший сопки домами, салютующими парому знаменным размахиванием сохнувшего на балконах белья.

«Монерон» тащит и тащит свой груз к воротам порта и, кажется, вот-вот забудется, да так и пойдет впереди парома до самого Ванина. Но вовремя что-то вспоминает, какие-то свои дела неотложные, смущенно вздыхает, отдает трос и отваливает в сторону.

Паром дальше идет уже своим ходом, оставляя за кормой брекватер, створ портовых ворот, «Монерон» и тихую портовую акваторию. Нехотя и вскользь бросает он «Монерону» облачко дыма из трубы, как снисходительное «Пока...», и, набирая ход, идет в открытые воды.

На ходу он действительно ладен, этакий напористый утюжок. Без особых усилий разгоняет небольшие пока сентябрьские волны, шутя нахлобучивая им на макушки пенные шапки.

Денек славный, солнечный. Море самого веселого своего, бирюзового, цвета. И лишь там, где падает и бежит тень от бортов и надстроек парома, воды фиолетовы и кажутся глубин и холодов необыкновенных...



ОКТАБРЬ-99

Есть литература, которая останавливается на обобщенных понятиях жизни, и есть литература, которая вторгается непосредственно в текущие события, объясняет и оценивает их. На слонах общественной жизни *моментальная* литература обретает особую значимость. В ней правомерны и роман, и повесть, и рассказ, но главным жанром этой литературы является очерк. Не журналистский, скороспелый, нет, мы говорим о художественном очерке. В следующем году с такими очерками на страницах нашего журнала выступят лучшие писательские силы отечественной и зарубежной словесности.

В новой рубрике «СЕВЕРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» мы намерены совершить путешествие по российскому Северу, который, кстати сказать, охватывает немалую часть страны. Мы привычно делим нашу территорию на столицу и окраину. Такое деление правомерно, так как окраины остаются в политическом, экономическом и духовном плане в забвении. «Октябрь» и раньше пытался эту несправедливость исправить, хотя бы в сфере духовной. Не всегда это удавалось, но мы, понимая всю трудность задачи, вновь хотим вернуться к этому болевому вопросу и надеемся, что после поездок наших авторов в журнале появятся остропроблемные полотна.

Этим летом на Кольском полуострове в творческой командировке от журнала побывал писатель Петр Алешковский. Он готовит очерк об этом удивительном крае. Его очерком и откроется эта рубрика.

Воспоминания, документы

С. А. ТОЛСТАЯ

М О Я Ж И З Н Ь

Работу над записками, получившими название «Моя жизнь», С. А. Толстая начинает 24 февраля 1904 года и на протяжении десяти с лишним лет вновь и вновь возвращается к ней. Огромный труд — несколько тысяч листов машинописного текста — охватывает более полувека: с 1844 года (рождение Софьи Андреевны) по 1901-й. О последних девяти годах жизни с Л. Н. Толстым и еще о девяти годах собственной жизни (Софья Андреевна умерла в ноябре 1919-го) написать ей было не суждено.

«Моя жизнь» и поныне полностью не опубликована. Для печати выбирались главы и отрывки, речь в которых — о наиболее серьезных событиях личной и творческой жизни Л. Н. Толстого, важнейших семейных событиях. Это изменяет ритм повествования, а вместе изменяет ритм воспроизводимой в нем жизни, тот самый «черед», те «колебания» ее, в которых сопрягаются и равно дороги Софье Андреевне большое и незначительное, рождения, смерти и будничные происшествия, новый замысел Толстого, горестная замета ее сердца, интересная встреча и вовсе какая-нибудь малая подробность, вроде самостоятельно заказанного Львом Николаевичем обеда. Поэтому есть особый смысл в том, что главы, с которыми нам предстоит познакомиться, даны целиком, без изъятий.

Когда начинается работа над записками, Толстой тоже увлеченно занят своими «Воспоминаниями». Он желал бы рассмотреть свою жизнь «с точки зрения добра и зла», рассказать о ней «всю настоящую правду». Во «Введении» он приводит одно из любимейших своих пушкинских творений «Когда для смертного умолкнет шумный день». Ему только хочется изменить последний стих: вместо «строк печальных не смываю» поставить «строк постыдных».

Во «Вступлении» к «Моей жизни» С. А. Толстая тоже обозначает цель предпринятого труда: «Всякая жизнь интересна, а может быть, и моя когда-нибудь заинтересует кого-нибудь из тех, кто захочет узнать, что за существо была та женщина, которую угодно было Богу и судьбе поставить рядом с жизнью гениального и многосложного графа Льва Николаевича Толстого». Ей необходимо также развеять «разные недоразумения, неверные сведения по поводу моего характера, моей жизни и многого, касающегося меня», — здесь явно ощущима завязка на полемику.

«Все в наших пониманиях жизни было прямо противоположно: и образ жизни, и отношения к людям, и средства к жизни», — пишет Толстой жене в последнее свое лето 1910 года. «Последние 10 лет были самые ужасные!» — замечает С. А. Толстая о своей семейной жизни. Не упустим это произвольно вырвавшееся «самые»: «ужасное» для Софьи Андреевны — кажущееся ей болезненным заблуждением, неискренностью, умозрением, жаждой славы, «ужас» этот являет себя в «надрезах» отношений и болезненных рубцах с первых же дней их совместной жизни, сопутствует их семейному счастью, вступает с ним в борьбу, в конечном счете разрушает поначалу побеждавшую все же гармонию. «Мое — это старое, счастливое, пережитое, несомненно, хорошо, и весело, и любовно, и дружно. Его — это новое, вечно мучающее, тянущее всех за душу, удивляющее и тяжело поражающее... Нет, в этот ужас меня не заманишь», — ставит все по местам Софья Андреевна еще в начале 80-х годов, за два десятилетия до того, как берется за «Мою жизнь».

В дневниках Софьи Андреевны ощутимо стремление «развенчать» (ее слово) своего великого мужа (при всей любви к нему и, более того, именно в силу этой любви). Вот и в дневнике за 1900 год (в последние два месяца года Софья Андреевна вопреки собственному свидетельству дневник вела) встречаем и презрительное замечание «о блузе и принципах», и осуждение «убийственной манеры» Льва Николаевича упорно и холодно молчать, и саркастическую подробность — пока он рассуждает о беззастенчивых действиях европейских властей (его суждение Софья Андреевна повторяет и в записках), она готовит для него «клизтир с касторовым маслом и желтком» (что в записки уже не попадет). В свой дневник этого же года Толстой заносит с горечью: «Странное мое положение в семье. Они, может быть, и любят меня, но я им не нужен, скорее епкотбрант (помеха.— Ред.); если нужен, то нужен, как всем. А им в семье меньше других видно, чем я нужен всем». Мотив «развенчания» Толстого находим и в записках Софьи Андреевны.

В настоящую публикацию вошли три года: 1864-й, 1865-й и 1900-й. История создания записок об этих годах имеет свои особенности: о первых двух написано еще в 1906 году, при жизни Л. Н. Толстого, которому Софья Андреевна показывала свои записки, и, может быть, они вместе вспоминали далекое «старое, счастливое», что, несомненно, относится к 1864-му и 1865 годам. 1900 год писался после смерти Толстого; он был начат и завершен в марте 1916 года.

Правда, еще в середине февраля, только что покончив с «1899-м» («бедно вышло событиями и мыслями»), Софья Андреевна принимается подбирать материалы для следующей главы, но известие о болезни сына Андрея зовет ее в Петроград. 39-летний Андрей Львович — седьмой ребенок (из тринадцати ею рожденных), которого она переживет, первый, которого хоронит после смерти Льва Николаевича. «Милый, хотя и плохо живший», «закрывающий на все разумное глаза, легкомысленный, но ласковый» (пишет о сыне — живом — Софья Андреевна), Андрей Львович и образом жизни своим, и образом мыслей приносил немало огорчений родителям, нередко бывал им решительно чужд, особенно отцу («Ужасно видеть 16 нагруженных подвод», — помета в дневнике Л. Н. Толстого как раз за 1900 год по поводу переезда Андрея из Ясной Поляны в собственное имение). Теперь некоторые страницы «1900 года», возникающего тотчас после приезда С. А. Толстой из Петрограда, с похорон сына, оборачиваются своеобразным некрологом Андрею Львовичу: память замешана на свежей боли.

А на пороге год 1917-й. Софье Андреевне еще предстоит доживать в яснополянском доме, освещенном единственной керосиновой лампой, подбирать, заботясь о пропитании, оставшийся на полях картофель, радоваться темным макаронам и цикорному кофе, схваченным в «потребилловке» (она и такое слово освоит). Прошлое, свято оберегаемое в думах, душе, памяти, сопрягается с острым, встревоженным, бесстрашным — истинно толстовским интересом к взвихренному настоящему. Среди братоубийства, которое, страшась его, провидел Толстой, ей удастся сохранить истинно толстовскую непредвзятость, мудрую неспособность делить убивающих друг друга на своих и чужих...

В. И. ПОРУДОМИНСКИЙ

1864 год

Комедия «Зараженное семейство», или «Нигилист»

В зиму 1863/1864 года Льву Николаевичу вдруг вздумалось написать комедию. Сюжет ее был в том, что *нигилист** (в то время явление новое и модное), студент, отрицающий все, атеист и материалист, приехал в деревню к помещикам учителем их сына и заразил всю семью этим отрицанием — нигилизмом, как гово-

* Выделено здесь и далее С. А. Толстой.— Ред.

рили в то время. Называлась эта комедия: «Зараженное семейство». Написана она была скоро, смешно и мало обработана, почему и не появилась никогда ни в печати, ни на сцене.

Нигилизм Лев Николаевич осуждал и осмеивал, вообще считая это вредным для молодежи.

Написав эту комедию, Лев Николаевич начал спешить в Москву ее ставить. Отец¹ очень интересовался этой комедией, верил, что она будет так же хороша, как и другие произведения Льва Николаевича, и, между прочим, пишет мне:

«Я всегда был и пребуду поклонником литераторов, сочинителей музыки и всех артистов; в них я вижу «un feu sacré»*, который всегда меня согревал».

И действительно, отец мой страстно любил музыку, в молодости пел, увлекался Malibran, Viardot и другими; был особенно впечатлителен и горяч к явлениям в мире искусства и природы, много читал, любил литературу всех народностей.

Упомянув имя M-me Viardot-Garcia, не могу не написать и моего воспоминания о ней. Когда я еще была очень мала, лет семи, вероятно, отец по просьбе M-me Viardot, приехавшей тогда в Москву, привез к ней нас, двух девочек, Лизу² и меня. Мы подождали ее в зале, и вдруг дверь отворилась очень быстро, и большими шагами, с длинными, висящими книзу обеими руками, вошла высокая брюнетка с очень выпуклыми черными глазами и висящим подбородком. Она сказала по-французски, пропев руладу, что у нее болит горло и потому она не может «chanter pour ces petites»**. Дала нам конфет, посадила меня на колена и нежно целовала в щеки. Ее компаньонка принесла искусственные цветы и льстиво хвалила M-me Viardot за ее многосторонние таланты, говоря, что эти цветы сделаны M-me Viardot.

Страсть к искусству, любовь к природе, к цветам я всецело наследовала от моего отца. Ни в чем в мире я не находила столько душевного удовлетворения, столько подъема духа, как в искусстве и природе.

Помню, еще в раннем детстве, переезжая в Покровское, на дачу, я сидела по несколько минут над яркими, только что распутившимися тюльпанами и белыми душистыми нарциссами, любяясь их очертаниями и желая их воспроизвести; помню и то поэтическое впечатление весны и природы, когда, стоя у большого итальянского окна мезонина, в котором помещались мы, три сестры, я любовалась светлым отблеском видневшегося пруда сквозь деревья и вдали розовой церковью под плакучими березами. Как было хорошо тогда!

Помню и то наслаждение, которое я испытывала еще в детстве, когда дядя Костя³ играл Chopin или мать моя высоким сопрано, с приятным timbre голоса, пела «Соловья» Алябьева или цыганскую песнь «Ты душа ль моя, красна девица».

В феврале 1864 года мы все-таки поехали с Львом Николаевичем в Москву и повезли комедию. Она была даже плохо переписана и мало поправлена (рукопись ее впоследствии Лев Николаевич где-то затерял), но все же мы мечтали поставить ее на масленице.

Несмотря на все хлопоты и страстное желание Льва Николаевича ее поставить немедленно, это оказалось совершенно невозможно. Надо было, чтобы в Казенном театре эта комедия перешла из инстанции в другую, надо было иметь разрешение цензуры, наконец, нужно было ее основательно прорепетировать, а времени не было.

Лев Николаевич пригласил на чтение этой комедии литераторов и в том числе Жемчужникова⁴ и Островского. Островский одобрил ее, и, когда Лев Николаевич выразил сожаление, что комедия не будет поставлена именно в нынешнем году, когда интерес ее был бы самый современный, Островский, улыбаясь, сказал: «А ты думаешь, что люди в один год поумнеют?»

Комедию мы увезли обратно в Ясную Поляну; интерес к ней совершенно остыл в Льве Николаевиче, он больше не брался за нее, и я с трудом потом собрала листы, непоследовательно переписанные разными лицами к спеху, неполные и перепутанные⁵.

* Священный огонь (франц.).

** Петь для этих малышей (франц.).

О драматической форме Лев Николаевич часто думал и хотел писать разные произведения, но она ему давалась труднее других. Фет в своих разговорах и письмах не советовал Льву Николаевичу писать в этой форме, а предпочитал форму эпическую, о чем повторял свое мнение и впоследствии, в 1870 году.

В эту поездку в Москву меня очень огорчило состояние здоровья моего отца. У него болело постоянно горло и грозил паралич, который и оказался вскоре. Ему делал в Петербурге операцию доктор Рауфус и вставил в горло трубочку, канюлю, очень удачно.

Помню, как меня удивило, что отец должен был по этому случаю просить разрешения Государя носить бороду.

Роман сестры Тани с гр<афом> Сергеем Николаевичем

1864 и 1865 годы нашей супружеской жизни были сильно омрачены эпизодом любви брата Льва Николаевича, Сергея Николаевича⁶, и сестры моей, Татьяны Андреевны Берс⁷. Естественно, что та неуловимая симпатия, которая соединила меня с Львом Николаевичем, сблизила и наших — сестру мою с его братом.

Симпатия эта проявилась впервые, когда Лев Николаевич был моим женихом и приехал Сергей Николаевич в Москву. Сестре моей не было еще 16-ти лет. Смелая, быстрая, с прекрасным голосом, кокетка и ребенок в то же время, она прельщала всех и в том числе Сергея Николаевича. Раз вечером, сидя на маленьком диванчике с Сергеем Николаевичем, она безумствовала так грациозно, обмахиваясь веером, как большая, так была мило оживлена, что Сергей Николаевич удивился, почему Лев Николаевич не женится на такой обворожительной девочке, а на мне.

Через пять минут Таня, сестра, свернувшись на этом диванчике, прихрапывая, спала крепким сном, по-детски открыв рот.

«Посмотрите, какая прелесть!» — говорил Сергей Николаевич.

Когда летом 1863 года сестра моя приехала гостить в Ясную Поляну и я, как описано раньше, принуждена была изгнать ухаживающего за Таней Анатоля Шостака⁸, она рассказала, плача, свое горе Сергею Николаевичу, и он начал ее утешать.

На этом поприще всегда люди бывают в опасности. Сергей Николаевич проводил с сестрой много времени, гулял, разговаривал с ней, а главное, восхищался ею чрезмерно. Это всегда подкупает нас, женщин; иных портит, в иных же пробуждает лучшие чувства, желание быть действительно хорошей, часто вызывает все скрытые раньше способности и всегда благодарность *всем* за любовь и восхищение *одного*.

Сергей Николаевич стал часто ездить к нам, чем очень огорчал свою сожительницу, цыганку Марью Михайловну Шишкину, живущую в Туле, бывшую с Сергеем Николаевичем уже четырнадцать лет в связи и беременную в то время уже чуть ли не пятым ребенком.

Дело любви стало принимать такие размеры, что пришлось заговорить о свадьбе и о том, чтобы прервать отношения с цыганкой Машей.

Но это было не так просто, Сергей Николаевич любил и Машу, привык к ней, ждал от нее пятого ребенка. И вот начались эти терзания сердца Сергея Николаевича, тогда уже немолодого (ему было почти 40 лет), между двумя огнями — двумя женщинами. Пришлось сказать Маше, что он влюбился в мою сестру и намерен на ней жениться. Сначала Марья Михайловна приняла это известие почти кротко, слишком оно ее ошеломило; потом все больше и больше она выражала горя, отчаяния и даже, как говорили, негодования. Она была права. Всю жизнь она честно и твердо любила *одного* Сергея Николаевича и прожила с ним всего более пятидесяти лет, впоследствии выйдя за него замуж.

Разговоры о браке Сергея Николаевича и сестры моей постоянно принимали то одно решение, то обратное. Одно время как будто бесповоротно они решились жениться, и сестра уже шила себе приданое, как вдруг снова все было отложено на неопределенный срок. Нас они просто измучили. Видеть страдания моей несчастной,

исхудавшей сестры было для меня невыносимо. Наконец я получила из Москвы страшное известие, что сестра моя отравилась, выпив много квасцов. Мать до того перепугалась, что, узнав об этом, упала на лестнице и была потом очень больна женскою болезнью. В ту минуту как сестра отравилась, пришло ей мое письмо, что мы приезжаем в Москву и Сергей Николаевич с нами. Тогда сестра Таня начала среди страданий просить спасти ее, послать за доктором. Меры были приняты самые спешные, и сестра не умерла. Но много лет она еще хворала после, боялись за чахотку, возили ее за границу.

Сергей Николаевич тогда все-таки не приехал, и опять надо было понять, что брак этот не может состояться.

Тянулись эти неопределенные отношения еще долго, до осени 1865 года, и превались совершенно.

Любила моя сестра Сергея Николаевича более чем кого-либо в жизни, и осталось это чувство у нее навсегда.

Встреча

Странное событие было еще раз в их жизни. Сестра моя сделалась невестой А. М. Кузминского⁹, которого с детства любила; но так как он был двоюродный брат, то надо было найти священника их перевенчать.

Совершенно независимо от них Сергей Николаевич решил тогда вступить в брак с Марьей Михайловной¹⁰ и тоже ехал к священнику назначить день своей свадьбы.

Недалеко от г. Тулы, верстах в четырех, пяти, на узкой проселочной дороге, уединенной и малоезженной, встречаются два экипажа: в одном моя сестра Таня со своим женихом, Сашей Кузминским, без кучера, в кабриолете, и в другом, в коляске, Сергей Николаевич. Узнав друг друга, они очень удивились и взволновались, как мне потом рассказывали оба; молча поклонились друг другу и молча разъехались всякий своей дорогой.

Это было прощание двух горячо любивших друг друга людей, и судьба поиграла с ними, устроив эту необыкновенную, неожиданную и мгновенную встречу в самых неправдоподобных романических условиях, на пустынной проселочной дороге.

Итак, лето 1864 года прошло в постоянном волнении за сестру Таню и Сергея Николаевича.

Суровость жизни

В это лето Лев Николаевич увлекался пчелами, и, пригласив раз с собой на пчельник, он велел запрячь телегу, положил в нее разные вещи, нужные на пчельнике, и посадил меня в нее, сам взяв вожжи. Я была беременна Таней, уже пять месяцев, но меня не нежили и не берегли, напротив, я должна была ко всему привыкать и приспособляться к деревенской жизни, а городскую свою, изнеженную, забывать.

Ехать надо было через брод; спустившись по очень крутому берегу в речку Воронку, Лев Николаевич как-то неловко дернул вожжу, лошадь круто свернула, и меня опрокинуло из покосившейся набок телеги прямо в воду.

Лошадь дернула, чтобы выехать на другой берег, кринолин мой завернулся в колесо, и телега поволокла меня по воде. Я слышала, как Лев Николаевич вскрикивал: «Ах! Ах!» — но не мог удержать лошадь. Но вот что значит девятнадцать лет. Ничего со мной не случилось!

В это же лето, но еще позднее, уже после уборки хлеба, поехали мы раз в катках кататься. Лев Николаевич, я, учитель музыки Мичурин, который вез в руках очень бережно порученное ему сестрой гнездышко с птенцами, Келлер¹¹ и сестра Таня на козлах, правящая тройкой. Были сумерки, мы проезжали гумно, где намели на самой дороге кучу, которой днем не было. Сестра, не видя ее, прямо наехала на эту кучу и первая слетела с маленьких козел. Потом упали все мужчины; лошади без

вожжей понесли. Лев Николаевич с ужасом кричит мне: «Соня, сиди, держись, не прыгай!» Я, держась за козлы, лечу одна, тройкой, на катках, прямо к конюшне. Но вот косогор, длинная подушка от катков опрокидывается вместе со мной, и я падаю со всего размаха на свой беременный, уже семи месяцев живот.

Я встала, как ошалелая, но ничего особенного не ощущала. И опять молодой, здоровый организм выдержал.

Не баловали меня в Ясной ничем. Заболел повар или пьянствовал — я готовила сама обед и усталая, непривычная к этому делу уже ничего не могла есть. Помню, как противен мне был гусь, которого мне раз пришлось жарить.

Купалась я просто в речке, даже шалаша для раздевания не было, и было жутко и стыдно. У нас, в Покровском, отец нам выстроил *свою* собственную великолепную купальню, а в Ясной была простота, которую Лев Николаевич и тогда старался вносить во все. Так, например, моему маленькому Сереже¹² он купил деревенской холстины и велел шить русские рубашки с косым воротом. Тогда я из своих тонких голландских рубашек сшила ему рубашечки и поддевала под грубые, холщовые.

Игрушек тоже покупать не позволялось, и я из тряпок шила сама куклол, из картона делала лошадей, собак, домики и проч.

Как все это со временем по воле же Льва Николаевича изменилось!

Вместо простой русской няни была им выписана к детям англичанка, которая шила Сереже и Тане прелестные английские вышитые платица с широкими цветными поясами. Горничная при детях была немка; чистота, порядок, новое распределение часов еды было введено, и все пошло по новому, мне более привычному порядку. Но об этом после.

Варя и Лиза

Летом же, того же 1864 года, возвращаясь я раз с купанья с своею 14-летней горничной Душкой, заменившей мне мою старую Варвару, слышу молодые веселые голоса, и в комнату мою вбегают две девочки, дочери сестры Льва Николаевича Марии Николаевны¹³, Варенька¹⁴ и Лизанька¹⁵. Первой было лет пятнадцать без чего-то, а второй — тринадцать. Живя все с старшими себя, я страшно обрадовалась девочкам, которые доселе жили с матерью за границей, а теперь намеревались жить в Пирогове, имении Марии Николаевны, другая половина которого принадлежала Сергею Николаевичу. Эти милые девочки на всю жизнь остались моими нежно любимыми подружками, и теперь мы и разницу лет уже давно не чувствуем. Те же интересы семьи, большого количества детей, те же взгляды на все.

Одна из них была впоследствии замужем за Николаем Михайловичем Нагорным, другая за князем Леонидом Дмитриевичем Оболенским. Теперь, в 1906 году, обе давно овдовели, пришлось им немало хлопотать и заботиться о детях, да еще с малыми денежными средствами.

Очень оживилась Ясная Поляна с приездом Вари и Лизы и моей сестры Тани, хотя по тяжести своего положения я не успевала всюду с ними. Лев Николаевич тоже как будто помолодел с ними. Он их очень любил, особенно талантливую, поэтичную Варечку, способную и на рисование, и на музыку, и даже на писание. Лев Николаевич, бывало, смеясь, ей говорит: «Как ты хорошо пишешь (дневники¹⁶, например), настоящий «Русский вестник». Но это не нравилось Варе. Вот образец ее дневников:

«21-го декабря 1864 года. Вечером Сережа говорит, глядя на нас: «Вот когда они замуж выйдут, то-то мы будем отплясывать на их свадьбе с Левочкой. А когда мы умрем, то они будут вспоминать о нас и скажут: „Вот были дяденьки, славные старички, и когда их в гроб положили, то у них было небесное выражение в лице, ангельское“».

Это так характерно, этот трагико-комический тон по отношению к брату Льва Николаевича — Сергею Николаевичу. И дальше:

«Когда я пошла в тетенькину комнату, проститься с мамашей, то она сказала нам, как она это часто делала, чтобы мы не спешили выходить замуж, что Сонечка с Левочкой примерные супруги, что таких редко найдешь и что больше слышно, то

муж оставил жену, то жена развелась с мужем. Она ставила всегда в пример свое замужество и уже не раз упрекала Пелагею Ильиничну¹⁷, что она отдала ее замуж, когда ей было шестнадцать лет. Я совершенно с этим согласна, да и, признаться, никогда не думала об этом. Если бы прочел это Левочка, то он непременно бы сказал, что я опять вбрела в «Русский вестник», который сделался мне с тех пор противен и которого я никогда не буду читать, чтобы не писать в его слоге...

22 декабря. Сегодня первый морозный день. Левочка сказал, что пороша и что поедем на охоту с Сережей, Соней и с Бибиковым, который приехал к нам. Велели заложить парные сани, и Сережа сам вызвался править, чтобы кучера не брать. Я побежала спросить мамашу, можно ли мне ехать, и она отвечала, что можно, если есть кучер, а нельзя, если нет. Я знала, что едет Сережа, знала тоже, что мамаша не очень надеется на его осторожность, и потому потеряла всякую надежду ехать на охоту. Сонечка уже оделась и очень удивилась, что я еще не готова. Я ей сказала, что мамаша мне не позволяет ехать без кучера. Тогда она сказала мамаше, что Сережа будет править, и меня отпустили; я очень была рада этому, потому что я давно не выходила, и, признаюсь, мне очень хотелось плакать, если б меня не пустили.

Соня, Сережа и я сели в большие сани, Левочка с Бибиковым — в маленькие. Хотя мы не нашли ни одного зайца, нам было очень весело. Когда мы проезжали через Заказ, наши сани зацепили за дерево и мы немного отстали от других, потому что место было узкое и мы должны были поворотить немного лошадей, чтобы проехать это место.

Сережа и Левочка сходили с саней каждый раз, как видели следок зайца; я тоже раз сошла с ними, потому что у меня озябли ноги. Левочка пошел с одной стороны оврага, а я с Сережей с другой. В одном месте было очень круто, и у меня скользили ноги. Сережа подал мне руку, и, вместо того чтоб тянуть меня, сам упал в растяжку. Мне было очень смешно и весело. Мы еще долго ездили, но у Сони пригрубело молоко, и мы должны были вернуться. У меня был ужасный аппетит, и я могла все бы съесть.

Сережа был очень мил. Он лежал вечером на тетенькином диване, рассказывал сказки и сочинял стихи. За чаем разговорились о смерти. Соня рассказывала разные случаи, которые случались с ее отцом, когда он лечил своих больных, и разные другие страсти: как где-то гальванизмом поднимали мертвых, и заставляли их двигаться, и прекратили опыт только потому, что всем, делавшим этот опыт, делалось слишком страшно...

23-го. Сегодня мы опять ездили на охоту: Левочка, Соня и я...

Дневники Вари слишком подробны, но зато это верная, яркая картина жизни.

Операция отца

Осенью 1864 года здоровье моего отца в Москве делалось все хуже, и он решил сделать операцию горла и вставить трубочку. Для этого он поехал с сестрой Таней в Петербург, к брату своему, тоже врачу, и позвал Рауфуса, который и сделал отцу очень удачно операцию. Мать¹⁸ же моя приехала к моим родам, после которых должна была ехать в Петербург к отцу и сменить сестру Таню, отослав ее в Москву. Сестра Льва Николаевича, Машенька, с девочками тоже гостили у нас. Потом девочек отправили в Пирогово или Тулу — не помню, и со дня на день ожидалось мои вторые роды.

Лев Николаевич целые дни пропадал на охоте; сначала ходил за вальдшнепами с ружьем, а чаще уезжал с борзыми и травил много зайцев и изредка лисиц.

Первое время, т. е. в начале осени, Лев Николаевич ездил почти всегда с моей сестрой Таней, которая пристрастилась к охоте больше потому, что для любимого ею Сергея Николаевича охота составляла главный интерес жизни. Он на охоту смотрел как на серьезное дело, ездил ежегодно месяца на два с огромной охотой в свое курское имение. Лев Николаевич же охотился только для развлечения и собак держал мало.

Сидя дома беременная или кормящая, я иногда ревновала свою сестру к моему мужу, но, любя обоих, отгоняла эти мысли.

Охоту же я не любила, и, когда, бывало, поеду с Львом Николаевичем и Таней и собаки грызут пищашего, как ребенок, пойманного зайца, мне хотелось плакать.

26 сентября Лев Николаевич с утра уехал в поля, неизвестно куда, один с двумя борзыми, на английской рыжей кобыле, Машке по прозвищу кучеров. Стало темно, его нет, а обещал к обеду вернуться. Уже был совсем вечер, часов восемь, девять, — его все нет. По мере того, как шло время, беспокойство мое возрастало все больше и больше. Я не обедала, волновалась, выбегала на крыльцо.

Господи, сколько в течение всей моей жизни я пережила таких мучительных часов и переживаю до сих пор. Уедет, не скажет куда — и пропадет на бесконечное время. А то раз в Москве Лев Николаевич уехал к Аксакову, а меня оставил у родителей в Кремле, обещав за мной заехать, чтобы вместе вернуться домой. Мне было тогда 23—24 года, и он боялся пускать меня по улицам Москвы одну по ночам. Жду, жду я его до четвертого часа ночи, все нет. Мать моя меня утешала, но потом сама беспокоилась и хотела уже через полицию искать Льва Николаевича по Москве. Наконец я иду одна домой в четыре часа ночи; помню, с каким ужасом я проходила темные Троицкие ворота, потом дала городовому один рубль и просила меня проводить до Кисловки, где мы тогда жили.

Оказалось, что Лев Николаевич так увлекся разговорами у Аксакова¹⁹, что забыл и час поздний, и меня.

Падение Льва Николаевича и сломанная рука

Возвращаюсь к рассказу, от которого отступила. Итак, Льва Николаевича все нет. В десятом часу вечера наконец моя мать приходит ко мне в комнату с расстроенным лицом и говорит: «Вот как, никогда не надо беспокоиться». «Он умер?» — вскрикнула я с ужасом. «Нет, руку сломал», — поспешила ответить моя мать. «Где он?» «В избе, на деревне, и доктор там».

Оказалось, что лошадь Льва Николаевича оступилась, упала с ним вместе в водомоину и, упав, придавила его. Выпутаться было почти невозможно; но как-то лошадь поднялась, а Лев Николаевич почувствовал страшную боль в руке и потом рассказывал, что все было неясно в голове и все казалось так давно. Кое-как, почти ползком, он добрался до шоссе, там его подобрала проезжавшие мужики, и, чтобы меня, беременную на последних днях, не испугать, Лев Николаевич велел везти себя в деревню Ясной Поляны, в избу к мужику. Тотчас послали в Тулу за доктором, и приехал Шмигаро с фельдшером. Моя мать пошла на деревню, при ней вправляли руку. Я тоже не вытерпела несмотря на мое тяжелое положение и, завязая в липкой грязи, в темную сентябрьскую ночь я пошла на деревню. Кто-то, помню, вел меня под руки.

Зрелище в избе, когда я отворила дверь, было ужасное. Лев Николаевич, по пояс обнаженный, сидел среди избы, двое мужиков его держали, доктор с фельдшером грубо и неумело старались поставить на место руку, а Лев Николаевич кричал громко от сильных страданий.

Увидав меня, он нежно сказал мне какое-то приветствие. Послали домой за пролеткой и осторожно свезли Льва Николаевича в дом.

Всю ночь он мучительно громко стонал. Я сидела с ним, и он иногда, сидя, засыпал, как-то положив голову ко мне на плечо.

На другое утро послали в Тулу за молодым и очень способным доктором Преображенским. Приехав, он умело и быстро, под хлороформом вправил Льву Николаевичу руку и спокойно забинтовал ее так, что боли сразу стали гораздо легче. Помню, какое было страшное лицо у Льва Николаевича, когда он лежал, как мертвый, под хлороформом.

Через неделю, в ночь с третьего на четвертое октября, я почувствовала начало родовых болей. Моя верная акушерка, Мария Ивановна Абрамович, была уже у нас и торжественно объявила, что «роды начались». Все время моих страданий Лев Николаевич лежал рядом с моей спальней, в гостиной на диване, и иногда входил ко мне, целовал мою разгоряченную голову и говорил нежные слова.

Рождение дочери Тани

Уже было утро, когда наконец послышался крик громкий и энергический — ребенка.

— Что родилось? — спросил кто-то.

Мария Ивановна засмеялась и говорит:

— Еще неизвестно, одна головка вышла.

Но вскоре появилась на свет и вся живенькая, черноголовая, здоровенькая девочка, и из уст в уста все с радостью повторяли: «Девочка, девочка!»

Всем хотелось именно девочки, и все ликовали. Лев Николаевич обнял мою голову одной рукой, громко рыдал от избытка чувств. Хотя мне было только 20 лет, но роды меня утомили, и я лежала в изнеможении, уже почти ничего не чувствуя. Рождение моей дочери Тани²⁰ было все же как праздник, и вся ее жизнь была потом для нас, родителей, сплошная радость и счастье. Никто из детей не внес такого содержания, такой помощи, любви и разнообразия, как наша Таня. Умная, живая, талантливая, веселая и любящая, она умела вокруг себя всегда устроить счастливую духовную атмосферу, и любили же ее все — и семья, и друзья, и чужие.

Начала я да и выкормила сама свою Таню. Мать моя ее крестила с другом Льва Николаевича Дмитрием Алексеевичем Дьяковым и, окрестив, скоро уехала к моему больному отцу. Рука Льва Николаевича стала было поправляться: кроме вывиха, был продольный раскол кости, который тоже заживал. Но нетерпеливый и скучающий дома Лев Николаевич стал ходить на охоту, преимущественно за вальдшнепами, как-то приспособиваясь держать ружье. И вот в один прекрасный день он сделал неловкое движение и сбил руку с места. Начались опять боли, пришлось снова вправлять. После этого рука совсем перестала подниматься, худела и не заживала. Обеспокоившись, что он навсегда останется уродом и калекой, Лев Николаевич решил ехать в Москву для совета с лучшими московскими хирургами.

Лев Николаевич в Москве правит вновь руку

Грустно мне было расставаться с ним, но что же делать, я ехать с ним и младенцем, осенью, не решилась; да и Сережу жаль было оставить. Решили, что он поедет один, с человеком и остановится в Кремле, у моих родителей.

Руку же ему будет править и лечить в то время известный хирург — Попов.

Страшно тяжело мне было расставаться с Львом Николаевичем, не зная даже срока его отсутствия и вскоре после рождения Тани; но делать нечего, пришлось, и я покорилась. В утешенье — и даже очень большое — остались мне две племянницы Льва Николаевича — Варя и Лиза Толстые. Мать их, Марья Николаевна, осталась одна в Туле жить там и лечиться у акушерки от женской болезни.

Сначала я была вся поглощена двумя маленькими детьми, причем и девочки разделили между собой моих малышей. Варя называла Таню «наша дочь» и присутствовала, когда я ее купала, и помогала с ней. Лиза же больше занималась Сережей и звала его «наш сын». Пошли разные невзгоды. Опять стала мне грозить грудница, сделалось затвердение в груди, подрезались сосцы, кормить Таню было очень больно. Я послала за доктором Преображенским, который дал мне для предотвращения грудницы пластырь Виго без ртути и для сосцов раствор ляписа (1 гр. на 1 унц. воды). Тогда наступило новое бедствие: на деревне оказалась сильная эпидемия настоящей оспы. Пришлось ее прививать крошечной Тане и золотушному Сереже. У Тани все обошлось благополучно; у Сережи же вместо золотушных болячек налились оспенные пузыри и покрыли почти все тело. Это было ужасно, и я измучилась с детьми.

Потом все уладилось, и материальная жизнь в детской стала меня не удовлетворять. По вечерам я переписывала оставленную мне Львом Николаевичем рукопись «Войны и мира». Переписка эта доставляла мне большое удовольствие, даже наслаждение. Я писала смело Льву Николаевичу свои суждения и выражала свой восторг. Когда я кончила оставленную мне для переписывания ру-

копись, я послала ее Льву Николаевичу почтой в Москву и скучала, что нет дальнейшей.

Время, прожитое нами с Львом Николаевичем врозь, хорошо передано в нашей переписке, которая сохранилась и, кроме того, переписана мной отдельно в книге общей переписки с мужем.

Жизнь в Ясной без Льва Николаевича, когда ему вправляли руку

Очень облегчали мне мою разлуку с Львом Николаевичем Варя и Лиза. Помню, как мы с Лизой бегали гулять по ноябрьскому морозцу и наслаждались природой и своей молодостью. Я быстро поправилась после родов, чувствовала себя сильной, легкой и очень бодрой. Девочка моя, маленькая Таня, тоже была здоровая и бодрая, и только Сережа страшно беспокоил меня своими вечными поносами и вследствие их — ослабевшим организмом. Любила я его безумно; когда он, мальчик полутора года, нежно и серьезно агукал своей маленькой месячной сестре, как будто занимать ее входило в его обязанности, я до слез умилялась и уверена была, что Сережа будет гений.

В отсутствие Льва Николаевича я всеми силами стремилась жить его жизнью, его интересами. Добросовестно ходила по хозяйству, осматривая все и подробно давая Льву Николаевичу отчет о его овцах, коровах и т. д. Никогда не живши в деревне и ничего не понимая в хозяйстве, я делала большие усилия, чтобы все замечать, изучать скот и его жизнь, отдавать приказания, над которыми бы не смеялись люди, проникнувшие в мое невежество по этой отрасли. Тем более мне было трудно хозяйство, что я никогда, ни после, ни теперь, его не любила. Если б в хозяйстве сельском была бы борьба только с природой и ее влияниями, то было бы легко и даже радостно, но всякое деревенское хозяйство есть борьба с народом — и это невыносимо. Мужу нужно топливо и ремонт его жилища — он ворует мой лес, а я берегу лес и не даю. Мужу нужны пастбища, я берегу свои луга и загоняю его скот и лошадей. Мужу нужен хлеб и моя земля, а я покупаю машины и сама обрабатываю свою землю. И все так. Пока я не была хозяйкой в Ясной Поляне, я все-таки общалась с ее жителями, дружила с бабами, любила детей и умилялась жизнью народа. Но, когда Лев Николаевич передал все в мои руки, мне совестно просто стало встречаться с крестьянами, смотревшими на меня как на препятствие в их благосостоянии, и я совершенно прекратила общение с ними.

Да и в то первое время моего замужества я не умела обращаться с народом. Все мне казалось фальшью, и как далеки были мне эти люди, жившие совсем другой жизнью, чем мы.

О духовных и художественных потребностях

В этой занятой жизни первых годов моего замужества самое тяжелое для меня было, когда вдруг без всякого удовлетворения в этой области просыпалась во мне потребность жизни духовной или жизни в искусстве. Так, например, я пишу Льву Николаевичу в Москву:

«7-го декабря 1864 года.

Сажу у тебя в кабинете, пишу и плачу. Плачу о своем счастье, о тебе, что тебя нет, вспоминаю свое прошедшее, плачу потому, что Машенька заиграла что-то, и музыка, которую я так давно не слыхала, разом вывела меня из моей сферы детской, пеленок, детей, из которой я давно не выходила ни на один шаг, и перенесла куда-то далеко, где все другое. Мне даже страшно стало, я в себе давно заглушила все эти струнки, которые болели и чувствовались при звуках музыки, при виде природы и при всем, что ты не видел во мне, за что иногда тебе было досадно на меня. А в эту минуту я *все* чувствую и мне больно и хорошо...»

И дальше я пишу: «Я желаю, чтобы никогда не пробуждалось во мне это чувств-

во, которое тебе, поэту и писателю, нужно, а мне, матери и хозяйке, только больно, потому что отдаваться ему я не могу и не должна».

И еще дальше:

«Теперь я слушаю музыку, у меня нервы подняты, я люблю тебя ужасно, я вижу, как заходит красиво солнце в твоих окнах; Шуберта мелодии, к которым я бывала так равнодушна, теперь переворачивают всю мою душу...»

И дальше:

«...Сейчас зажгут свечи, меня позовут кормить, я увижу, как марается Сережа, и все мое настроение пройдет разом, как будто ничего со мной не было...»

Не знаю, хорошо ли было, что я, столько лет прожив в чисто материальной жизни рождения, кормления детей, хозяйства и постоянной помощи мужу, перепиской и заботой о нем, глушила в себе все способности. Не знаю, что было бы со мной, при страстной и увлекающейся моей натуре, если бы я позволила себе заняться музыкой, поэзией, живописью или просто общественной деятельностью. Безумная ревность мужа, отсутствие времени для семейных дел, отвлечение мыслей от детских и от хозяйства — все это создало бы мне совсем другую жизнь... Лучше ли, не знаю, да и поздно об этом рассуждать...

В Москве, Лев Николаевич с больной рукой

Итак, осенью 1864 года мы жили долго с Львом Николаевичем врознь.

Сначала ему пытались лечить руку. Мазали йодом, растирали, бинтовали и одно время решили не выламывать и не вправлять ее вновь. Своим пребыванием в Москве Лев Николаевич воспользовался, чтобы читать материалы для «Войны и мира» в разных библиотеках и архивах. Доставал он и переписки разных лиц частных того времени.

Так, например, Лев Николаевич достал письма старой, очень умной фрейлины Волковой и характером писем той эпохи воспользовался для переписки Жюли с княжной Марией Болконской в «Войне и мире»²¹.

Одно время Лев Николаевич задумал даже съездить в Австрию для изучения Вены и народа австрийского.

А то, быв как-то в Москве, Лев Николаевич поехал раз на лошадях на Бородинское поле и взял с собой моего брата Степана²², который был в восторге.

Бородинское поле

Когда он осмотрел всю эту местность, он тогда же написал мне несколько слов о самом Бородинском сражении: «Я напишу такое Бородинское сражение, какого еще не было...» Но все это было уже гораздо позднее, вероятно, около 1867 года.

В Москве Лев Николаевич читал начало «Войны и мира» Аксакову и Жемчужникову²³, которые были в восторге от этого произведения. По вечерам он часто ездил в театр с моей матерью и сестрой Лизой.

После долгих колебаний решено было выломать и вновь вправить руку Льва Николаевича, что и было исполнено хирургами Поповым и Гааком, его помощником, под хлороформом, уже два месяца после перелома руки, а именно 28 ноября. Потом она еще долго не поднималась и не поправлялась; делали ванны, растирали мыльным спиртом, заставляли человека поднимать и опускать руку, делать ею гимнастику. Со временем владение рукой восстановилось, но и до сих пор она побаливает в дурную погоду.

В Москве Лев Николаевич прожил у моих родителей, в Кремле, от 20-го приблизительно ноября до 12-го, кажется, декабря.

В последнем письме ко мне, от 10-го декабря, он пишет:

«После, после завтра, на клеенчатом полу в детской, обойму тебя, тонкую, быструю, милую мою жену».

Жизнь моя в Ясной с Варей и Лизой

После рождения Тани опять во мне проснулось сильное желание жить не одной материальной жизнью, и вот мы и без Льва Николаевича, пока он лечил руку в Москве, и после, когда он вернулся, принялись с Варей и Лизой (племянницами Льва Николаевича) заниматься всякого рода интересными предметами: учились по-английски, что мне было очень трудно. Девочки уже раньше, за границей, занимались английским языком, я же не знала ни слова по-английски, хотя знание французского и немецкого языков много мне помогло.

Потом мы с Варенькой рисовали; она была очень способна, прекрасно схватывала сходство, когда карандашом делала наброски портретов; я же рисовала чисто, тонко отделяла рисунок и только копировала с картинок. Но, вероятно, Лев Николаевич нашел, что у меня есть способности к рисованию, потому что он хотел мне тогда же взять из Тулы учителя рисования, но, кажется, такого не оказалось, или просто он раздумал. Помню, мы с Варей рисовали на конкурс, то есть на суд окружающих, очень кудрявых собачек карандашом, и моя была лучше нарисована, но Лев Николаевич, чтобы не обидеть Варю, сказал, что шерсть моей собаки больше похожа на тюльпаны на ее спине, чем на шерсть, а мордочка похожа на маленькую кибиточку.

Вот выписка из дневника Вареньки того времени уже по возвращении Льва Николаевича из Москвы:

«18-го декабря 1864 года. Сегодня я начала оттушевывать свою собаку, но совершенно разочаровалась, потому что выходило Бог знает что. Сонина же собака очень хороша, хотя Левочка говорит, что вместо носа у нее кибиточка; но она поправила это, и кибиточка пропала. После кофе принесли маленького барина, и Соня сшила ему фрак, который ему очень шел и от которого ему, должно быть, очень тепло.

Вечером Соня читала по-английски, и я очень смеялась, что она говорила: маленький Мор, переводя little more, и нам было очень весело.

Вечером, после чая, Левочка читал нам свое сочинение «Война и мир». Наташа мне очень нравится, тем более что она напоминает мне Таню. Борис и Николай очень хороши, но лучше всех Риеге, особенно как он ходил по комнате и пальцем пронзил врага-англичанина. Но чего я очень не ожидала, это то, что кн. Андрей женится на Наташе, мне даже жалко ее. Жалко и Риег'а, который будет так несчастен с этой красавицей Елен...»

Бывало, уложим Сережу и Таню спать и садимся читать. С большим увлечением читали мы стихи Фета и учили их наизусть. Раз как-то я задержалась внизу в детской и написала шуточное стихотворение с запросом, чем все заняты наверху, которое послала наверх Льву Николаевичу и девочкам. Немного погодя получаю ответ, написанный Львом Николаевичем:

Лиза с Варей все за Фетом
С низкой свечечкой сидят,
А ma tante — перед буфетом,
Алексей с Дуняшей (прислуга) спят.
Я ж пишу о дырке (канюля)
В горле медика отца,
Размышляя о подтирке,
О пеленках без конца...

Мне не понравился тон, хотя и шуточный, этого послания. Слово «подтирке» меня покоробило, а упоминание о трубочке, тогда только что вставленной в горло моего отца, оскорбило меня в слове «дырке».

Но странное отношение было моей души, любящей без ума своего мужа,— к нему. Я отгоняла всякое сомнение в его совершенстве и во всем винила себя, искренно считая себя *очень глупой, недоразвитой*, как я часто говаривала и смешила этим Льва Николаевича, который спрашивал, что значит вставка «до» и есть ли предел человеческому развитию.

Раз на мое огорченное признание в письме в моей глупости Лев Николаевич меня утешает словами:

«Какая ты умница во всем том, о чем ты захочешь подумать. От этого-то я и говорю, что у тебя *равнодушие* к умственным интересам, и не только не ограниченность, а ум, и большой ум...»

Но я этому, как не желала, но и до сих пор не решилась поверить.

Помню, в ту же осень мы читали вслух роман Диккенса «Наш общий друг», а Лев Николаевич читал нам вслух Мolière'a и очень им восхищался, а мы весело смеялись, слушая прекрасное чтение Льва Николаевича, и нам было очень весело. А то иногда он, к нашей большой радости, читал нам из «Войны и мира» только что написанные им места, о чем и поминала в своем дневнике племянница Варя.

Как хорошо и содержательно мы жили в эту осень! Лев Николаевич пишет моему брату: «Точно только теперь начался наш медовый месяц!» И дальше: «Как мила Соня с своими двумя малышами!»

Сам же он работал любимую и успешную работу, роман «Война и мир», я переписывала ему усердно и охотно; вне дома развлекала его охота. Так как нельзя было беспокоить больную руку, Лев Николаевич брал с собой племянниц-девочек в сани, брал собак и выгонял зайцев, позднее уже стреляя их из саней.

Иногда на меня и на девочек находило такое молодое веселье, что мы начинали танцевать, и я учила их. Варя пишет в своем дневнике:

«25-го декабря 1864 года. Соня учила нас сегодня вечером танцевать мазурку и польку-мазурку; я совсем выучилась польке-мазурке и долго экзерсировалась в зале».

По вечерам мы часто сидели втроем, и я долго беседовала с милыми девочками. Они это очень любили, и Варя пишет даже в дневнике:

«Я очень люблю, когда Соня рассказывает. У нее всегда есть что-нибудь новое рассказать...»

А Лев Николаевич иногда брал гитару у своего лакея, Алексея Степановича, и, плохо аккомпанируя себе, шутя пел: «Скажите ей, что пламенной душою...» и т. д.

Николка

Был у нас на дворе мальчик, сын садовника, маленький, бойкий и умный Николка. И он слышал, как сестра моя и Лев Николаевич пели этот романс, и начал тоже его петь, но, начиная протяжно пение со слов: «Скажите ей» он скороговоркой прибавлял что-нибудь смешное от себя: «Скажите ей... что у меня портки разорвались». Или: «Скажите ей, что пчелы меня жалят» — и так далее. Этот милый мальчик потом часто приходил играть с моим сыном Сережей, и Сережа его очень любил. Когда в 1866 году мы уехали в Москву, Сережа волновался, сидя в возке, и все спрашивал: «А Копка?» И ему говорили в утешение, что Николка едет сзади, в сани. Тогда Сережа всю дорогу повторял: «Копка зади санях». Летом этот мальчик помогал Льву Николаевичу на пчельнике и всегда пел песни. Конец этого мальчика очень печальный. Когда его отец, садовник, отошел от нас, он поселился в шести верстах с семьей, в Судакове. И вот этот Николка влез однажды на яблоню, как-то сорвался, упал и вскоре после падения умер.

Гости

Тишину нашей жизни иногда нарушали посетители. Так, например, 16-го ноября с звоном колокольчиков, шумом отворяемых дверей и оживленных голосов прибыли к нам из Курской губернии с охоты брат Сергей Николаевич с сыном Гришей и Келлером, поступившим гувернером к Грише после того, как была закрыта Яснополянская школа. В течение осени охота Сергея Николаевича затравила 62 лисицы и одного волка.

А то еще в одну осень, кажется, в 1863 году, мой отец в письме выражает удивление, что Сергей Николаевич привез с охоты 44 лисицы. Для Сергея Николаевича охота была целым серьезным делом.

Из затравленных Сергеем Николаевичем раньше лисиц он подарил мне в первый год моего супружества прекрасный лисий салоп, который я покрыла черным ат-

ласом и мех которого долго после носила и я, и моя дочь Таня. Удачная охота той осени, 1864 года, очень веселила Сергея Николаевича. Он оживленно рассказывал о ней; ему сочувствовали все: и Лев Николаевич, и тетенька Татьяна Александровна²⁴ с приживалкой Натальей Петровной, и Машенька-сестра, и ее девочки. Но я выросла в другой среде, с другими интересами и радостями, и их дикое отношение к охоте, какой-то разгул и непривычное оживление мне были очень чужды.

Продана первая часть «Войны и мира»

Еще раз, в декабре, ездил Лев Николаевич в Москву, чтобы показать свою руко докторам и спросить о дальнейшем ходе лечения ее. Кроме того, он в этот раз продал Каткову в «Русский вестник» первую часть «Войны и мира» под заглавием «1805-й год»²⁵. В письме своем ко мне он пишет, как гнусно торговался с ним катковский посланный, бывший профессор физики Н. В. Любимов, которого прозвали *любимым* ослом Каткова. Я знала этого Любимова раньше; он был женат на сестре моей подруги Зайковской, и мы, девочки, его презирали и звали «Блаженкой». Маленький, плюгавенький был человек. Последующие главы и части «Войны и мира» уже не печатались в периодических изданиях, а вышли целой книгой. Помню, что я очень горячо и настойчиво просила Льва Николаевича напечатать весь роман книгой отдельной, а не в журналах. Так он и сделал, поручив печатание типографии Риса, а надзор за изданием и корректурами Петру Ивановичу Бартеневу.

Когда Лев Николаевич уезжал, мы переписывались ежедневно. Сколько горячей любви в этих письмах! Так, например, он пишет мне:

«Как ты мне мила, как ты мне лучше, чище, честнее, дороже, милее всех на свете».

Или:

«Я, верно, скоро уеду, без тебя нет во мне никакой экспрессии».

И подумать, что мне тогда было двадцать лет, а ему, умному, талантливому, зрелому человеку, — 36 лет. Казалось бы, не могло быть обоюдного понимания, и воспитаны-то мы были разно: он был деревенский, а я городская. И несмотря ни на что большей любви не могло быть, как та, которая соединяла нас. Мы тогда да и долго после были бесконечно счастливы и нашей любовью, и той жизнью, которой мы жили.

Описывая эту свою семейную жизнь, я вижу теперь, как она была замкнута. Ничего интересного из этой эпохи, из жизни общественной, народной и государственной я написать не могу, потому что ничего не знала, не понимала, не следила и не видела.

А между тем это было время, когда только что освободили крестьян от рабства, и они стали свободными, не подлежа продаже и покупке, это было живое время шестидесятых годов, которое имело прекрасное влияние на общество и на молодежь. И это и в нашей глуши чувствовалось нами.

1865 год

Святки и маскарад

Варя и Лиза долго еще прожили у нас, эту зиму. Лев Николаевич диктовал им, то есть Вареньке, «Войну и мир», так как сам еще плохо владел рукой. Я переписывала, возилась с двумя детьми и хозяйничала. Когда наступило Рождество, нам очень хотелось, чтобы девочкам было празднично, и мы затеяли маскарад самого первобытного, деревенского характера. Жил у нас в то время дворником настоящим карлик. Безобразный, с огромной головой, коренастый и с большим юмором в речах и характере. Мы решили нарядить и его; и вот сделали короны золотые, достали красные шали и нарядили карлика царем, а дворовую Машу, дочь повара Николая, — царицей. Они шли первой парой. Затем Вареньку одели фран-

цузским зуавом, Сережку, сына няни Марьи Афанасьевны, нарядили маркитанткой, Лизаньке устроили костюм маркиза, напудренного, что очень ей шло. Ее дамой была девочка Душка, одетая маркизой. Потом были немцы — Ханс, Вурсты и еще многие другие.

Лев Николаевич заиграл на рояли марш, и ряженные торжественно вошли парами в маленькую столовую. Карлик по прозвищу Мурзик веселил всех, плясал, и сказки рассказывал, и пел, и всякие прибаутки пускал в ход. Помню я еще скотника немца, который, прямой, как палка, весь вечер вальсировал с своей немкой женой, точно это были две механические фигуры.

Накупили к этому вечеру всяких угощений, приготовили сладкие напитки и пустили в столовую еще много дворовых и баб. Первая плясунья и запевала была разбитная и веселая баба Арина Хролоква. Где она — там и оживление бывало. Она и теперь жива, в 1906-м году.

Начались песни, русские пляски, толклись весь вечер в маленькой столовой, а я сидела в уголке, как сейчас помню, в нарядном шелковом платье из Москвы, и меня все это дикое, непривычное веселье совсем не веселило. Зато девочки были в восторге, а тетенька Татьяна Александровна и сестра Машенька радовались на них и на привычный им деревенский праздник.

Вот еще выписка из дневника Вареньки об этом вечере, когда после пляски начали играть в разные игры: «Лучше всех игра — бить по рукам. Когда пошли бегать да бить так, что на всю комнату щелкало, тут даже и большие не утерпели; первый пошел Келлер, потом Сережа, потом уже подкрасились мамаша с Левочкой, и пошла работа: кто ударит покрепче; мы даже били обеими руками, и когда дело доходило до Финогеныча (карлик дворник), тут уже все приходило в азарт и в восторг. Левочка кричал: берегитесь! берегитесь! Все принимали руки, потому что карлик бросался, как какой-нибудь хищный зверь, и уж беда тому, кому достанется от него; он раз даже попал Арине чуть не в лицо. Последняя игра была в «жгуты»...»

Сойдя вниз, в детскую, я отпустила няню Марию Афанасьевну посмотреть на пляски и маскарад. В детской было тихо; горела лампада и был полумрак. Я взглянула в обе кровати, где спали мои дети, Сережа и Таня, и, перекрестив их обоих, стала о них молиться с такой нежностью и умилением, которое только мать может знать и понимать. Этот мир детской мне был более приятен, чем мир веселья, мне чуждого, наверно.

Приехавшему на это веселье Сергею Николаевичу, который в начале вечера тоже нарядился каким-то тирольцем, так понравился маскарад, что он выпросил устроить и еще один, 6-го января. Обещал, что он привезет тогда и своего сына Гришу, и Келлера, и мальчиков Брандт. Варя и Лиза тоже желали этого, и мы согласились.

6 января испекли два пирога с бобами, и боб попался мальчику, Мите Брандту (соседи из Бабурина); он выбрал царицей Вареньку, их так и нарядили царями; нарядили разных дворовых детей и взрослых и ждали из Тулы Сергея Николаевича с своей компанией. Наконец слышим колокольчики, и вскоре буквально ввалила, внося морозный воздух, целая толпа людей.

Тут были и какие-то два музыканта с круглой гитарой и, кажется, скрипкой.

Учитель Келлер нарядился великаном, испугавшим всех, мальчики были паяцами и еще чем-то. Нарядились у меня в комнате, и потом, когда все собрались, началось такое шумное веселье, что у меня разболелась с непривычки голова, особенно когда стали зажигать бенгальские огни, и я опять ушла в детскую. Так продолжалось до третьего часа ночи.

Странный был случай в этот вечер. Сидит сестра Марья Николаевна в комнате тетеньки и следит за пасьясом. Тут же и тетенька на своем синем жестком диване, и Наталья Петровна²⁶, и я сзади на кресле. В столовой и гостиной музыка, песни, пляска. Варя и Лиза в восторге, Сергей и Лев Николаевич на них радуются. Вдруг Машенька резко оборачивает назад голову и говорит с досадой: «Кто это меня по плечу ударил?» Я говорю: «Что ты, Машенька, Бог с тобой, никто к тебе и не подходил». Она не верит, говорит, что глупые шутки. Насилу я ее убедила, что ей показалось. И потом из письма, полученного вскоре после этого, мы все узнали, что Валерьян Петрович, муж Марии Николаевны, умер именно в тот день и

час, когда Мария Николаевна почувствовала удар по плечу, один, в своем рязанском имении²⁷.

Все гости ряженные остались ночевать и пробыли еще несколько дней, веселясь, катаясь и доставляя мне больше хлопот, чем радости. Неопытная в деревенской жизни, я не умела распорядиться в нашем маленьком тогда доме о постелях, ночлегах, еде и проч., и это стоило мне больших усилий.

Зефироты

Я даже рада была, когда все разъехались около 11-го января, и мы остались вдвоем в нашей тихой семейной обстановке. Тетенька тогда тоже уехала в Пирогово и увезла милых девочек. «Улетели наши Зефироты», — с грустью говорили мы.

Прозвание «Зефироты» произошло вот откуда: к нам иногда приезжала из монастыря старая монахиня, крестная мать Марии Николаевны Мария Герасимовна²⁸ и любила рассказывать необыкновенные истории. И вот она раз говорит нам: «Прилетели какие-то не то птицы, не то дельфины, в газетах написано, и от них будут разные бедствия. Животные эти называются *Зефиротами*».

И вот Лев Николаевич раз смотрит на меня и сестру мою и говорит, шутя, конечно: «Жили, жили мы без вас, без тебя и Сони, с тетенькой и Натальей Петровной, а прилетели вы, как Зефироты, и весь дом поставили вверх дном». А потом, когда приехали Варя с Лизой, он и их назвал Зефиротами и говорил, что прилетела новая пара их. Так и пошло это прозвище всем нам надолго. В письмах даже Лев Николаевич часто пишет: «Что Зефироты?» или «Целую Зефиротов».

Помню, мы ходили с Варей и Лизой перед их отъездом смотреть, как начинают строить новую железную дорогу, и я радовалась, что это приблизит нас к Москве и не так одиноко будет жить. А то часто скучно было, особенно без своих родных, и каждый отъезд близких был разлукой надолго по случаю трудных сообщений.

Тоска

Помню я, как в феврале этого года я вдруг начала страшно тосковать. Моей маленькой Тане было пять месяцев. Лев Николаевич был тоже очень вял и вечерами засыпал, а я, уложив детей, бродила по дому и, полная всяких молодых желаний, только в мечтах удовлетворяла их. Состояние это меня, двадцатилетнюю бабенку, и тогда очень испугало. «Неужели и я попаду в категорию тех дам, которые, не находя в себе никаких ресурсов, скучают в деревне и стремятся за границу или в город?» — мучительно спрашивала я себя и боролась с тоской изо всех сил. Одно время мы по вечерам играли в четыре руки симфонии Гайдна и Моцарта, что полегче, так как я тогда играла еще очень плохо, и Лев Николаевич сердился за то, что я так дурно такт держу, и говорил, что мою учительницу музыки надо за это бить по голове сальной свечкой, но я просто плохо разбирала и не могла поспевать за ним. Теперь *он* за мной не поспевает; впрочем, мы только раз с ним играли в эту зиму 1906 года.

Иногда Лев Николаевич читал нам с тетенькой вслух. Но в это время моей тоски он и то перестал делать. Он был очень занят и утомлялся работой над «Войной и миром», так что по вечерам уже только дремал в кресле.

Переписав то, что было нужно на этот вечер, я иногда выбегу на воздух и одна пройдусь вокруг дома; зимняя застывшая природа, тишина, пустынность какая-то еще более усиливали мою тоску. Я пишу в то время в своем дневнике: «Я столько *хочу*, и я все *могу*, у меня столько всякой силы... А сиди, корми, нянчай, ешь, спи — и больше ничего...»

Иногда я даже упрекала мужа, что он все спит, а мне одной так скучно. Но и он, видно, иногда скучал. Помню, раз он заиграл прелюдии Шопена, это было в марте, и я в звуках этих услышала столько грусти, что мне жаль его стало.

Посетителей у нас было мало. В эту зиму приезжал на короткое время Фет с женой²⁹; потом Марков³⁰ с мальчиком. Мы возили Сережу и этого мальчика на конюшню и скотный двор, и дети радовались, как всегда, на разных животных и птиц. Те умные, больше педагогически разговоры Евгения Маркова и Льва Николаевича меня тогда совсем не интересовали.

Сергей Николаевич

Бывал у нас и Сергей Николаевич, брат Льва Николаевича. Но его настроение бывало очень изменчивы, и я боялась его. То он скажет что-нибудь резкое, а то вдруг слишком ластовое. Раз он мне говорит: «Счастье людей — это удовлетворение пяти чувств. Вот, например, я слушаю пение Татьяны Андреевны (моей сестры), ем персик, нюхаю эти цветы (букет на столе) и смотрю на вас — и я вполне счастлив».

А то еще высказал он свою теорию: «Только и хорошо на свете, что любовь, луна, соловей, музыка». Я совершенно согласилась с ним, а Лев Николаевич нахмурился и неодобрительно отнесся к такому разговору. Он смотрел на меня, как будто хотел сказать: «Тоже рассуждает!»

Мне всегда казалось, что Лев Николаевич пугался и не любил, когда я выхожу из области интереса детской, кухни и материальной женской жизни. Сам он точно берег свой внутренний поэтический мир и любил им жить и наслаждаться один, не считая за другими этого права.

Затосковалась я до того, что у меня сделалась невралгия в левой брови, и я страшно страдала, терпеливо ожидая ответа из Москвы от отца, как помочь моим болям. Болезнь повлияла на молоко, и моя Танюша стала хворать желудком. Сережа, который уже ходил, даже плясал, тоже болел. Но подходила весна, и скоро все обошлось. Я готовила седло, чтобы ездить верхом, сестра Таня тоже собиралась приехать в апреле. Роман ее с Сергеем Николаевичем должен был прийти к концу; очевидно было, что он не бросит свою цыганку Машу. А тут еще случилось горе, у него умер его любимый сынок Николенька, кажется, двух лет или поменьше. Уж ожидалась тогда и Верочка, родившаяся в мае 1865 года.

Ревность к сестре Тане

Но сестра Таня не переставала любить Сергея Николаевича и как будто все на что-то надеялась. Тогда Лев Николаевич попался на то, что стал ее всячески утешать и развлекать. То он брал ее на тягу вальдшнепов, и они вдвоем проводили вечера весенние в лесу, а я мыла в ванночке дома в это время своих малышей, и кормила, и укладывала спать мою Таню. То они уезжали надолго вдвоем верхом, и, хотя мне часто самой ужасно хотелось ехать с мужем верхом, я уступала лошадей и оставалась дома с грустью. А то они ездили на охоту целыми осенями. Любя и мужа, и сестру, я не позволяла себе ревности. Но я иногда плакала и смутно сознавала, что Льву Николаевичу веселей с свободной, веселой, ловкой певуньей Таней, чем с озабоченной детьми и хозяйством, несвободной и уже надоевшей женой. А мне было только двадцать лет.

Как-то в дневнике раз прорвалось мое чувство ревности, и я пишу 3 мая 1865 года: «Сестра Таня слишком втирается в нашу жизнь»³¹. И теперь я думаю, что, не будь романа моей сестры с братом Льва Николаевича — Сергеем Николаевичем, близость моего мужа с сестрой могла бы дурно кончиться.

Никогда не надо никого, ни мужчин, ни женщин, допускать близко в интимную жизнь супругов, это всегда опасно.

Помню, раз летом собрались все кататься: оседлали лошадей, запрягли экипажи — катки и кабриолет; была тут Ольга Исленьева³², сестра Таня и гости какие-то. Вышла и я на крыльцо, робко ожидая распоряжения Льва Николаевича, куда меня посадят, так как все устраивал он. Но, когда все сели, не спросив даже меня, чего я желаю, Лев Николаевич обратился ко мне и сказал: «Ты, разумеется, дома оста-

нешься?» Я видела, что места больше нет, и, едва сдерживая слезы, я ничего не ответила. Но только что все отъехали, я принялась так горько плакать, как плачут дети; плакала долго, мучительно и не забыла этих слез и до сих пор, хотя с того времени прошло больше сорока лет.

И сколько порывов молодых, часто вполне невинных, сколько горячих желаний пришлось подавлять в моей ровной, спокойной жизни! Энергия моя, столь яркая, что до сих пор, как кличка, приписывается и прилагается ко мне всеми, уходила на мою семью, на домашние дела, но иногда я душила ее — тосковала и энергию употребляла на то, чтобы ее же подавлять.

Летом этого 1865 года роман сестры с братом Льва Николаевича Сергеем Николаевичем снова возобновился, что очень нас огорчило. Тетенька Татьяна Александровна смотрела на это тоже недоброежелательно и была права. Жаль было цыганку Машу, только что родившую дочь Веру, и дурно, и опасно было ее оставить и потом, пожалуй, снова вернуться к ней, порвав с Таней. 9-го июня они все-таки высказали свое решение вступить в брак. Они были оживлены, гуляли вдвоем, смеялись. Таня начала готовить себе приданое, но не верилось в этот брак. Действительно, вскоре Сергей Николаевич опять стал удаляться от Тани, и мы убедили ее отказать ему, что она и сделала, но со страшным трудом и отчаянием³³. Тогда мы решили ее увезти.

Никольское. Кумыс. Дьяковы

Собрались ехать в наше другое имение Чернского уезда — Никольское-Вяземское. Там был маленький дом, в котором всю жизнь жил умерший брат Льва Николаевича Николай³⁴. Кое-как разместились, приобрели трех кобыл для кумыса и стали делать сами кумыс и поить очень ослабевшую сестру Таню. Боялись, что у ней будет чахотка. Она худела, кашляла, сидела в тоске неподвижно в своей комнате, глядя в одну точку; изредка брала гитару, пела, но тотчас же бросала и начинала плакать. Тяжело было и жить с ней, и смотреть на ее страдания. Ей было тогда без малого девятнадцать лет, а мне почти двадцать один.

Соседями в Никольском были, главное, Дьяковы³⁵. Они приезжали к нам, и мы бывали у них; раз мы всей семьей туда переехали, в Черемошню. Дьяков был такой веселый, добрый, гостеприимный; жена его Долли чрезвычайно нас всех ласкала, а впоследствии как-то особенно горячо, даже болезненно привязалась к сестре Тане, которая и осталась потом осенью и часть зимы гостить у Дьяковых. И опять из этого вышел роман. Дьяков влюбился без памяти в сестру Таню и, когда умерла его жена³⁶, сделал ей предложение. Но он был более чем на двадцать лет старше ее, и она ему отказала и вышла за Кузминского.

У Дьяковых особенно забавлялись все моей маленькой Таней. Ей было десять месяцев, она была живая, прелестная девочка. Раз все барышни и сестра Таня стали слегка прикладывать ее лбом к стенке и приговаривать: «Тане больно. Бедная Таня». И она начинала притворно жаловаться и тереть ручкой лоб. Кто-то слишком сильно ее ударил, и она вправду заплакала. Тогда я рассердилась и унесла ее. Сережа был другого характера: серьезный, флегматичный; лучшее удовольствие его было, когда кучер Павел возьмет его на руки и несет в конюшню к лошадям. Только завидит он его издали, уже просияет и радостно кричит: «Па! Па!»

В это лето нас ужасно напугала маленькая Таня своим жаром. Шли зубки, и она три дня горела, и я, плача над ней, все клала ей на голову холодные компрессы; но ни доктора не позвали, ни льду не было, только колодезная вода. Так и прошло.

Фет

Раз Лев Николаевич уехал с сестрой к Дьякову; сижу я одна со своей маленькой Таней, няню отпустила обедать, слышу колокольчик. Жили мы тесно, при-

слуга вся обедает, все отперто. Входит вскоре господин и прямо называет себя, как бы незнакомый: «Фет, старый друг вашего мужа, позвольте вам вновь представиться»³⁷.

Я сразу его не узнала, страшно сконфузилась, сказала, что мужа дома нет, пригласила сесть. Но, на беду, пора была кормить грудью девочку; я держала ее на коленях, и она изо всех своих маленьких сил старалась расстегнуть или, вернее, разорвать мое белое тонкое нансуковое платье. Я конфузилась до слез. Наконец Фет с улыбкой сказал: «Ваша девица предъявляет законные требования, пожалуйста, не церемоньтесь со мной».

И я ушла кормить, потом передала ребенка няне и вышла к Фету, который потом писал про нас: «Эта прелестная краснеющая мать, как Мадонна с прелестным ребенком на руках...»³⁸ Вообще он как поэт все идеализировал и был совершенный прозаик в жизни своей обыденной.

В Покровском

Еще посещали нас тогда молодой сосед Волков, сестра Машенька с дочерьми своими, пригласившая нас к себе, и в июле мы переехали к ней в ее Покровское. Поместили меня с детьми и няней в темной кирпичной бане, не употреблявшейся летом, а Лев Николаевич на это время уехал на охоту к Киреевскому, богатому помещику Орловской губернии, и в то же время хотел съездить к Шатилову³⁹ посмотреть его образцовое хозяйство.

Страшно тогда я заскучала без Льва Николаевича. Я до такой степени чувствовала себя частью его, так страстно его любила, что вся жизнь казалась мне ничтожной, все ни к чему — без него. Писала я ему ежедневно и больше всего о том, как я его люблю, как беспокоюсь о нем и прошу беречь себя. Ббльшей любви женщина не может испытать, как та, которой я любила Льва Николаевича. Он был некрасив, не очень уже молод, у него было всего четыре гнилых зуба. Но та радость, которая поднималась во мне при виде его где бы то ни было, ожиданно или тем более неожиданно, была радость, освещавшая долго, долго мою жизнь...

И где бы и с кем бы мы ни жили, полное счастье было тогда, когда мы снова оставались вдвоем. Так, например, погостив еще у Дьяковых, он пишет где-то: «Вернулись с Соней в Никольское, я так этому счастлив». И тогда же пишет: «Я так счастлив, как бывает один из миллиона людей».

Когда мы в сентябре гостили у Дьяковых, Лев Николаевич там занимался, а я ему переписывала.

В сентябре же написано было в «Войне и мире» сражение при Брану⁴⁰.

А то раз он мне говорит там же, в Черемошне, у Дьяковых: «Сегодня како-го я дипломата нашел — прелесть». Это был тип Билибина в «Войне и мире».

Я с недоумением посмотрела на него и огорчилась, что не понимаю его, не знаю даже хорошенько, что такое дипломат. И сколько раз в жизни моей молодой я не в силах была, хотя душой горячо тянулась к тому, чтобы понять Льва Николаевича и его творчество.

Делали мы тогда с Львом Николаевичем планы зимой поехать сначала в Москву, потом за границу и взять с собой для излечения сестру Таню. «Когда кончу вторую часть «Войны и мира», тогда поедем», — говорил Лев Николаевич⁴¹. Но мы так и не поехали никуда и никогда.

Охота в Никольском

Всю осень в Никольском Лев Николаевич охотился; а то в октябре мы опять для охоты поехали в Покровское, к Машеньке, и он затравил там лисицу и зайцев и радовался этому. Пригласил он раз и меня на охоту с гончими и борзыми в Никольском. Поставил меня с двумя борзыми на опушке леса и дал свору борзых на верев-

ке. Собаки рвались, я едва их держала. Стою, смотрю, слушаю. Вдруг гончие погна-ли с лаем и визгом прямо на меня. Беру лорнет неловко левой рукой, правая же едва держит уже рвущихся изо всех сил борзых. Смотрю — мягкими шагами тихо выхо-дит из леса лисица. Увидав меня, она останавливается. Не зная правил охоты, необ-ходимости выждать, я страшно взволновалась и пустила собак. Лисица мягко повер-нула хвостом и ушла опять в лес.

Вдруг скачет Лев Николаевич — недовольный, в каком-то азарте. «Злодейка, оттопала лисицу!» — кричит мне он. И долго не мог он мне простить, что я рано спу-стила борзых и дала уйти лисице.

Еще как-то в Ясной Поляне я ездила осенью на охоту с Львом Николаевичем и сестрой Таней. Близорукие глаза мои не были приспособлены к охоте, и я как охот-ница никуда не годилась. Наехала я на двух зайцев; сначала вижу, что-то шевелится. Взяла лорнет, смотрю: лежат два таких миленьких зайца, совсем рядышком. Так мне стало их жаль; я поколебалась, дать ли знак охотникам, что я «подозрела», как вы-ражаются охотники, зайцев. Но все-таки подняла арапник и сказала: «Ату его!» В это время зайцы вскочили и разбежались в разные стороны. Так их и не поймали. Но зато меня бранили и презрительно упрекали, что «вот дуракам счастье, сразу двух зайцев подозрела и не умела их взять».

Опять в Ясной Поляне

12-го октября 1865 года мы вернулись в Ясную Поляну, оставив сестру Таню у Дьяковых. Тетенька была рада нашему возвращению, а я тоже охотно очутилась опять дома. Да и переезды в экипажах с двумя маленькими детьми очень утомили меня. К тому же я стала дурно себя чувствовать, вероятно, по случаю новой бере-менности. И тут же, в конце октября, я начала отнимать от груди Таню. Отнятие это всегда мне было очень тяжело и физически, и нравственно. Вся грудь превра-щалась в камни, больно было тронуть; ходишь забинтованная, аппетит пропадает, лечь нельзя ни на какой бок, а на спине — давят эти налитые затвороженным мо-локом груди.

Нравственно же страдаешь, во-первых, этим первым разрывом с ребенком, ко-торый год лежал у груди, улыбался, любил тебя; а во-вторых, жаль ребенка, тоску-ющего без матери. Бывало, прощаешься с ним, крестишь его, молишься над ним, прося Бога о его счастье, о сохранении его жизни. Больше всех я так расставалась с Левой⁴² и Ванечкой⁴³.

И вот опять началась наша однообразная яснополянская жизнь. Дети, перепис-ка, хозяйство, чтение и игра в четыре руки. Так же правильно по утрам садился Лев Николаевич за свое писание, как и во всю последующую жизнь, ездил верхом, гу-лял, и только одно, что тогда немного изменилось, — это его страстное отношение к хозяйству. Он пишет даже в одном письме: «Хозяйство очень скучно, что делать, не умел».

Осенью, в октябре, стал Лев Николаевич чаще хворать. Бывали у него такие го-ловные боли, *мигрени*, что он по суткам лежал с теплой шапкой на голове и его рва-ло страшно желчью. И вообще он страдал печенью, и желчь разливалась у него по всей крови; он желтел, делался мрачен; эта болезнь осталась у него навсегда и воз-вращалась иногда с бурными и опасными для жизни явлениями. В нынешнем 1906-м году и 1905-м эти явления не повторялись в острой форме: Лев Николаевич стал мно-го осторожнее в пище.

Писательство в то время так сильно овладело им, что он тяготился даже посе-щениями друзей. Так, например, он пишет в дневнике: «Дьяков приезжал, я ему рад, а день пропал»⁴⁴. И дальше он пишет 19 марта 1865 года: «Сейчас меня охвати-ла облаком радостная мысль написать психологическую мысль Александра и На-полеона»⁴⁵.

В ноябре работа Льва Николаевича над «Войной и миром» шла так успешно, что он сам радовался на нее, а я, переписывая, жила всей душой с этими лицами и со-бытиями и, переписывая, ждала, как от живых лиц, тех перемен судьбы, которые встречались в жизни описываемых Львом Николаевичем лиц и героев.

Ссоры

Иногда мы ссорились. К сожалению, должна признаться, что большей частью это происходило после периода слишком страстных и частых проявлений физической любви Льва Николаевича. Он делался холоден, придирчив или поднимал вопросы, мне тяжелые и страшные. Так, например, начнет собираться на предполагаемую в сентябре еще 1863 года войну⁴⁶. Говорит, что недостойно мужчины сидеть у жены и детей, когда он может быть полезен отечеству. Я плачу, упрекаю его, и мы делаемся холодны, иногда враждебны друг к другу. А то ссоримся из-за пустяков. Особенно досадно мне бывало, когда Лев Николаевич мое грустное настроение или недовольство чем-нибудь приписывал причинам физическим: «Что ты не в духе, верно, еще натошак, не ела ничего». Или: «Что ты сердиться, верно, желудок твой не действовал сегодня».

Я пишу где-то в дневнике: «Не люблю, когда он сердится, точно он провинчивает меня *всю*».

Позднее я лучше поняла, откуда происходило настроение моего мужа. У него была больная печень, расположение к желчности. И когда желчь его мучила, он сердился. Еще в начале моего замужества мой отец пишет нам о том, что у Льва Николаевича больна печень, советует ему пить «Киссинген» и есть преимущественно растительную пищу. Впоследствии Лев Николаевич стал вегетарианцем, самым строгим.

Не любила я, когда Лев Николаевич опаздывал к обеду; а опаздывал он очень часто. Я старалась себя убеждать, что это мелочность с моей стороны, и оправдывала Льва Николаевича тем, что такой гениальный человек не может быть так мелочен, чтобы считать важным опоздание к обеду. Но иногда, долго дожидаясь, я сердилась и упрекала ему.

Надрез

Раз он мне высказал мудрую мысль по поводу наших ссор, которую я помнила всю нашу жизнь и другим часто сообщала. Он сравнивал двух супругов с двумя половинками листа белой бумаги. Начни сверху их надрывать или надрезать — еще, еще... и две половинки разъединятся совсем.

Так и при ссорах; каждая ссора делает этот надрез в чистых и цельных, хороших отношениях супругов. Надо беречь эти отношения и не давать разрываться.

Трудно мне было обуздать себя, я была вспыльчива, ревнива, страстна. Сколько раз после вспышки я приходила к Льву Николаевичу, целовала его руки, плакала и просила прощения.

В его характере этой черты не было. Гордый и знающий себе цену, он, кажется, во всей своей жизни сказал мне только раз «прости», но часто даже просто не пожалевает меня, когда почему-нибудь обидел меня или замучил какой-нибудь работой⁴⁷. Странно, что он даже не поощрял меня никогда ни в чем, не похвалил никогда ни за что. В молодости это вызывало во мне убеждение, что я такое ничтожное, неумелое, глупое создание, что я все делаю дурно. С годами это огорчало меня, к старости же я осудила мужа за это отношение. Это подавило во мне все способности, это часто меня заставляло падать духом и терять энергию жизни.

Неужели я так-таки *ничего* хорошего не делала? А как я много старалась.

Поощрение, похвала иногда действуют на людей возбуждающим средством. Делаешь усилие — и воспрянешь...

Стремление же к хорошему, несомненно, жило во мне. Так, например, я пишу в дневнике 1865 года, как я поссорилась с няней, как я раскаивалась в этом: «Я хочу быть хорошей и видеть все свои недостатки, и пусть мне никто, а главное, я сама ничего не прощают...»

Помню, в этом же году я была больна лихорадкой и сильной невралгией. Лев Николаевич, всецело придерживавшийся поговорки «Муж любит жену здоровую», был очень холоден и недобр со мной. Он был так мрачен и не в духе в марте этого 1865 года, что сам про себя пишет: «Я был дурной эти дни...»

Отношение же Льва Николаевича, как будто меня и на свете нет, страшно меня огорчало, хотя признание, что он «был дурной эти дни», тронуло меня.

В такие периоды я спасалась в любви к детям. Например, я пишу в дневнике в марте 1865 года: «Я вся в детях. Когда Таня лежит у моей груди, а Сережа обнимает меня ручонками, я так счастлива, что нет во мне ни ревности, ни горя, ни сожаления о чем-нибудь, ни желаний,— ничего. Мои орудия, чтобы стать с Левочкой ровно, только дети, энергия и молодость... А теперь я больна, я только для него — чумная собака».

Летом приезжали к нам Фет с женой уже в Ясную Поляну, куда мы вернулись. Лев Николаевич читал Афанасию Афанасьевичу военные сцены из «Войны и мира»⁴⁸, но описанья сражений и военных действий мне в то время были скучны. Фет же очень восхищался всем и всегда считал, что эпическая форма в произведениях Льва Николаевича — лучшая.

По поводу последних глав «Войны и мира». Лев Николаевич недавно кому-то рассказывал, что Стендаль (писатель) имел на него влияние по отношению взгляда на войну. Читая описание Стендаля битвы при Ватерлоо, Лев Николаевич нашел так много общего во взглядах Стендаля на войну, что провел ту же мысль и в военном отделе «Войны и мира»⁴⁹.

1900 год

Предисловие

Материалов для дальнейших записок моих у меня все меньше и меньше, так как дневники и все бумаги, начиная с 1900 года и до конца жизни Льва Николаевича, находятся у дочери Саши. Был слух, что все отдано Академии, в Петербург. Мои же все бумаги теперь в Румянцевском музее в Москве⁵⁰.

Дневника я в 1900 году не писала. Записываю разные отрывочные сведения.

Шаляпин. Приют

После того как я вернулась с детьми из Гриневки, от сына Ильи, мы вместе с Львом Николаевичем встретили Новый год. Он пишет в дневнике: «1-го января сижу у себя в кабинете, и у меня все, встречая Новый год».

В то время в Москве и Петербурге быстро прославился новый молодой певец Федор Иванович Шаляпин⁵¹, из простонародья. Он пожелал петь Льву Николаевичу и приехал к нам 8-го января. Очень симпатичный, веселый и талантливый, он, как личность, произвел на всех нас очень хорошее впечатление. При всем том Шаляпин был привлекателен своею простотой. Не помню, что он тогда пел. Голос его, бас, был слишком громок для нашей залы, и Льву Николаевичу не особенно понравился. Но молодежь наша была в восторге. Не могла и я не отдать справедливости огромному таланту Шаляпина, но я была тогда не в радостном настроении, и потому пение Шаляпина мало меня тронуло в тот вечер. Пишу, между прочим, сестре: «Отпадают мало-помалу все радости жизни... Я выработала в себе мудрое отношение ко всему, а именно: жить *сегодняшним* днем, как можно лучше, веселее, счастливее, содержательнее и относиться со смиреньем к *воле* Божьей и со *спокойствием* перед своеволием людей, и мне стало более или менее хорошо».

1-го января я получила наконец от цензуры позволение на 2 экз. «Воскресения» в чертковском издании⁵², но меня уже перестало оно интересовать в том виде. Столько было в нем мне чуждого и неприятного, вроде описанья обедни, странных отзывов о причастии и тому подобное.

11-го января я получила от хорошей моей знакомой, графини Эм<илии> Ал<ексеевны> Капнист письмо, в котором она изъявляла радость, что я согласилась быть попечительницей основанного ею приюта для бесприютных детей. Пишет мне: «Молю Бога, чтобы это святое дело принесло вам столько же сердечной радости, сколько любви вы на него с самого начала полагаете».

Как только я сделалась попечительницей, по просьбам моим на помощь приюту посылались разные пожертвования: 130 арш. бумагеи от Гюбнера, бумага от Говарда, сукно от Попова, книги, даровые бани и проч. С. Н. Фишер, начальница женской классической гимназии, нашла дарового законоучителя и почему-то пишет: «Это опять одно из чудес». Графиня Капнист сначала передала свой приют А. Н. Унковской, но обе они не могли продолжать свою деятельность по причине нездоровья. Не имея никакого в Москве дела, которое я считала бы делом *добрым*, я решилась взять на себя это совершенно мне незнакомое дело, но очень робела, не зная, хорошо ли буду исполнять свои обязанности.

Назначено было заседание в доме попечителя приюта, князя Николая Петровича Трубецкого. На этом заседании подвергались обсуждению текущие и хозяйственные дела приюта. Как-то выходило, что с милейшим старым князем Трубецким у меня всегда было полное согласие во мнениях.

На одном из заседаний с самого начала меня выбрали единогласно в попечительницы и помощницей мне назначили княгиню Урусову, рожденную Лавровой. Раз она вдруг высказала мнение, что в приюте надо воспитывать *прачек*, потому что в них большой недостаток для нас, господ. В приюте наши девочки могли оставаться только до тринадцати лет, потом мы их размещали, куда могли. Какие же могли быть прачки в тринадцать лет? «Во всяком случае, княгиня,— возражала я,— мы как попечительницы должны думать не о наших удобствах, а о том, что полезно и лучше для вверенных нам детей». Князь приподнялся в кресле и сказал: «Я совершенно согласен с графиней», то есть со мной.

Я всегда любила детей и горячо взялась за приют. Собирала членские взносы, причем купец Морозов⁵³ спросил моего посланного: жена ли я Льва Николаевича? И на утвердительный ответ прислал вместо 5 р. членского взноса 50 рублей.

Сама я внесла в приют 2000 рублей, деньги покойного Ванечки. Купила корову, связала и сваяла 32 шапки мальчикам, привозила детям игрушки, апельсины, которые привезла раз вечером и раздала их уже тогда, когда дети были в постелях, что вызвало шумное веселье.

Когда я приезжала в приют, дети бросались ко мне навстречу с радостными криками: «Графиня приехала!» Существует афиша концерта с группой детей, окружающих меня, в приюте.

Привезли нам раз в приют мальчика, которого заставляли в мороз кривляться в шутовском наряде на балконе балагана. Отец его был пьяница, а мать умерла. Этот мальчик оказался очень добронравным и умным. А то привезли трех детей: двух мальчиков и одну девочку, очень уменькую и миленькую. Старший мальчик подавнием и часто сухими корками кормил себя и брата с сестрой. Когда его взяли в приют, он скоро оказался каким-то царьком по уму и поведению среди всех мальчиков. Учился прекрасно, и мы его потом отдали в городскую школу. Зато меньшой мальчик оказался каким-то диким зверьком, не умевшим даже чистоплотно удовлетворять своим нуждам. Но за него энергично принялась наша очень хорошая начальница приюта и воспитала его.

Учили у нас старших мальчиков, кроме грамоты, шить сапоги, а девочек вязать, шить и стряпать поочередно. Постом я говела в приюте с детьми и всеми нашими служащими.

Так как приют существовал на средства благотворителей, то, боясь остаться без средств, приходилось прибегать к разным способам доставания денег. И вот я затеяла устроить литературно-музыкальный вечер в пользу моего приюта. Много пришлось хлопотать. Был тогда в Москве некто Литвинов, который довольно хорошо дирижировал и имел свой небольшой оркестр. Он согласился участвовать в моей затее и поставил Аренского «Бахчисарайский фонтан», слова Пушкина. Очень красива эта музыкальная поэма, сочиненная Аренским специально к Пушкинским празднествам⁵⁴. Потом М. А. Стахович прекрасно прочитал небольшой отрывок Льва Николаевича «Кто прав?»⁵⁴, который мне дал Лев Николаевич для моего концерта. Приезжал Вержилович и превосходно сыграл «Арию» Баха и другие вещи на виолончели.

Весь концерт носил характер нарядного аристократического праздника. Пуб-

лика была избранная; за несколькими столами с корзинами цветов сидели по две и по три барышни из высшего общества, одетые в нарядные белые платья.

Сама я, моя новая помощница, Ан<на> Ал<ександровна> Горяинова, и исполнительницы в концерте — все были в нарядных белых платьях. Барышни продавали афиши, на которых была изображена группа всех детей приюта со мной и со всеми служащими⁵⁵.

Много было мне хлопот, а выручили денег немного: всего 1500 рублей. Пришлось представлять в цензуру отрывок для чтения на этом вечере; ездить к Великому князю⁵⁶ за разрешением концерта. Начальство боялось овации по отношению ко Льву Николаевичу, и <обер->полицмейстер Трепов мне делал запрос о том, не помогу ли я умирить публику в том случае, если будет шум и беспорядок. Мне это показалось даже смешно. И все-таки мне сделали неприятность, которая имела последствием столь незначительную денежную выручку. А именно: переодетых полицейских послали к Собранию останавливать публику, которой говорили: «Вы в концерт? Ни одного билета нет, все распродано, не трудитесь и входите». Результатом было то, что все дорогие места и хоры были полны, а за колоннами и дешевые места были пусты.

В 1901 году я уехала в Крым с больным мужем⁵⁷ и передала заботы о приюте моей помощнице Анне Александровне Горяиновой. Все нужное, одежду, пищу, учебные принадлежности и проч., я доставила приюту. И вдруг я получаю от нашего нового председателя, Бутенева, письмо, в котором он пишет, чтоб я *возвратилась к исполнению моих обязанностей или* вышла в отставку. Служила я попечительницей бесплатно, в приюте все было доставлено, что нужно; была моя заместительница, и вдруг такое грубое ко мне отношение! Я немедленно написала и послала прошение об отставке и сообщила обо всем милой графине Капнист. Выслушав меня, она очень огорчилась и даже заплакала. «Восемь лет я мечтала о вас как о попечительнице,— говорила она,— и вдруг вам наносят такое оскорбление!»

Бутенев потом спохватился и писал мне, что на коленях просит простить его. После меня сменилось много попечительниц⁵⁸, и наконец приют сдали городу.

Сын Андрюша в метель. Гости и живущие. Начало «Трупа»

В январе, 8-го, в тот день, как у нас пел Шаляпин, вернулся в Москву Андрюша⁵⁹ и вошел торжественно в залу к радости жены своей, Ольги⁶⁰, рождение которой было как раз в этот день. Он ездил в деревню, не помню куда, с приказчиком Ясн<ой> Пол<яны> Вячесл<авом> Ляпуновым⁶¹. Еще они не доехали до своей цели, как поднялась страшная метель. Ехать дальше было немислимо. Наступила ночь, было холодно и темно. К счастью, среди поля стоял скирд. Они подъехали к нему и, чтоб не замерзнуть, стали понемногу сжигать его, греясь у огня. Так сожгли они до утра весь скирд, за который заплатили потом владельцу 200 рублей. Оказалось, что, заблудившись в эту метель в поле, Андрюша и Ляпунов проехали три версты в продолжение восьми часов. Хорошо, что все это я узнала позднее. И сколько раз бедный мой Андрюша подвергался опасности! Когда он служил в Твери вольноопределяющимся, как-то катался он по Волге с несколькими другими лицами. Лодка стала наполняться водой и тонуть; все общество принуждено было вылезть на большую льдину, которая плыла по реке. Андрюша бодрил всех, хотя опасность была очень велика, и не помню уж как, но все были спасены. Кажется, с берега увидали погибающих и подплыли в другой лодке, на которую и взяли всех. И все-таки не дожил он до старости, и теперь его уже нет на свете, а я, старая, живу с этой тяжелой раной в сердце, причиненной мне смертью Андрюши в ночь с 23-го на 24 февраля 1916 года. Был он и на японской войне, разбила ему голову лошадь; все он перенес, а все-таки ушел раньше меня.

В ту зиму 1900 года жил Андрюша с первой женой своей, Ольгой, у нас, в Хамовническом доме. И никогда не было у нас столько гостей, как в ту зиму. Гостила у нас и сестра Льва Николаевича Мария Николаевна, приехавшая из своего монастыря близ Шамардина. Я очень любила свою золовку, но жизнь с ней бывала подчас тя-

жела, и я очень уставала от ее странностей. Когда она бывала спокойна, она была чрезвычайно приятна; но невыносима, когда приходила в ворчливое и суетливое состояние. Грустно было видеть, как по мере приближения конца жизни возрастали ее житейские заботы. Мария Николаевна была тогда вся поглощена покупками провинции, вещей, платочков и проч. Кроме того, она имела обожание к своему московскому духовнику отцу Валентину⁶², умному старому священнику Благовещенского или Архангельского собора — не помню.

Пишу сестре, что требования семьи и людей относительно меня возрастают не по дням, а по часам. С Марией Николаевной я любила беседовать, хотя религия ее принимала все больше и больше характер суеверия и мистицизма, веру в чудодейственные иконы, в влияние людей. От ее речи пахло стариной, точно голос из того века рассказывал мне интересные истории. Кроме того, она была очень музыкальна, играла сама очень хорошо и любила музыку. Много было в ней настоящего юмора и даже комизма. Хотя она была с Львом Николаевичем разных точек зрения на религию и в этом с ним расходилась, она очень его любила, так же как и он ее, особенно последние годы его жизни.

Лев Николаевич в то время был очень заинтересован возникавшими в Москве народными развлечениями и вообще театром, главное с точки зрения народа. Он посещал эти народные представления, а в январе того года пошел даже в Художественный театр посмотреть пьесу Чехова «Дядя Ваня». Рассказы Чехова Лев Николаевич очень любил, но пьеса эта ему совсем не понравилась⁶³. И пришла ему в голову мысль написать самому пьесу в драматической форме под заглавием «Труп», впоследствии названную «Живой труп». Кто-то рассказал Льву Николаевичу этот эпизод, взятый из жизни. Сюжет его такой: запутавшийся в жизни человек, желая скрыться навсегда от всех, положил на берегу реки свою одежду и ушел. Сочли его утонувшим, хотя не могли найти его трупа. И вот из этого возникла пьеса Л^{ьва} Н^{иколаевича} «Живой труп», уже дополненная различными эпизодами, сочиненными Львом Николаевичем⁶⁴.

Каким-то образом о пьесе этой узнал сын того человека, которого считали утонувшим. Он уже был осведомлен о том, что отец его жив, и вот этот мальчик пришел к Льву Николаевичу и просил его не печатать этого произведения, так как это могло повредить его отцу. И Лев Николаевич надолго отложил эту работу, и печатание, и представление этой драмы. Самый этот человек — труп — приходил к Льву Николаевичу, прося его найти для него какую-нибудь платную работу, так как он был очень беден. И место доставил этому человеку добрейший Николай Васильевич Давыдов.

Разъехались мои дети. «Власть тьмы» в Нью-Йорке. Гости. Лев Николаевич записывает обед

В январе 1900 года Таня, дочь, была с мужем в санатории Pürkersdorf'e, сын Лева с женой и ребенком в Флоренции, Риме, который считал более языческим городом, чем Флоренцию, и потом ездил еще в Cannes, туда, где жил раньше и лечился больной.

Миша служил еще в полку⁶⁵ и продолжал иметь большой успех в московском свете. Андрюша с Ольгой должны были уехать весной в Ясную Поляну для родов Ольги. Остальные дети жили по своим имениям.

Получила я тогда три письма, заинтересовавшие меня. Одно было от Гали Чертковой при посылке мне книг «Воскресения». Впоследствии Чертковы стали врагами нашей семьи⁶⁶, а вот что тогда писала мне Галя 2-го января: «Радостно видеть людей, которые под старость лет *не старятся* душой, но растут и украшают собой землю. Это большое счастье». И все письмо ее полно нежных слов, относящихся ко мне.

Другое интересное письмо было от нашей американской знакомой miss Hargood, раньше побывавшей в России и у нас⁶⁷. Она пишет, что «Воскресение» уже проникло в Америку и его печатают, отрывками. Но она не хочет читать, пока не выйдет все.

Еще пишет она, что в Нью-Йорке ставят в театре по-английски «Власть тьмы». Перевод она поправит, костюмы у них есть, но очень затруднительны декорации, внутренность избы и проч. сценичная обстановка.

Третье заинтересовавшее меня письмо было от известного священника, Григория Спиридоновича Петрова⁶⁸, сообщавшего мне о назначении Льва Николаевича в почетные члены Императорской Академии Наук, и хочет приехать к нам 27-го января.

26-го января посетили нас три молодых человека, приехавшие в Москву на чью-то свадьбу, кажется, Шереметева. Очень робкий, конфузливый и скромный принц Петр Александрович Ольденбургский, граф Ламсдорф и моряк Шереметев. Приезжали вечером, пили у нас чай и так и впились глазами в Льва Николаевича, который очень хорошо с ними беседовал.

В январе же, около 7-го, нас посетил в Москве Вл<адимир> Вас<ильевич> Стасов и ходил с Львом Николаевичем в Третьяковскую галерею. Л<ев> Н<иколаевич> очень бранил живопись Васнецова, говорил, что это мерзость, а что живопись Ге — прелесть. Стасов пробыл в Москве только два дня.

В то время я не могла заниматься дома музыкой, потому что весь дом был полон гостей, и вместо музыки усердно писала свой роман и кончила его. Но предстояло еще его поправлять⁶⁹. Собиралась учиться по-итальянски, одна, и уже купила себе учебник-самоучитель. Жить одними практическими делами и материальными заботами я никогда не могла и всегда бросалась на какое-нибудь искусство или на чтение философов.

Как-то я была на музыкальном вечере у Муромцевой (Климентовой), и, когда во 2-м часу ночи я еще не вернулась, Лев Никол<аевич>, чтоб облегчить мне дела перед сном, записал повару и постный, и скоромный обед. Это имело большой успех, все смеялись. И так он это старательно сделал, выписывая крупным своим почерком: «Пирог с рисом и семгой» и проч.

Об отношении Льва Николаевича ко мне и сыну Сереже. К духоборам

Лев Николаевич очень сокрушался о болезни дочери Тани, которая в то время, в январе 1900 года, была в Риме. Ее гайморит очень ее тревожил, и предстояла вторичная операция. Сам Лев Николаевич был здоров и добр ко мне. Пишет Тане 20-го января 1900 года: «В нашей жизни хорошо то, что я живу очень дружно с мамá, что главное, и так же с Сережей — все ближе и ближе, и умильнее и умильнее. Когда начинает спрашивать о действии моего желудка и с робостью предлагает мне тереть спину в бане, то это действует особенно умильнее»...

Гостили у нас тогда дочь Маша с Колей, ее мужем⁷⁰, оба жалкие, безжизненные. Маша, выйдя замуж за ленивого, сонного Оболенского, утратила свою энергию и последнее здоровье.

Проезжая тогда по железной дороге, Лев Николаевич узнал, что работы там производятся в течение 36 часов, и это его ужаснуло. Он написал об этом небольшую статью, которую дал для напечатанья князю Барятинскому в «Северный курьер»⁷¹.

15-го февраля Лев Никол<аевич> написал письмо, обращенное к переселившимся из России в Канаду духоборам. Он убеждал их продолжать жить христианской жизнью, во имя которой они выселились из России. Советовал жить мирно, бескорыстно и не стараться захватить собственность в свое личное владение, а владеть имуществом всем вместе, дружно и сообща.

Ученический вечер в консерватории. Операция Тани. Возвращение семьи Левы

7-го марта уехали в Ясную Поляну Ольга и Андрюша. В апреле ждали рождения ребенка и для этого события переехали в деревню, в тишину и здоровые условия. Тем более что мы все были встревожены предстоящей Тане новой операцией во лбу.

Жили тогда у нас Маша с Колей целых три месяца, и она писала потом, что ей у нас было очень, очень хорошо. Сообщает между прочим, что сын Илья⁷² продал свое чернское имение Гриневку, а что сама она очень увлекается фотографией и посевом цветов в ящиках. Хотя для этого проснулась ее деятельная душа, поневоле засыпавшая возле ее безжизненного, апатичного мужа.

19-го марта я получила от музыкального общества приглашение на ученический вечер в консерватории, куда обещал приехать и Великий князь Константин Константинович. Посадили нас рядом, и помню я, что, когда одна из певиц взяла совершенно фальшивую ноту, Вел<икий> кн<язь> нагнулся ко мне и тихонько сказал: «Вот что называется: на чердак».

После концерта Сафонов, директор, пригласил всех нас к себе пить чай, и Вел<икий> кн<язь> с чашкой в руке подошел ко мне и сказал: «Я давно вас знаю, графиня, через Фета. Ведь вы “звезда и роза“», — намекнул он на посвященное мне Фетом стихотворение, кончающееся словами:

Пускай терниста жизни проза,
Я просветлеть готов опять
И за тебя, звезда и роза,
Закат любви благословлять⁷³.

На слова Вел<икого> князя Конст<антина> Констан<тинович>а я ему сказала, что роза уже очень увядшая. «Что делать, графиня, — сказал он, — всем нам один удел».

Пришлось мне и еще повидать этого милого Вел<икого> князя. Один раз в симфоническом концерте, на который привезены были кадеты из корпусов, и раз в Петербурге, на Таврической выставке⁷⁴, где Вел<икий> князь мне представил тогда еще очень юную свою старшую дочку.

Я не любила сама искать свиданий и бесед с Вел<икими> князьями, но оба раза сам Конст<антин> Конст<антинович> пожелал меня видеть. В консерватории прибежал ко мне запыхавшийся директор Сафонов и сказал, что Вел<икий> князь меня искал увидеть. Вскоре он и сам подошел ко мне. То же было и на Таврической выставке в Петербурге. Распорядитель, Дягилев, мне сказал, что Вел<икий> князь Конст<антин> Конст<антинович> желает меня видеть.

23-го марта была сделана нашей Тане, тогда уже Сухотиной⁷⁵, операция в лобной полости, которую ей пришлось вторично вскрывать. Муж ее уехал, а мы свезли ее в клинику, где и навещали ее постоянно. Операцию делали ей очень долго, 2 1/2 часа продержали ее под хлороформом; страшно было смотреть на ее помертвевшее лицо. Но профессор Штейн, делавший операцию, успокаивал нас, и в конце концов все обошлось благополучно. Со временем отверстие заросло и ранки все зажили.

30-го марта семья сына Льва вернулась из-за границы, и я помню, как Лев Николаевич носил на плечах и на спине маленького Левушку, представителя 3-го поколения Львов.

О Франции и Италии Лева вынес такое впечатление, что дикость религиозная у итальянцев хуже, чем у французов, но зато гармонирует больше с обычаями и характером всей страны.

Перед тем, как «Воскресение» появилось в окончательном виде, его многие пересматривали и переправляли. Работал над этим романом и Русанов, и Маркс, и цензура. Но окончательно многое было восстановлено при просмотре для моего издания Ник<олае>м Вас<ильевиче>м Давыдовым и сыном моим Сережей⁷⁶.

Очень я была занята в ту весну: корректуры, хозяйство, работа — шитье детского приданого будущему ребенку Андрюши и Ольги. Но зато был и отдых, и развлечение в музыке.

3-го апреля играли нам сначала у себя, а потом у нас Танеев и Гольденвейзер сюиту Аренского на двух фортепианах. И эта сюита привела тогда в восторг Льва Николаевича и в будущем времени была одним из любимейших его музыкальных произведений. Ему ее играли впоследствии много раз.

В конце месяца мы получили и еще одно музыкальное удовольствие. Известное в Москве трио Шор, Крейн и Эрлих пожелали поиграть у нас и играли весь вечер 30-го апреля, теперь не помню, что именно.

В числе занятий, доставлявших мне удовольствие, было писанье повести. Я очень этим увлекалась, поправляла, переделывала, просиживала за ней ночи. Основной мыслью повести было то, что искусство должно оставаться чисто, девственно от всяких людских страстей и осложнений в личной жизни. Навело меня на эту мысль то, что я видела на концерте одного знаменитого молодого пианиста. Девуцы хватали его калоши и целовали их. И это страшно меня возмущало. При чем тут музыка?! Это убивало ее чистоту.

Рождение Сонечки. Государь. Поездка с Сашей в Петербург, Тани и Льва Никол^аевича в Пирогово

12-го апреля родилась у Андрюши и Ольги дочь, София Андреевна⁷⁷, в Ясной Поляне. Андрюша был трогателен своей заботой, стараньем, кротостью по отношению к жене, желаньем заняться в Ясной Поляне хозяйственными делами, чтоб жить там не даром. Он во всем в жизни был еще неопытен, ему было только 23 1/2 года, и в распоряжениях своих он был очень осторожен. В то время переносили деревянную пристройку на место, где она и теперь, рядом с людской избой, и Андрюша распорядился работами.

13-го апреля я поехала в Ясную Поляну крестить маленькую Соню; застала родителей в беспокойстве от неналаженного кормления. Но потом это обошлось.

Тогда, в начале апреля, Государь посетил Москву, которая ему очень понравилась. Рассказывали, что в ночь с страстной пятницы на субботу Государь вышел прямо из церкви в толпу народа; свеча у него погасла, и он зажег ее у мужика и сам раздавал милостыню нищим.

В начале мая, а именно 6-го, мы с Сашей⁷⁸ решили поехать в Петербург, исполнить горячее и заветное желанье ее крестной матери гр<афини> Ал<ександры> Андр<еевны> Толстой⁷⁹. Лев Никол<аевич> с дочерью Таней уже уехал 3-го мая в Пирогово, к дочери Маше Оболенской. Свез их из Москвы в директорском вагоне Пав<ел> Алекс<андрович> Буланже. Но в Лазареве, где они слезли, лошадей не было, и Лев Никол<аевич> пошел пешком. Таня поспешно наняла ямщика и уже довольно далеко от станции догнала Льва Николаевича. Машу они застали в Пирогове опять больной, после выкидыша.

Привез Буланже в Пирогово двух англичан: St. John'a⁸⁰ и Kenworthy⁸¹. Сначала Лев Никол<аевич> ими тяготился, тем более что Маша лежала больная, но 12-го мая Лев Никол<аевич> мне пишет, что полюбил обоих англичан, а ко мне обращается так: «Как ты выносишь свою суету? Старайся не торопиться и не переутомляться... Так хочется сказать тебе, чтобы ты менее тревожилась и принимала все к сердцу; но ты сама знаешь, что это надо»...

10-го мая мы с Сашей вернулись из Петербурга в Москву. Мне даже совестно было, до какой степени добрая и милая граф<иня> Александра Андреевна была благодарна за мое посещение ее в Петербурге. Писала мне уже в июне: «Много раз благодарю тебя, милая, дорогая Sophie, за твое посещение. Зная твою сложную и многотрудную жизнь, смотрю на этот приезд как на истинное жертвоприношение и глубоко его ценю... Тебя, однако, должно много утешать, что ты все работаешь для других. Это и твой муж находит самым лучшим подвигом. Многие его афоризмы очень хороши; но бывают и такие, где очень зло и несправедливо достается бедным женщинам».

Александра Андреевна при этом посылает листок из отрывного календаря с след<ующими> словами:

«8-го июня 1900 г. Самое простое правило нравственности состоит в том, чтобы заставлять служить себе других как можно меньше и служить другим как можно больше. Как можно меньше требовать от других и как можно больше давать другим». *Лев Толстой.*

Еще раньше мне писала Александра Андреевна после моей болезни: «Я не удивляюсь нисколько, что вы в болезни имели столько доказательств любви. Право, я до той поры и сама не знала, как глубоко я привязана к вам».

Пишу об этом потому, что чрезвычайно дорожила любовью ко мне исключительно хороших людей, какой была гр<афиня> Алекс<андра> Андр<еевн>а.

Помню, какое мне доставило сердечное удовлетворение и письмо Ел<изаветы> Ал<ексеевны> Нарышкиной (рожденной Цуриковой), писавшей мне: «Вы с вашей правдивой душой поймете мое письмо: я вас так искренно полюбила, да и было за что»⁸².

Летом меня очень встревожили слухи, что вышло Высочайшее повеление о наказании Льва Николаевича за заграничное издание «Воскресения». Гр<афиня> Ал<ександра> Андр<еевна> Толстая писала мне, что никакого такого *Высочайшего* повеления не было, а возмутилось очень духовенство, поднявшее вопрос о том, чтоб лишить Льва Николаевича церковных похорон в случае его смерти⁸³. Граф<иня> Александра Андреевна говорила об этом с Победоносцевым, и он согласился с ее мнением, что нельзя знать, что произойдет в душе умирающего за 2 минуты до смерти, и потому нельзя лишать его благодати. Пишет мне: «...Но признаюсь тебе, и злобу Льва я переносу с трудом. Зачем возмущать, оскорблять столько людей совершенно даром? Где же тут *любовь*, о которой он так много проповедовал?»

Тот же вопрос приходилось и мне до конца жизни Льва Николаевича ставить перед собой, но не находить его разрешенья.

В Москве. Переезд в Ясную Поляну

Тяжка становилась жизнь в Москве весной, тянуло в деревню, за город. И вот 12-го мая я взяла с собой свою дочь Сашу и Мишу Сухотина, и мы весело поехали в Сокольники, где в тот вечер на открытой сцене пел молодой певец Шаляпин. Погода была прекрасная, пенья Шаляпина тоже; мы пили чай в каком-то уютном садике, птицы пели не хуже Шаляпина, и мы все остались очень довольны нашей поездкой.

Еще мы ездили на могилки Алеши и Ванечки, в Никольское, на Петербургском шоссе⁸⁴. Больно было вспоминать их преждевременные кончины и их светлую детскую жизнь.

17-го мая я переехала всем домом в Ясную Поляну, а 18-го вернулся и Лев Николаевич из Пирогова в Ясную Поляну. Таня же уехала в Кочеты. Разобрав и разложив все вещи, устроив жизнь в Ясной Поляне, я снова поехала 23-го мая в Москву, где не кончила своих дел, а главное, мне хотелось навестить сына Мишу, который, служа вольноопределяющимся в Сумском полку, находился в то время в лагерях, в с<еле> Владыкине. Жил он с товарищами в избе, так что пробыла я у него меньше дня, но рада была видеть его бодрым и здоровым.

Учитывала я тогда продажу сочинений Льва Николаевича⁸⁵, сводила счета с артельщиком и, когда вернулась в Ясную Поляну, застала Дору и Леву в большой тревоге по случаю болезни маленького Левушки. Лечил его доктор тульский — Сверхбицкий, и Левушка поправился.

Гостил у нас (17-го мая) наш сын Сережа, тихий и милый, страшно увлеченный в то время шахматной игрой и разрешением задач.

Лева заскучал от забот по сельскому хозяйству и передал его мне. Очень трудно мне было распутывать все дела, платить долги, делать распоряжения. Все больше и больше стала я тяготиться материальными заботами; все труднее и труднее становилось поднимать в себе жизненную энергию для практических дел, и все более хотелось поднимать ее для душевной, отвлеченной жизни. Оно так и должно бы быть в старости; но судьба решила иначе со мной.

Это лето Лев Никол<аевич> был здоров и даже весел и писал статью «Новое рабство»⁸⁶, касающуюся положения рабочих, смысла капиталов и проч. Вероятно, эту статью породила предыдущая, о 36-часовом труде.

Сама я, кроме обычных дел, брала уроки музыки у живущей при Саше учительницы музыки, англичанки мисс Вельш.

В имущественных делах в нашей семье тогда, в июне 1900 года, произошли разные перемены: сын Илья продал свое черное имение Гриневку и купил калужское — Мансурово. Два меньших сына, Андрюша и Миша, потребовали от меня продажи самарской земли. Продана она была за 73 рубля за десятину. Впоследствии Миша (сын), купивший калужское имение, продал его князю Евгению Ник<олаевичу> Трубецкому, говоря, что он может жить только в Тульской губер-

нии, и купил Чифировку, в 45 верстах от Ясной Поляны и близ Пирогова. В калужском имении был чудесный парк, прекрасный барский дом и все удобства, но плохая земля. Я раз посетила там сыновей Илью и Мишу.

Эту весну 1900 года я так была утомлена, что пришла в какое-то отчаяние. Пишу дочери Тане: «Ужасно утомляюсь и думаю: пропадай все: и хозяйство, и книги, и московский дом, и дела с артельщиком (при продаже книг), и уборка библиотеки, и обивка мебели, и все... я больше не могу трудиться. Одно мне важно и дорого: здоровье физическое и душевное папá и всех вас».

В конце июня мы ездили с Сашей в Никольское-Вяземское к сыну Сереже, ко дню его именин и рожденья, 28-го июня. Сережа всегда радовался, когда к нему приезжали в этот день, и бывал очень гостеприимен. Кроме того, доставлял большое удовольствие своей игрой на рояле.

Из Никольского мы проехали к Сухотиным в Кочеты, повидаться с Таней.

Болезнь Льва Николаевича. Рождение Пали. Смерть Мани

В июле Лев Николаевич жестоко заболел своим обычным желудочно-кишечным недугом. Поднялась страшная рвота, продолжавшаяся 28 часов кряду. После этого он долго хворал и очень ослабел. Съехались дети, родные, друзья, что очень осложняло жизнь и утомляло меня. Нужен был очень внимательный уход за больным; трудно было убеждать его принимать лекарства, делать компрессы, ставить клизмы и проч. Кроме того припадка, привязалась еще лихорадка, не уступавшая лечению, и доктора начали поговаривать о перемене климата; но о поездке нашей осенью в Крым до следующего года говорено не было.

В то время приехали из Швеции родители Доры — отец и мать — Вестерлунды и прожили в Ясной Поляне ровно месяц, от 30-го июня до 31-го июля. Они приезжали к родам Доры, у которой 20-го июля родился второй сын, Павел⁸⁷. Крестили его 23-го июля, а 24-го опять заболел Лев Николаевич и приехала к нам встревоженная сестра его, Мария Николаевна.

В начале июля, в ночь на 2-е июля, скончалась в Англии первая жена сына Сережи Маня, рожденная Рачинская⁸⁸. Умерла она от чахотки, как и мать ее, почти безболезненно. Пишет ее двоюродная сестра Соня Мамонова: «Маня так запутала свою жизнь и так мало была способна ее распутать, и впереди ее ждали только новые тяжелые затруднения. Она это уже сама начинала сознавать и бояться жизни». (А не смерти.)

Осень 1900 года. Горький. Редакторы. Свадебный день

11-го августа я поехала в Москву по разным делам денежным и книжным, а из Москвы проехала 13-го к своим друзьям Масловым в их Селище, куда они меня усиленно звали. Но я боялась надолго оставлять моих яснополянских жителей и пробыла у Масловых только два дня. 16-го рано утром, в 6 часов, я вернулась.

Была в то лето знойная засуха, и поразил меня в Селищах, в соседстве от Масловых, лесной пожар, хотя тогда он уже догорал. Какое это величественное, неумолимое, стихийное явление!

Очень огорчали меня мои обе дочери. Постоянные выкидыши изнуряли их обеих; а к физическим страданиям примешивались страдания душевные, погибала мечта иметь ребенка, чего они обе страшно желали. Сколько ни советовались с акушерками и докторами — ничего не помогало. И они плакали и огорчались. Бедная Маша так и умерла, не имея живого ребенка. А у Тани из шести мертвых родилась только одна живая, Таня⁸⁹.

Приезжали к нам в августе Стасов и неразлучный его спутник — Гинцбург, скульптор, неоднократно лепивший Льва Николаевича в разных видах. И целые вереницы посетителей перебивали тогда в Ясной Поляне. А именно: Маруся Макла-

кова, Сухотин, Дунаев, Горбунов, Стасов, Гинцбург, доктор Руднев у Тани, инструктор для плодовых посадок, невестка Софья Николаевна с детьми, Вас<илий> Алекс<еевич> Маклаков, Буланже, Сухотины, сыновья Илья и Миша, Сергеенко, Боткина, семья Андриюши, Саломон, Игумнова⁹⁰, сын Сережа и другие. И все эти гости в течение двух месяцев пребывали у нас.

В ту же осень Поссе, редактор журнала «Жизнь для всех», привез к нам юного писателя, сделавшегося уже известным, — Максима Горького⁹¹. И тогда, в то время как он, возвращаясь с прогулки, подходил к дому с Львом Николаевичем, я фотографировала их обоих. Горький пришел в восторг при получении от меня этого снимка, о чем и писал мне 12-го октября.

Приезд Поссе имел еще целью выхлопотать у Льва Никол<аевича> дозволение напечатать его драму (вероятно, «Труп») для журнала «Жизнь для всех» и, кроме того, напечатать это произведение отдельными 10-копеечными книжечками⁹². Хлопотал почему-то об этом и Петр Николаевич Ге, сын художника. Хотели меня втянуть в это ходатайство перед Львом Никол<аевичем>, но я отклонила их просьбы, так как предпочитала оставаться в стороне от всяких дел, касающихся новых произведений Льва Николаевича.

Кроме Поссе, налетели к нам разные другие редакторы хлопотать о получении «Трупа». Приехал Немирович-Данченко⁹³, Л. И. Веселитская от редакции «Неделя», от «Северного курьера», и проч. Еще позднее, в ноябре, налетели на меня с просьбой дать «Драму» для перевода Левенфельд из Берлина и писатель датский Ганзен. Никто не добился своей цели. Жили мы тогда дружно, хорошо; Лев Никол<аевич> был совсем здоров и очень усердно писал свойственное ему художественное произведение⁹⁴. В то время, гуляя раз в мое отсутствие и возвращаясь по проспекту (прешпекту), Лев Ник<олаевич> упал и ушиб ту руку, которая была раньше сломана. Пишу дочери Тане, что «такой он стал мнительный, такой неженка, что я его не узнаю». Он очень тогда испугался этого падения, но обошлось оно легко.

В начале сентября я съездила в Пирогово, к бедной вечно больной дочери Маше Оболенской. Вернувшись, жила тихо в Ясной Поляне, учила дочь Сашу. Трудно было ее воспитывать и, главное, развивать ее умственно. Вкусы у нее были самые первобытные и слаба была интеллигентная потребность. В ее громком смехе, который любил Лев Ник<олаевич> и которым она так часто заливалась, было для меня что-то непонятное, скажу — даже чуждое и грубое⁹⁵.

В ту осень я много занималась и интересовалась посадками плодовых деревьев: яблонь и вишен. Вишневые деревья я выписала из Воронежа от Карлсона 60 штук, и все они погибли, так же как и другие, посаженные мною в разное время в Ясной Поляне. По-видимому, земля наша не годится для вишен.

20-го сентября я была по делам в Москве, а Лев Николаевич в Ясной испугался вскочившего у него на спине чирея при небольшом ознобе.

23-го сентября, наш свадебный день, я, к огорчению своему, не была с мужем, а дела задержали меня в Москве. Помню, как, совершенно одинокая, я сидела в столовой, внизу, и по очень старинным нотам, принадлежавшим матери Льва Николаевича, я разбирала с чувством сентиментальности сонату Бетховена D. moll. Не зная, что это был мой свадебный день, пришел ко мне Сергей Иванович Танеев и, поинтересовавшись, что я наигрываю, сел за пианино и великолепно сыграл мне эту сонату, которая навсегда осталась моей любимой.

Позднее пришли какие-то гости, мой дядя, Конст<антин> Ал<ександрович> Иславин, но мне было грустно и я писала Льву Николаевичу 23-го сентября: «Первое, что мне захотелось сегодня сделать, это написать тебе, милый Левочка, и вспомнить тот день, который соединил нас на эти долгие прожитые вместе годы. Мне стало очень грустно, что мы не вместе сегодня, но зато я гораздо лучше, глубже, умиленнее отношусь сердцем к воспоминаниям нашей жизни и к тебе, и мне захотелось благодарить тебя за прежнее счастье, которое ты мне дал, и пожалеть, что так сильно, спокойно и полно оно не продолжалось во всю нашу жизнь».

Тогда было уже 38 лет нашего брака, а последние 10 лет были самые ужасные!

Не помню, где тогда, в 1900 году, был Чертков, знаю только, что он выпросил у сына Льва 15 000 рублей, всю жизнь притворяясь нищим и владея миллионами.

*Расстались. Москва. Кочеты.
Гости с острова Явы и мыса Доброй Надежды*

18-го октября Лев Николаевич уехал с Юлией Ивановной Игумновой в имение Сухотиных Кочеты, 19-го я ездила проститься с Ольгой и Андрюшей, а 20-го переехала и я в Москву с дочерью Сашей, предварительно кончив посадку 300 яблонь и лиственниц.

Устроившись и разложив вещи, я поехала навестить Мишу в его новое калужское имение. 30-го я вернулась в Москву и рада была посещению сыновей Андрюши и Ильи, а 3-го ноября приехал Сережа и Лев Николаевич, совсем больной.

Рассказывал он, как он пошел на станцию пешком, а долгуша с Сухотиными должна была его догнать. Но Лев Николаевич заблудился, совсем потерял дорогу и проплутал по неизвестным дорогам четыре часа, после чего его с трудом догнали и отыскали. Просил Лев Николаевич встречных крестьян его проводить, но никто не соглашался, боясь позднего возвращения и встречи волков.

Усталый, взволнованный, вспотевший, Лев Никол<аевич> сел на долгушку и, когда приехал в Москву, тотчас же заболел. Недаром я всегда так боялась разлучаться с ним. До нашей разлуки он был так бодр, энергичен, весел и здоров. Много писал, работая над драмой «Труп».

Когда я встретила его на железной дороге, он смутил меня своим пристальным на меня взглядом и сказал так неожиданно: «Как ты хороша; я не ожидал, что ты так хороша!»

В Москве не давали Льву Николаевичу покоя его так называемые «толстовцы». Приставали к нему с затеваемым ими журналом, которому должен был сочувствовать и помогать Лев Николаевич. Сотрудниками должны были быть почти все бездарные писаки, как Чертков, Бирюков, Буланже, Накошидзе. Льву Николаевичу не дали бы покоя и приставали бы к нему. Но, к счастью, журнал не появился⁹⁶.

Как только Лев Николаевич пришел в городе в столкновение с политическими интересами, многое стало его возмущать, и он в негодовании говорил, что «в Европе высшие власти стали беззащитно смелы и наглы в своих распоряжениях».

Кроме личных отношений с людьми, Лев Николаевич получал огромное количество писем. Еще до его приезда в Москву у меня их накопилось более 30-ти. И на многие Лев Никол<аевич> отвечал сам⁹⁷.

Очень жалела я, что не могла ему помогать. Здоровье мое было плохо, мучила меня одышка, а главное, болели глаза. Было много и своих скучных дел: корректуры, книжных расчетов, ремонты по дому и проч. А все практическое так надоело!

Ездил я опять осенью в Никольское на могилки моих детей Алеши и Ванечки, и тамошний крестьянин, Камолов, с детства нам знакомый по соседству с нашей дачей в Покровском, просил меня хлопотать, чтоб его сына, которого взяли в солдаты, оставили в Москве. Мне казалось, что устроить этого невозможно, но помог случай. Поехала я в Крутицы, в казармы, обратилась кое к кому; говорят, надо просить воинского начальника, а он на заседании, и неизвестно, когда оно кончится. Стою я среди двора в недоумении, и вдруг мне указывают: «Вон он идет».

Воинский начальник любезно принял меня, обещал исполнить мою просьбу, и, к радости родителей, молодой Камолов был прикомандирован куда-то в Москве.

Много занималась я своим приютом и полюбила детей еще больше прежнего. Музыка не переставала утешать меня. 8-го ноября С. И. Танеев и Гольденвейзер играли в четыре руки симфонию Танеева. А 21-го играли тоже в четыре руки симфонии Моцарта, которые доставили Льву Николаевичу большое удовольствие, так как он вообще очень любил Моцарта. С Танеевым он был очень разговорчив и любезен, и наконец прошло то дурное чувство, так долго мучившее нас обоих⁹⁸.

В то время, 13-го ноября, в Москву приехала, к большой радости Льва Николаевича и моей, наша дочь Таня с мужем, и пробыли у нас до 22-го ноября. Таня казалась счастлива, ее пасынки и Наташа ее любили и называли «маленькой мамой».

Как только Лев Никол<аевич> пожил со мной и моей о нем заботой, он сразу поздоровел и, умственно просветлев, принялся снова за свою работу. Но гости развлекали его постоянно. 20-го ноября приехали странные гости: один с острова Явы,

говоривший по-французски, другой с мыса Доброй Надежды, говоривший по-английски⁹⁹. Рассказывали, что в столице Явы уже есть электрическая конка, опера, высшие учебные заведения, а в провинции полное отсутствие цивилизации — есть даже людоеды и настоящие идолопоклонники.

Этот приезжий малаец начался философских сочинений Льва Николаевича и нарочно приехал в Россию познакомиться и побеседовать с ним.

Когда уехала Таня, я почувствовала себя опять осиротелой и одинокой. Меня огорчало, что Лев Николаевич все меньше участвовал в моей жизни. Теряя способность плотской любви, он другой мне не давал, а я всегда так мечтала о муже-друге, без плотской любви, а только духовной, дружеской.

По-видимому, Лев Николаевич не радостно приветствовал старость, говорил, что слаб, что «надоело мне мое тело, пора избавиться от него».

30-го ноября я поехала в концерт Бетховенских квартетов, а у Льва Николаевича сидел князь Цертелев¹⁰⁰ и играл с ним в шахматы. Пришел и крестьянин Новиков и читал Льву Николаевичу свою статью¹⁰¹.

Болезнь Льва Николаевича. Письмо к Государю. Поездка в Ясную Поляну

В конце ноября жена П. А. Сергеевко просила очень Льва Николаевича навестить ее в Воспитательном доме, где она намеревалась родить. До Хамовнического переулка Воспит<ательный> дом отстоит очень далеко, и Лев Никол<аевич> пришел домой озябший, жалкий и слишком голодный. Он набросился на еду, съел две тарелки гречневой каши, спаржу, сыр бри, и старческий желудок его не переварил столько пищи. Начались адские страдания в желудке и печени: Лев Никол<аевич> кричал страшно, задирали вверх ноги, метался. Пот лил с головы и лица, и рвота продолжалась до другого дня. Пригласила доктора Усова и с ним на консилиум профессора Черенова¹⁰².

Сидя у постели Льва Николаевича, я усердно шила детское приданое для ожидаемого в январе будущего ребенка дочери Тани. Лев Николаевич с грустью смотрел на мою работу и говорил: «Ах, как страшно вперед готовить!» И действительно, девочка у Тани родилась мертвая.

Посещая свой приют, где я была попечительницей, мне все больше было жаль детей и хотелось дать им лучшую обстановку, пищу и удобств. И все чаще я возвращалась к мысли о концерте* в пользу приюта моих жалких маленьких детей. Поехала я посоветоваться с всем известной милой старушкой — благотворительницей Москвы Александрой Николаевной Стрекаловой. Она дала мне несколько советов и между прочим говорила, что самое выгодное дело для приобретения средств для благотворительных целей — это открыть булочную с черным и белым хлебом. Но я не рискнула начать совершенно неизвестное мне торговое дело.

Лев Никол<аевич> дал мне для моего предполагаемого концерта отрывок повести, который я тогда, в декабре, прочла Саше, дочери, и кое-кому из молодежи, которой это чтение доставило удовольствие.

Странное я тогда получила письмо от неизвестной мне особы. Между прочим она писала: «Я всегда помнила симпатичное ваше лицо и всегда предполагала в вас сердце правдивое». И вообще во всем этом анонимном письме выражено мне сочувствие и любовь.

7-го декабря Лев Николаевич написал письмо Государю с просьбой дать возможность женам духоборов, выселившимся с прочими духоборами в Канаду, соединиться с мужьями, сосланными в Якутскую область за отказ в воинской повинности. Не помню, был ли какой на это ответ. Письмо было написано очень горячо и передано, кажется, граф<ом> Олсуфьевым.

Посещая концерты, я все время приглядывалась и прислушивалась, как бы мне устроить свой благотворительный концерт в пользу моего приюта. Была в концерте, в котором дирижировал Зилоти. Потом слушала Собинова с его благородным те-

* Речь идет о благотворительном концерте, описанном выше в подглавке «Шаляпин. Приют».

норовым голосом. Ездил я на концерт К. Игумнова, который прекрасно сыграл сонату Бетховена Op. 110, и я в первый раз хорошо поняла эту сонату. Еще доставил мне большое удовольствие антракт из оперы «Орестея» С. И. Танеева. Этот антракт — одно из лучших когда-либо слышанных мною музыкальных произведений.

Устроили Глебовы и для Льва Николаевича концерт любителей балалаечников; Лев Николаевич пошел на этот концерт, который, по-видимому, доставил ему удовольствие.

Странные бывали иногда у Льва Николаевича посетители. Например, из Америки нарочно приезжали с ним познакомиться и посмотреть на него пятнадцать американцев и две американки. Я их не видела, потому что отсутствовала в то время из Москвы; ездила 15-го, 16-го декабря в Ясную Поляну, где болел маленький Левушка, в то время еще с надеждой на его выздоровление. Лева даже решил ехать в Петербург покупать там дом.

Смерть Левушки. Горе матери. Рождение мертвой девочки у Тани в Кочетах

Но Левушка не выздоровел. Тяжелое воспаление мозга постепенно ухудшало его состояние. Ужасно было видеть, что бедная молодая мать, Дора, не хотела признавать опасность положения своего так горячо и безумно любимого первенца Левушки. Она готовила рождественскую елку, украшала ее, готовила подарки Левушке и всем в доме и не видела, что скоро его не станет. Выписала тульского доктора, привезла и я из Москвы детского доктора, но все было напрасно. Левушка скончался 24-го декабря. Телеграфировали отцу Доры, Вестерлунду, который приехал 28-го декабря к похоронам. Боялись за Дору, которая кормила маленького Палю и все вспоминала, как больной Левушка посылал мать к маленькому брату: «Мама, поди к братику, покорми братика...»

Отчаяние Доры и отчасти и Левы невозможно описать, так оно было ужасно. Непрерывны были разговоры о том, кто виноват в этой смерти; говорили, что Левушку неправильно воспитывали физически, что его простудили, когда возили кататься, и он заснул, и шапочка упала с его головы... Потом делали планы, куда ехать, где жить и проч.

Состояние обоих родителей было ужасно. Дора вскрикивала громким голосом, звала Левушку, говорила бессмысленные слова; и теперь прошло с тех пор более пятнадцати лет, а когда вспоминаю это время, в ушах моих раздаются отчаянные крики матери: «Не может быть! Не может быть!» Мы все плакали, глядя на бедную Дору. Лева почти все время сидел возле нее. Пошел он было прогуляться, погода была чудесная: солнце ярко светило, небо безоблачное, голубое; так все красиво в природе. Но природа только обостряет все человеческие чувства: горе, радость, любовь, отчаяние, — все делается сильнее, все страстнее переживается. Так было и с Левой. Вспомнит он, как он гулял с Левушкой, как играл с ним и дворовой девочкой Акулей в прятки или в мяч, и плачет. А то бросятся они бывало в объятия друг друга и, обнявшись, безумно оба рыдают. Ужас! Я измучилась, глядя на их горе, плачу и теперь, вспоминая.

27-го приехал Вестерлунд, отец, а 28-го хоронили Левушку. Дора хотела броситься в яму, куда опустили гробик, но мы все следили за ней и удержали ее.

Приезжал на похороны и сын мой, Андрюша, всегда своим добрым сердцем доказывавший участие к страданиям людей близких и чужих. Теперь и его нет в живых.

После похорон Дора стала как будто немного спокойнее, и мне пришлось от одного горя поехать к другому. Я получила от дочери Тани телеграмму из Кочетов, что она родила мертвую девочку.

Муж ее уехал один за границу, говоря, что он не выносит зимнего холода в России, а Таню с детьми оставил в деревне. К счастью, с Таней случайно был ее брат, Сережа. И хотя это не помогло ее горю, все-таки она рада была, что был с ней *свой, родной* и сочувствующий ей человек.

Меня сопровождал в Кочеты опять-таки мой милый Андрюша, который, убедившись, что все обошлось у Тани благополучно, уехал с Сережей к нему в Никольское.

Таня, зная, как я глубоко огорчена и сочувствую ее несчастью, очень взволновалась при свидании со мной. И вообще она много плакала, хотя старалась храбриться. Тяжела ей была потеря мечты иметь девочку. И долго потом не было живых детей. Все ее дети рождались мертвыми, их было семь, так же, как у дочери Маши. И только в 1905 году, 6-го ноября, родилась дочка Таня, и поныне утешающая нас с дочерью Таней и делающая наши жизни менее скорбными после потери наших мужей¹⁰³.

Жизнь шла своим чередом с свойственными ей колебаниями. После всех горестей я вернулась в Москву, и объявлена была свадьба моего сына Миши с Линой Глебовой¹⁰⁴, что всем было радостью.

Хорошие мысли вызвала смерть Левушки и в Льве Николаевиче, и в Леве, который написал стихи, очень меня тронувшие:

На смерть Левушки

Весна — и солнце вновь залило мир кругом
И в мир души моей украдкой заглянуло.
И больно, точно раскаленным лезвием,
Мне в сердце, полное тоски, кольнуло.

О, солнце яркое! Как ты гнетешь меня.
О, пусть вся жизнь вины той будет искупленье.
Виню себя за то, что потерял тебя,
Ребенок дорогой, мой сын и утешенье.

Да, я один убил и погубил тебя
Неправдой, злобою, тревогою исканья.
Но слез дешевых, пошлых нету у меня,
И, гордый, не могу молиться от страданья.

Могу лишь мучиться еще и горевать,
Могу лишь молча и смиренно покориться,
Казнить себя, страдать и терпеливо ждать,
Чтоб и моя пора пришла освободиться.

*Граф Лев Львович Толстой
1900—1901 гг.*

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Берс Андрей Евстафьевич (1808—1868), отец С. А. Толстой, врач Московской дворцовой конторы и сверхштатный врач Московских театров.

² Берс Елизавета Андреевна (1843—1919), старшая сестра С. А. Толстой.

³ Иславин Константин Александрович (1827—1903), брат матери С. А. Толстой.

⁴ Жемчужников Алексей Михайлович (1821—1908), поэт.

⁵ Рукопись комедии хранится в Отделе рукописей ГМТ. «Зараженное семейство» впервые было опубликовано в 1928 г. в сб.: «Лев Толстой. Неизданные художественные произведения». М., «Федерация», 1928. Подробнее см.: Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений в 90 тт. (юбилейное издание). М., 1928—1958. Т. 7, сс. 181—294; 389—413. (В дальнейшем все ссылки на это издание с указанием тома и страницы.)

⁶ Толстой Сергей Николаевич (1826—1904), брат Л. Н. Толстого.

⁷ Берс (по мужу Кузминская) Татьяна Андреевна (1846—1925), младшая сестра С. А. Толстой.

⁸ Шостак Анатолий Львович (1841?—1914), троюродный брат С. А. Толстой, впоследствии черниговский губернатор.

⁹ Летом 1867 г. Т. А. Берс стала невестой своего двоюродного брата, судебного деятеля Александра Михайловича Кузминского (1843—1917). Венчание состоялось 24 июля 1867 г.

¹⁰ Венчание С. Н. Толстого и М. М. Шишкиной состоялось 7 июня 1867 г.

¹¹ Келлер Густав Федорович (1830—1904), учитель яснополянской школы.

¹² Толстой Сергей Львович (Сережа; 1863—1947), старший сын Толстых.

¹³ Толстая Мария Николаевна (Машенька; 1830—1912), сестра Л. Н. Толстого.

¹⁴ Толстая (по мужу Нагорнова) Варвара Валерьяновна (1850—1922), дочь М. Н. Толстой.

¹⁵ Толстая (по мужу Оболенская) Елизавета Валерьяновна (1852—1935), дочь М. Н. Толстой.

¹⁶ Дневник В. В. Толстой содержит описание яснополянской жизни в 1864—1875 гг. Отрывки из него публиковались в журнале «Октябрь», 1978, № 8, сс. 217—218.

¹⁷ Юшкова Пелагея Ильинична (рожд. Толстая; 1801—1875), тетка Толстого. После смерти родителей братья и сестра Толстые перешли на ее попечение.

¹⁸ Берс Любовь Александровна (рожд. Иславина; 1826—1886), мать С. А. Толстой.

¹⁹ 25 января 1863 г. Толстой провел вечер у И. С. Аксакова, где шел разговор о взглядах Толстого на педагогику и задачи школы. Присутствующие не разделяли его суждений, и разгорелся спор.

²⁰ Толстая Татьяна Львовна (по мужу Сухотина; Таня; 1864—1950), старшая дочь Толстых; родилась 4 октября.

²¹ Речь идет о чтении переписки фрейлин М. А. Волковой (1766—1859) и В. А. Ланской о 1812 годе. Позднее опубликована: «Вестник Европы», 1874, №№ 8—12.

²² 25 сентября 1867 г. Толстой вместе с двенадцатилетним шурином С. А. Берсом уехал из Москвы в Бородино. Он осмотрел поле, зарисовал для себя общий план с обозначением расположения окрестных деревень и рек и записал, в каком положении находились русские и французские войска по направлению к восходящему солнцу. 27 сентября он возвратился в Москву.

²³ 11 декабря 1864 г. Толстой читал первые главы первой части романа «Война и мир».

²⁴ Ергольская Татьяна Александровна («тетенька»; 1792—1874), троюродная тетка Толстого и его воспитательница.

²⁵ Первая часть романа под заглавием «1805 год» была напечатана в «Русском вестнике», 1865, №№ 1—2; вторая часть — там же, 1866, №№ 2—4.

²⁶ Охотницкая Наталья Петровна, компаньонка Т. А. Ергольской.

²⁷ Толстой Валерьян Петрович (род. в 1813 г.) скончался 6 января 1865 г.

²⁸ Мария Герасимовна, монахиня Тульского женского монастыря. По свидетельству Т. А. Кузминской, «...она послужила Льву Николаевичу в «Войне и мире» типом страниц у княжны Марьи» (Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. М., 1986, с. 368).

²⁹ Фет Афанасий Афанасьевич (1820—1892) с женой Марией Петровной (рожд. Боткиной; 1828—1894) посетил Толстых 17 февраля 1865 г.

³⁰ Марков Евгений Львович (1835—1903), учитель тульской гимназии, педагог и писатель. Автор статей по педагогике и о творчестве Толстого.

³¹ С. А. Толстая записала: «На Таню сердита, она втирается слишком в жизнь Левочки. В Никольское, на охоту, верхом, пешком. Вчера прорвалась в первый раз ревность. Нынче от нее больно. Я ей уступаю лошадь и считаю, это хорошо с моей стороны; к себе всегда снисходителен слишком. Они на тяге в лесу, одни. Мне приходит в голову Бог знает что» (Толстая С. А. Дневники. В 2 тт. М., 1978. Т. 1, с. 73).

³² Исленьева Ольга Александровна (по мужу Кирьякова; 1845—1909), дочь А. М. Исленьева, деда С. А. Толстой.

³³ Прекратив свои посещения Ясной Поляны, Сергей Николаевич 16 июня 1865 г. написал Льву Николаевичу отчаянное письмо, что он не может оставить М. М.

Шишкину и детей: «Я все эти несчастные десять дней лгал, думая, что говорил правду, но теперь, когда я вижу, что надо окончательно кончить с Машей, я вижу, что мне это совершенно невозможно» (Переписка Л. Н. Толстого с сестрой и братьями. М., 1990, с. 291). Узнав об этом, Т. А. Берс сама отказала Сергею Николаевичу. Толстой назвал ее поступок «великодушным» и «высоким» (ПСС, т. 61, с. 87). Брату же Толстой писал: «Не могу не уделить хоть малую часть того ада, в который ты поставил не только Таню, но целое семейство, включая и меня» (ПСС, т. 61, с. 86).

³⁴ Толстой Николай Николаевич (1823—1860).

³⁵ Дьяков Дмитрий Алексеевич (1823—1891), помещик, друг Толстого, и его жена Дарья Александровна (Долли; 1830—1867).

³⁶ Д. А. Дьякова умерла 17 марта 1867 г.

³⁷ Толстой познакомился с Фетом в Петербурге в ноябре или начале декабря 1855 г. у Тургенева. Знакомство переросло в длительную дружбу. Писатели посещали друг друга; между ними велась интенсивная переписка; сохранилось 171 письмо Толстого к Фету и 139 писем Фета к Толстому.

³⁸ Поэт неизменно восхищался Софьей Андреевной, посвящал ей стихи, состоял в переписке, особенно в годы, когда переписка с Толстым замирала.

³⁹ Шатилов Иосиф Николаевич (1824—1889), помещик Тульской губернии, президент Московского общества сельского хозяйства.

⁴⁰ Эпизод поездки Андрея Болконского курьером в Брюнн («Война и мир», т. 1, ч. 2, гл. XII).

⁴¹ 30 июня 1865 г. в письме к А. Е. и Л. А. Берсам Толстой сообщал: «В сентябре приедем в Москву, пробудем с месяц, которым я воспользуюсь для печатания 2-й части моего романа, и поедем на зиму за границу — в Рим или Неаполь» (ПСС, т. 61, с. 90). Однако вторая часть «Войны и мира» была закончена лишь к декабрю 1865 г.

⁴² Толстой Лев Львович (1869—1943).

⁴³ Толстой Иван Львович (Ванечка; 1888—1895).

⁴⁴ В дневнике Толстого: «Был Дьяков, день пропал; но я ему был рад» (ПСС, т. 48, с. 59).

⁴⁵ Точная запись в дневнике Толстого звучит так: «Я зачитался историей Наполеона и Александра. Сейчас меня облаком радости и сознания возможности сделать великую вещь охватила мысль написать психологическую историю романа Александра и Наполеона. Вся подлость, вся фраза, все безумие, все противоречие людей, их окружавших, и их самих» (ПСС, т. 48, с. 60). Замысел был осуществлен в романе «Война и мир».

⁴⁶ О намерении Толстого пойти на тогда еще не оконченную войну за покорение Кавказа имеется запись в дневнике С. А. Толстой от 22 сентября 1863 г. (С. А. Толстая. Дневники. Т. 1, с. 61). Больше Толстой к этому не возвращался.

⁴⁷ Иногда Толстой избирал такую форму извинения перед женой, как запись в ее же дневнике. 3 августа 1863 г. он записал: «Соня, прости меня, я теперь только знаю, что я виноват и как я виноват. Бывают дни, когда живешь как будто не нашей волей, а подчиняешься какому-то внешнему неопределенному закону. Такой я был эти дни насчет тебя, и кто же — я. Соня, голубчик, я виноват, но я гадок, только во мне есть отличный человек, который иногда спит. Ты его люби и не укоряй, Соня» (С. А. Толстая. Дневники. Т. 1, с. 60).

⁴⁸ С. А. Толстая ошиблась: А. А. Фет с женой посетили Толстых 16 июля 1865 г. в Никольском, где Толстой читал военные сцены «1805 года» (С. А. Толстая. Дневники. Т. 1, с. 75).

⁴⁹ С. А. Толстая имеет в виду беседу Толстого с французским славистом, профессором Полем Буайе, который не раз посещал Толстого и вел дневник этих посещений. Запись, сделанная им 30 июля 1901 г., очень близка к воспоминаниям Толстой: «Беседа шла о Стендале, Бальзаке, Флобере. Толстой сказал, что прежде всего он обязан Руссо и Стендалю: «Стендаль? Я хочу видеть в нем лишь автора «Пармской обители» и «Красного и черного»; это два несравненных шедевра. Я обязан ему более чем кто-либо: я обязан ему тем, что понял войну. Перечитайте в «Пармской обители» рассказ о битве при Ватерлоо. Кто до него так описал войну, то есть такой, ка-

кой она бывает на самом деле?.. Повторяю, во всем том, что я знаю о войне, мой первый учитель — Стендаль» (Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. В 2 тт. М., 1978, т. 1, сс. 268—269).

⁵⁰ К этому времени (к 1916 г.) основная часть рукописного наследия Л. Н. Толстого хранилась в двух местах. В Румянцевском музее (ныне — Российская государственная библиотека) находились рукописи, дневники, письма, относящиеся к первой половине жизни и творческой деятельности Л. Н. Толстого (приблизительно до середины 80-х годов), ранее сосредоточившиеся в руках С. А. Толстой. В Библиотеку Академии наук в Петербурге В. Г. Чертковым в 1913 г. были сданы рукописи, которые он начал собирать с середины 80-х гг., параллельно с С. А. Толстой. Большая часть этих сочинений была запрещена цензурой и много лет хранилась Чертковым в Англии.

Все автографы Толстого, которыми располагала Александра Львовна, были переданы ею в Толстовский музей, созданный в Москве, в декабре 1911 г.

⁵¹ Ф. И. Шаляпин пел в московском доме Толстых в Хамовниках 9 января 1900 г. (а не 8-го). На другой день, 10 января, С. А. Толстая в письме к Т. А. Кузминской, сообщая о концерте, отозвалась о Шаляпине так: «Он белокурый огромный малый, добродушный, необыкновенно талантливый во всех отношениях: петь, рисовать, рассказывать и т. д.» (ГМТ).

⁵² С. А. Толстой было разрешено получить от Чертковых из Англии 2 экз. книги: Л. Н. Толстой. Воскресение. Лондон. В. Чертков. 1899. Это издание вышло без цензурных изъятий, распространение его в России было запрещено. Книги сохранились в Яснополянской библиотеке (Библиотека Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. М., 1975, ч. 2, сс. 312—313).

⁵³ Вероятно, Савва Тимофеевич Морозов, фабрикант. Переписывался с Л. Н. Толстым; товарищ С. Л. Толстого по Московскому университету.

^{53a} В 1899 г. широко отмечалось столетие со дня рождения А. С. Пушкина. Сочинение композитора А. С. Аренского (1861—1906) было написано к этим дням.

⁵⁴ «Кто прав?» (ПСС, т. 29), небольшой и незаконченный рассказ, работу над которым Л. Н. Толстой начал в ноябре 1891 г. в Бегичевке, где он и его дочери помогали голодающим крестьянам. Тема рассказа: дети богатых среди голодающих.

⁵⁵ Подготовка к вечеру началась в 1900 г., вечер состоялся 17 марта 1901 г.

⁵⁶ Великий князь — Сергей Александрович, московский генерал-губернатор.

⁵⁷ В Крым семья Толстых уехала 5 сентября 1901 г. по настоятельному совету врачей в связи с резким ухудшением здоровья Л. Н. Толстого и прожила там до 25 июня 1902 г.

⁵⁸ Попечительницей приюта С. А. Толстая была с января 1900 г. по февраль 1902 г.

⁵⁹ Толстой Андрей Львович (1877—1916).

⁶⁰ Толстая (рожд. Дитерихс) Ольга Константиновна (1872—1951), первая жена А. Л. Толстого.

⁶¹ Ляпунов Вячеслав Дмитриевич (1873—1905), крестьянский поэт; был управляющим хозяйством Ясной Поляны.

⁶² Отец Валентин — Амфитеатров Валентин Александрович (ок. 1830—1908), настоятель Архангельского собора в Кремле. С. А. Толстая в марте 1895 г. у него исповедовалась (ПСС, т. 68, с. 70).

⁶³ На представлении пьесы А. П. Чехова «Дядя Ваня» Л. Н. Толстой был 24 января 1900 г. «Толстой говорит, что в пьесе есть блестящие места, но нет трагизма положений», — сообщал В. И. Немирович-Данченко в письме к Чехову в феврале 1900 г. (Вл. И. Немирович-Данченко. Театральное наследие, т. II, М., 1954, с. 188). Сам Чехов рассказывал П. П. Гнедичу об отрицательном отношении Толстого к его драматургии: «Вы знаете, он не любит моих пьес, уверяет, что я не драматург. Только одно утешение у меня и есть, он мне рассказал: «Вы знаете, я терпеть не могу Шекспира, но ваши пьесы еще хуже» (П. П. Гнедич. Из записной книжки. «Международный Толстовский альманах», М., 1909, с. 32).

⁶⁴ О трагических обстоятельствах семейной жизни Н. С. и Е. П. Гимер Л. Н. Толстому рассказали в конце 90-х гг. Этот случай подсказал основную тему драмы «Жи-

вой труп» (первоначальное название «Труп»; ПСС, т. 34). В конце января 1900 г. был написан конспект, и работа продолжалась до ноября. «Драму «Труп» надо бросить», — отметил Толстой в Дневнике 28 ноября (ПСС, т. 54, с. 65). Драма осталась незаключенной. Подробнее см. в книге: В. А. Жданов. Последние книги Л. Н. Толстого. М., 1971, сс. 60—95.

⁶⁵ М. Л. Толстой с 1898 г. служил в Сумском полку, в Москве.

⁶⁶ Чертков Владимир Григорьевич (1854—1936), близкий друг и единомышленник Толстого, пропагандист его учения, издатель и распространитель его сочинений. Женат на Анне Константиновне (домашнее имя — Галя) Дитерихс (1859—1927). Познакомившись с Толстым в 1883 г., Чертков жестко боролся за единоличное влияние на писателя, его конфликты с С. А. Толстой были неизбежны. Еще в 1887 г. по прочтении одного из писем Черткова к Льву Николаевичу Софья Андреевна заносит в дневник: «Перечла я письмо Черткова о его счастье в духовном общении с женой и соболезнование, что Л. Н. не имеет этого счастья и как ему жаль, что он, столь достойный этого, лишен этого общения, — намекая на меня. Я прочла, и мне больно стало. Этот тупой, хитрый и неправдивый человек, лезть опутавший Л. Н., хочет (вероятно, это *по-христиански*) разрушить ту связь, которая скоро 25 лет нас так тесно связывала всячески!» (С. А. Толстая. Дневники. Т. 2, с. 116). Постоянная напряженность в отношениях Софьи Андреевны с Чертковыми не исключает и отдельных «просветлений».

⁶⁷ Изабелла Хепгуд (1850—1928), американская писательница, переводчица сочинений Л. Н. Толстого на английский язык. Встречалась с Толстым дважды: 25 ноября 1888 г. в Москве и в июне — июле 1889 г. в Ясной Поляне. Письмо к С. А. Толстой от 2 февраля (н. ст.) 1900 г. (ГМТ). См.: И. Хепгуд. Граф Толстой дома. «Вопросы литературы», 1984, № 2, сс. 163—197.

⁶⁸ Петров Григорий Спиридонович (1867—1925) в письме к С. А. Толстой от 18 января 1900 г. сообщал об избрании Л. Н. Толстого почетным академиком по Разряду изящной словесности Академии наук (ГМТ), который был учрежден по случаю Пушкинского юбилея 1899 года.

⁶⁹ Речь идет о «Песне без слов», неопубликованной повести, над которой С. А. Толстая работала с 1895 г. На протяжении 1900 г. она вносила в нее разного рода поправки.

⁷⁰ Оболенская (рожд. Толстая) Мария Львовна (1871—1906); со 2 июня 1897 г. жена Оболенского Николая Леонидовича (1872—1934).

⁷¹ В декабре 1899 г. знакомый Л. Н. Толстого крестьянин А. Н. Аггеев рассказал ему, что грузчики на Московско-Казанской железной дороге работают по 36 часов непрерывно. 26 декабря Толстой ездил сам на товарную станцию проверить сказанное. Под впечатлением от увиденного он написал статью «Самый дешевый товар» (ПСС, т. 90). В «Северном курьере» она не была напечатана и позднее вошла в первую главу статьи «Рабство нашего времени» (ПСС, т. 34).

⁷² Толстой Илья Львович (1866—1933).

⁷³ Из стихотворения А. А. Фета «Графине С. А. Толстой». См.: А. А. Фет. Стихотворения. М., 1970, с. 333.

⁷⁴ В залах Таврического дворца 7 марта 1905 г. была открыта выставка портретов работы русских художников, организованная Л. М. Бакстом, И. Я. Билибиным и С. П. Дягилевым. Было выставлено около 3000 портретов и среди них — портрет Т. Л. Толстой работы И. Е. Репина (масло, 1893), переданный для экспонирования семьей Толстых.

⁷⁵ 14 ноября 1899 г. Татьяна Львовна вышла замуж за Михаила Сергеевича Сухотина (1850—1914).

⁷⁶ В 1899—1900 гг. появилось три не совпадающих по тексту издания романа: лондонское, выпущенное В. Г. Чертковым без цензурных искажений, публикация в журнале «Нива» и отдельное издание А. Ф. Маркса, в которые вносила искажения не только цензура, но и редактор, исключая некоторые места как неподходящие для «семейного» журнала. Г. А. Русанов подготовил текст «Воскресения», где он по своему усмотрению соединил тексты трех предыдущих изданий и внес свои поправки. В таком виде роман был опубликован в одиннадцатом Собрании сочинений Л. Н. Тол-

стого (часть XIV). В 1903 г. Н. В. Давыдов по просьбе С. А. Толстой подготовил текст для следующего Собрания сочинений. По лондонскому изданию он отметил места, которые необходимо исключить, чтобы не подвергнуть новое издание конфискации. Его работа была просмотрена С. Л. Толстым, места пропуска текста были обозначены отточиями. В таком виде роман был напечатан в двенадцатом Собрании сочинений (часть XVIII), выходявшем в 1910—1911 гг.

⁷⁷ Толстая Софья Андреевна (жена поэта С. А. Есенина; 1900—1957), много лет работала в музее Л. Н. Толстого научным сотрудником, а в последние годы — директором.

⁷⁸ Толстая Александра Львовна (1884—1979).

⁷⁹ Толстая Александра Андреевна (1817—1904), двоюродная тетка Л. Н. Толстого, фрейлина, на протяжении многих лет была в дружбе с Л. Н. и С. А. Толстыми и их детьми.

⁸⁰ Син-Джон (St. John) Артур Карлович — англичанин, бывший офицер индийской службы. Под влиянием взглядов Л. Н. Толстого вышел в отставку. Переписывался с Толстым. В июле 1900 г. был арестован и выслан из России за связь с духоборами.

⁸¹ Кенворти (Kenworthy) Джон Колеман (род. в 1860 г.), английский пастор, писатель и переводчик сочинений Л. Н. Толстого. Они были лично знакомы и переписывались. Во время этой встречи Кенворти просил Толстого написать предисловие к своей книге «Анатомия нищеты». Книга с предисловием Толстого вышла в 1900 г. (ПСС, т. 34).

⁸² Нарышкина (рожд. Цурикова) Елизавета Алексеевна, гофмейстерина; С. А. Толстая была с ней в дружеских отношениях. Письмо к С. А. Толстой от 30 ноября 1899 г. (ГМТ).

⁸³ В июне 1900 г. распространился слух, что митрополит Антоний разослал секретный циркуляр, в котором предлагалось не хоронить Л. Н. Толстого на кладбище, но Синод не поддержал (см.: А. Суворин. Дневник. М., «Новости», 1992, с. 292). Официальное отлучение Толстого от церкви произошло в 1901 г., когда в «Церковных ведомостях» от 24 февраля было опубликовано определение святейшего Синода от 20—22 февраля о Толстом, в котором говорилось: «Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею».

⁸⁴ Дети Л. Н. и С. А. Толстых Алексей Львович (1881—1886) и Иван Львович (1888—1895) были похоронены на кладбище при селе Никольском, близ Покровского-Стрешнева под Москвой. В 1932 г. прах был перенесен на Кочаковское кладбище близ Ясной Поляны.

⁸⁵ В 1885 г. С. А. Толстая приступила к подготовке и изданию Собрания сочинений Л. Н. Толстого. С 1886-го по 1911 г. вышло восемь изданий. Благодаря личным хлопотам Толстой удавалось включать в Собрания произведения Толстого, появления которых в других изданиях препятствовала цензура. Тиражи были большими, цена умеренной, и это способствовало широкому распространению сочинений Толстого.

⁸⁶ Толстой работал над статьей «Рабство нашего времени» (ПСС, т. 34). «Новое рабство» — одно из промежуточных заглавий этой статьи.

⁸⁷ Толстой Павел Львович (Паля; 1900—1992).

⁸⁸ Толстая (рожд. Рачинская) Мария Константиновна (1865—1900), дочь директора сельскохозяйственной академии в Петровском-Разумовском (ныне Тимирязевская академия), с 9 июля 1895 г. — жена С. Л. Толстого. «19 ноября 1896 г., — вспоминал Сергей Львович, — жена уехала от меня к отцу в Петровское-Разумовское, и вскоре я получил оттуда известие, что она беременна и не хочет ко мне возвращаться. Трудно сказать, по чьей вине произошел наш разрыв. Я больше виню себя, чем ее» (С. Л. Толстой. Очерки былого. Тула, 1975, с. 183).

⁸⁹ Таня, Альбертини (рожд. Сухотина) Татьяна Михайловна, род. 6 ноября 1905 г. Умерла в Италии в 1996 г.

⁹⁰ Маклакова Мария Алексеевна (род. в 1877 г.), дочь профессора Московского университета А. Н. Маклакова, сестра В. А. Маклакова; Сухотин Михаил Сергеевич

(1850—1914), муж Т. Л. Толстой; Дунаев Александр Никифорович (1850—1920), один из директоров Московского торгового банка, единомышленник Толстого; Горбунов-Посадов (1864—1940), друг и единомышленник Толстого, в 1897—1925 гг.—руководитель издательства «Посредник»; Руднев Александр Матвеевич, главный врач Тульской губернской больницы; Софья Николаевна Толстая (рожд. Философова, 1867—1934), жена И. Л. Толстого; Маклаков Василий Алексеевич (1869—1957), московский адвокат, сын А. Н. Маклакова; Буланже Павел Александрович (1865—1925), единомышленник Толстого; Сергеенко Петр Алексеевич (1854—1930), беллетрист, литературный критик; Боткина Анна Петровна (род. в 1854 г.); Саломон Шарль (1862—1936), французский литератор, переводчик сочинений Л. Н. Толстого на французский язык, автор статей о нем. Приезжал в Ясную Поляну 7 сентября 1900 г.; Игумнова Юлия Ивановна (1871—1940), художница.

⁹¹ А. М. Горький и В. А. Поссе посетили Ясную Поляну 8 октября 1900 г. «Эти мне приятны»,— отметил Толстой в Дневнике (ПСС, т. 54, с. 45). Это была вторая встреча А. М. Горького и Л. Н. Толстого. Первая состоялась в Москве, в Хамовниках, 13 января 1900 г.

⁹² В. А. Поссе просил Л. Н. Толстого поддержать журнал и дать для публикации «Живой труп», но Толстой не мог исполнить его просьбу, т. к. драма была не закончена.

⁹³ Вл. И. Немирович-Данченко виделся с Л. Н. Толстым 11 октября 1900 г. Толстой отклонил его просьбу о постановке «Живого трупа» на сцене Художественного театра, а 16 октября записал в Дневнике: «Немирович-Данченко был о драме. А у меня к ней охота прошла» (ПСС, т. 54, с. 48).

⁹⁴ Осенью 1900 г. Толстой продолжал работу над драмой «Живой труп» (ПСС, т. 34) и «большой драмой» «И свет во тьме светит» (ПСС, т. 31). 28 ноября он записал в Дневнике: «Драму Труп надо бросить. А если писать, то ту драму», то есть «И свет во тьме светит» (ПСС, т. 54, с. 65). Произведение осталось незаконченным.

⁹⁵ С отцом Александром Львовну связывали прочные узы духовной близости и сердечной любви, хотя их отношения не были идиллическими (см. в книге: А. Л. Толстая. Дочь. М., 1992, сс. 3—6). «Я часто чувствую твое отсутствие,— писал Толстой дочери,— и с любовью вспоминаю о тебе не тогда, когда ты мрачна и рассеянна, а внимательна, и весела, и добродушно серьезна» (письмо Л. Н. Толстого от 13 февраля 1906 г.— ПСС, т. 76, с. 99).

⁹⁶ П. А. Буланже задумал издание еженедельного иллюстрированного литературно-политического и научного журнала «Утро». Узнав о предполагавшемся участии в нем Толстого, Главное управление по делам печати журнала не разрешило (см.: «Судьба еженедельника „Утро“. „Голос минувшего“, 1918, №№ 4—6, сс. 300—303).

⁹⁷ К 1900 г. почта Л. Н. Толстого была очень обширной. Он просматривал письма и одни оставлял у себя для ответа, на конвертах других писал конспект ответа, а письмо писал кто-нибудь из близких. Толстой его прочитывал и подписывал. На конвертах писем, содержание которых Толстой находил незначительным, он ставил: «бо», что означало «без ответа». За 1900 г. известно 231 письмо, написанное рукой Толстого, и 35 писем — по поручению (ПСС, тт. 72 и 90).

⁹⁸ О взаимоотношениях С. И. Танеева с Л. Н. и С. А. Толстыми см. главу «Сергей Иванович Танеев» в воспоминаниях С. Л. Толстого «Очерки былого» (сс. 343—358). «Я могу говорить об увлечении моей матери,— пишет Сергей Львович,— не скрывая ничего, так как и скрывать нечего. Об этом она сама за несколько дней до своей смерти говорила своей дочери Татьяне. Ни я, ни мои сестры и братья никогда не сомневались в том, что слова матери — правда и что в отношениях нашей матери к Танееву не было «рукопожатия, которое не могло бы быть при всех», но это увлечение матери нас огорчало, особенно потому, что оно было очень неприятно отцу» (там же, с. 350).

⁹⁹ 19 ноября 1900 г. Л. Н. Толстого посетили голландец Энгеленберг, занимавший административную должность на острове Ява, и его друг (фамилию установить не удалось). 5 декабря они вновь побывали у Толстого. «Энгеленберга я очень полюбил»,— писал Толстой 6 декабря 1900 г. П. И. Бирюкову (ПСС, т. 72, с. 509). Подробнее об этом см.: ПСС, т. 72, с. 507.

¹⁰⁰ Цертелев Дмитрий Николаевич (1852—1911), писатель, философ, переводчик, переписывался с Л. Н. Толстым.

¹⁰¹ Новиков Михаил Петрович (1871—1939), крестьянин Тульской губернии, 27 ноября принес Л. Н. Толстому рукопись статьи «Голос крестьянина». Толстой, прочитав ее, записал в Дневнике: «...получил сильное впечатление: вспомнил то, что забыл: жизнь народа: нужду, унижение и наши вины» (ПСС, т. 54, с. 65). 30 ноября гостям читал ее Толстой (а не Новиков). По рекомендации Толстого она была напечатана за границей в 1904 г.

¹⁰² Усов Павел Сергеевич (1867—1917), врач, лечил Л. Н. Толстого с 1899 г.; находился в Астапове во время последней болезни Толстого. Черинов (а не Черенов) Михаил Петрович (1838—1905), доктор медицины, профессор Московского университета.

¹⁰³ В прощальном письме к близким в 1919 г. С. А. Толстая писала: «Совсем особенно отношусь к тебе, моя дорогая, горячо любимая, милая внучка моя Танюшка. Ты сделала жизнь мою особенно радостной и счастливой» (С. Л. Толстой. Очерки былого. С. 270).

¹⁰⁴ Свадьба М. Л. Толстого и А. В. Глебовой состоялась 31 января 1901 г. в Москве.

*Подготовка текста, публикация и примечания
О. А. ГОЛИНЕНКО и Б. М. ШУМОВОЙ,
научных сотрудников ГМТ*



Два юбилея

I

Сто пятьдесят лет тому назад по Европе расплодилось одна из самых горячих точек — Революция. Это была первая именно европейская революция; все предыдущие — нидерландская, английская, две французские, — несмотря на масштабное озверение, страдали географической локальностью. А вот в 1848 году революционный вирус подхватили почти все: парижские рабочие, немецкие студенты, венгерские крестьяне, пражские бюргеры, ломбардийские адвокаты. Относительный покой соблюдали лишь окраины: николаевская Россия по-прежнему безмолвствовала под сенью благословенных православия, самодержавия, народности и посылала войска на подавление венгерской революции; Великобритания, как и положено горячке-островитянке, хладнокровно наблюдала за континентальной заразой, следуя излюбленной своей политике «блестящей изоляции». Бурлил только Лондон, да и то не «английский Лондон», а «эмигрантский», — Лондон Мадзони и Лелевеля. Именно здесь за несколько недель до начала первой из европейских революций урожая 1848 года была напечатана немецкая брошюрка под названием «Манифест коммунистической партии».

Этот безусловный шедевр марксистской литературы имел в прошлом веке (и в большей части нынешнего) несомненный успех. Прежде всего издательский и читательский. Летом того же 1848 года он вышел по-французски, чуть позже — по-польски; два года спустя некая мисс Эллен Макфарейн перевела его на английский, а в начале шестидесятых неистовый Мишель Бакунин сочинил первую русскую версию. К 1871 году «Манифест» переплыл Атлантику, а затем посыпались вторые, третьи и десятые переиздания; дело дошло до того, что в 1887 году «Манифест» чуть было не вышел по-армянски в самом Константинополе. Так что Энгельс с полным правом мог написать в конце восьмидесятых: «...в настоящее время он («Манифест». — **К. К.**), несомненно, является самым распространенным, самым международным произведением всей социалистической литературы...» Действительно, экземпляр «Манифеста коммунистической партии» можно было обнаружить и в каморке парижского мастерского, и в салоне знаменитых супругов Уэбб, и в книжном шкафу русского поэта-декадента.

Успех «Манифеста» носил по преимуществу литературный характер. Эта превосходно написанная брошюра замечательно соответствовала культурным ожиданиям потенциальных читателей. В обществе, в котором не было еще ни кино, ни телевидения, основным жанром поп-культуры была литература, точнее — проза, еще точнее — роман. Роман исторический, роман готический (иными словами, триллер, ужастик) и роман авантюрно-социальный (как вариант — любовно-социальный). Александр Дюма, Хорас Уолпол, Вальтер Скотт, маркиз Бекфорд, Жорж Санд, Эжен Сю — вот кто были Джеймсом Кэмероном, Фрэнком Синатрой и «Спайс гёльз» середины прошлого века. В этом контексте «Манифест коммунистической партии» был просто обречен на успех. Вспомним хотя бы его мрачную, полную смутной энергии первую фразу: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма». И далее в том же суровом тоне (напоминающем почему-то начало булгаковской «Белой гвардии»): «Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака: папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские». Образ, построенный на оппозиции (папа и царь, Меттерних и Гизо), чрезвычайно эффектен, тем более что в отличие от нас современники Маркса и Энгельса прекрасно знали, что, например, папа и царь или Гизо и Меттерних — понятия полярные, веч-

ные враги; так что, если они объединяются для «священной травли» «призрака коммунизма», значит, призрак этот есть нечто неслыханное, сверхъестественное. Чего авторы триллера и добивались. В ту же цель бьет и навязчивая кладбищенская символика «Манифеста», начиная с пролетариата — отнюдь не гамлетовского могильщика буржуазии, кончая люмпен-пролетариатом, который определяется авторами так: «Люмпен-пролетариат, этот пассивный продукт гниения самых низших слоев старого общества...»

Загадочным на первый взгляд кажется то, как «Манифест Коммунистической партии» пережил историко-культурный контекст, который его породил, — упоительно буржуазную Европу середины прошлого века, эпоху фритрейда, кружевных панталончиков, избирательных реформ, «Цветов зла», идиллического национализма, усов и бородки а-ля Наполеон Третий, королевы Виктории и дагерротипов ржавых оттенков. Дело в писательской задаче Маркса и Энгельса, отчасти успешно выполненной. Они создавали Священное Писание Пролетариата, каждая фраза которого, отлитая в металле, должна была навеки гудеть набатом в мозгу сознательного рабочего; что, заметим в скобках, и случилось с такими пассажами, как «Пролетариям нечего терять кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир» с завершающим бетховенским супераккордом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Авторы продуманно подошли к своему Священному Писанию и с концептуальной точки зрения. Как и надиктованный Аллахом Коран, как Талмуд иудеев, «Манифест Коммунистической партии» — богоданная книга, где нельзя изменить ни единой запятой, катастрофически не разрушив священного смысла. Подобно Евангелию, «Манифест» основан на мощном историческом и историографическом фундаменте; более того, он почти весь и состоит либо из исторических глав («Буржуа и пролетарии», «Пролетарии и коммунисты»), либо из историографических («Социалистическая и коммунистическая литература»). Знатоки уверяют, что в «Манифесте Коммунистической партии» есть что-то и от Ветхого Завета; известно, например, двусмысленное высказывание Сталина: «“Манифест Коммунистической партии” — «песнь песней» марксизма».

Но сейчас, сто пятьдесят лет спустя, в политкорректную эпоху религиозной индифферентности вышеперечисленные достоинства этой книги публику не вдохновляют. «Манифест» почти забыт. Исключение составляют, пожалуй, только жертвы советской педагогики, которых лет двадцать пять тому назад школьные учителя истории заставляли учить целые главы «Манифеста» наизусть. До сих пор помню волнуящее: «Наши буржуа, не довольствуясь тем, что в их распоряжении находятся жены и дочери их рабочих, не говоря уже об официальной проституции, видят особое наслаждение в том, чтобы соблазнять жен друг у друга».

II

В мае этого года исполнилось восемьдесят лет со времени выхода в свет первого тома одной из главных книг нашего столетия — «Заката Европы» Освальда Шпенглера. Это восхитительное фантастическое сочинение, будучи понято слишком буквально, привело в восторг, раздражение, бешенство сотни тысяч людей; между тем истинных любителей изящной словесности оно ошеломило своими стилистическими достоинствами. В некрологе Шпенглера скептический Борхес написал: «Можно оспаривать его биологическую концепцию истории, но не великолепный стиль».

Сейчас, через восемьдесят лет после опубликования первого тома этой во всех отношениях замечательной книги, «страсти по Европе» продолжают бушевать. Только речь уже не о «закате», а, так сказать, «возрождении»; о «возрождении», возможном под мудрым руководством чиновников — объединителей Европы. То, что не вышло ни у Карла Великого, ни у Наполеона, получается у кучки заурядных бюрократов. Уходят в прошлое легковесные франки и добротные марки. Грядет неизбежное «евро». Шпенглер, этот глашатай «заката», не мог оказаться среди идейных отцов маастрихтского рая. Им оказался сталинист, философ-гегельянец, учитель Батая и прочих парижских философских модников, Александр Кожев. Странно, что в очередном припадке самовоспевания в России еще не вспомнили о русском происхождении этого господина.

Но вернемся к книге-юбилею. Книга без родословной — дворняга; в родословной «Заката Европы» не очень мирно соседствуют Лейбниц, Вико, Гете и Ницше; кажется, что именно неожиданное сочетание интеллектуальных (и эстетических) влияний породило столь широкий разброс оценок сочинения Шпенглера. Приведу толь-

ко одну, но столь же пеструю, как и сам «Закат Европы». Льюис Мэмфорд называл эту книгу «дерзкой, глубокой, филигранной, абсурдной, подстрекательской и великолепной». Другой вопрос: «О чем “Закат Европы”»? Действительно, о чем? О закономерностях развития человеческой истории? О разных видах души: аполонической, фаустовской, магической? О судьбах цивилизаций? Или о великолепном пессимизме одного отдельно взятого немца в период с 1914-го по 1918 год? Каждый читатель «Заката Европы» выберет свой вариант ответа. Скажу только за себя: эта книга о безграничных возможностях человеческой фантазии, некогда проявившейся в великой теологии от Блаженного Августина до Сведенборга, а сейчас породившей захватывающую повесть о рождении, взрослении, старении и смерти странных существ под названием «цивилизации». И еще эта книга о смелости, ведь только смельчак мог вынести в оглавление такую, например, фразу: «Победа инструментальной музыки над масляной живописью около 1670 года (соответствующая победе объемной пластики над фреской около 560 года до Р. Х.)».

Что же до автора «Заката Европы», Освальда Шпенглера, то родился он опять-таки в мае (29-го) 1880 года в немецком городке Блакенбурге в семье почтового служащего. Гимназия и университет в Галле (где он изучал математику и естественные науки), несколько лет в Мюнхене и Берлине. В 1904 году — докторская диссертация «Основная метафизическая идея гераклитовой философии». Небольшое наследство освободило Шпенглера от учительствования в гамбургской гимназии и позволило приступить к книге его жизни. «Закат Европы» был придуман к 1914 году, а первый том написан к 1918-му. Заметим, что упомянутые даты — еще и хронологические рамки первой мировой войны. Первый том принес славу и деньги; второй — сделал Шпенглера почти поп-звездой. Склонный к одиночеству, мизантропичный, он тем не менее на время нарушает приватность своей жизни, чтобы иногда высказаться на политические и социальные темы. Правые, враждебно настроенные по отношению к Веймарской республике, пытаются использовать его славу; Шпенглер охотно поддерживает планы создания немецкой Директории, только вот с нацистами (и, в частности, с Гитлером) он не сошелся. В 1933 году Освальд Шпенглер публикует первую часть книги «Годы решения», весьма враждебно встреченную гитлеровцами. Впрочем, до апофеоза нацистского режима, который запретил упоминать его имя в печати, Шпенглер не дожил. Он умер в том же месяце, в котором родился и в котором выпустил первый том лучшей своей книги, 8 мая 1936 года. Этот человек определял себя так: «Я всегда был аристократом. Нищие были мне понятны, прежде чем я вообще узнал о нем».

О нем говорили разное. Многоотомный Томас Манн назвал его «умной обезьяной Ницше»; страстный Вальтер Беньямин — «Тривиальным паршивым псом». Думаю, однако, что правы были только студенты из Швабинга, которые при виде прогуливающегося Шпенглера говорили: «Вот идет „Закат Европы“!»; в конце концов Освальд Шпенглер воплотился в собственную книгу, сам стал «Закатом Европы», той Европы, которую он знал, любил, в которой он вырос, которая его воспитала: Европы между 1871 и 1914 годами, Европы «бель эпок». То, что появилось после 1918 года, для Освальда Шпенглера «Европой» уже не было. Ведь именно ему принадлежит классическое определение одного из главных понятий современной эпохи: «Партия — это когда безработные организуются бездельниками».



Вячеслав КУРИЦЫН

Малахитовая шкатулка – 3

КНИГИ, ИЗДАННЫЕ НА УРАЛЕ

У парадного подъезда

Осенью прошлого года в центре Екатеринбурга, на набережной городского пруда, выстроили богатый особняк — резиденцию губернатора Э. Э. Росселя. Строение примечательное хотя бы потому, что заметно отличается от остальной текущей архитектуры города, где до сих пор правит бал краснокирпичный новорусский стиль. Резиденция выглядит куда приличнее. Внутри, говорят, она отделана всем, чем только богата на данный исторический момент Хозяйка Медной Горы. Эти богатства не скрыты от общественности: в резиденции проводятся приемы, выставки и т. д. Но в мой майский приезд на Урал, организованный редакцией «Октября», выставок в особняке не было, и я даже не смог подойти к фасаду, ибо пространство вокруг окружено надежным железным забором. Чтобы, не дай Бог, рядовой избиратель не тусовался «у парадного подъезда», не пялился на высоких хозяев и гостей и уж тем более не мог развернуть здесь какой-нибудь митинг... Я сразу вспомнил, как в последний Новый год за час до боя курантов пускал какую-то пиротехнику в нижегородском кремле (куда вход свободен) у стен тамошнего губернаторства (откуда не выглянул даже любопытный секьюрити). Сравнение явно не в пользу Урала...

Пусть это будет метафорой «уральского регионализма» — явления естественного и перспективного, но естественным же образом «противоречивого и неоднозначного». То же касается и книг с региональным пафосом, которых ныне в бывшем Свердловске выходит много.

Вот, скажем, второй том «Антологии уральского цеха поэтов» (выпущена она, правда, в Москве: «Советский писатель», 1997), к которой именно Россель и написал небольшое предисловие. Безусловно, ценная и полезная книга, собравшая тексты старых поэтов «урало-сибирского региона»: авторов тобольского журнала «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» или пролетарского поэта Павла Заякина-Уральского. Сам я теперь буду всегда благодарен этой книге за то, что впервые прочел в ней стихи Петра Словцова (1767—1843), совершеннейше гениальные:

Должно ль, чтоб отцы столпотворенья,
Скрывши темя в сумраке небес
И вися над бездной заблужденья,
На истлевшей вазе древних грез,
Уцелели до всеобща труса,
Если сферы терпят тяжесть бруса,
Коим время их браздит в пески,
Если солнце сыплется комками
И с янтарных стен уже местами
Крошатся огнистые куски?

Но слишком много рядом «но». Филологическое «но»: издание богатое, места на справке не пожалели, так могли уж сделать более грамотный научный аппарат (дать библиографию авторов, указать источники публикаций и т. д.). Структурное:

раздел современных уральских поэтов в конце тома смотрится вполне нелепо и непонятно, по какому принципу собран. Идеологическое: риторика статей («полуторатысячелетнее эхо славянской прапамяти...») слишком напыщена и не слишком содержательна.

Или школьный учебник «История Урала с древнейших времен до конца XIX века» под редакцией академика Б. В. Личмана (книга первая, издательство «СВ-96», Екатеринбург, 1998). Книга опять же безусловная: подробное простенькое повествование о том, как и когда пришли люди на Урал, где были самые древние рудники и т. д. и т. п. Я ее буду держать на ближней полке и непременно куплю продолжение. Но почему школьные учебники принято писать скучно и неизобретательно? Ребенку не очень интересно читать про «своеобразные тундро-степи», но было бы занятно узнать, что человек со стоянки Богдановка (Южный Урал, 200 тысяч лет назад), просыпаясь утром, видел такую-то флору и такую-то фауну, что у него был примерно эдакий режим дня... Почему написано и нарисовано, что такое чоппер (орудие из гальки), но не сказано реально интересное человеку другой эпохи: сколько времени требовалось на его изготовление и за сколько минут им или другим инструментом можно, грубо говоря, срубить дерево? Почему в книжке нет ни одной карты? Авторы не считают нужным нарисовать для наглядности «пути заселения Урала», зато объясняют в словарице, что такое «духовный мир» (это, оказывается, «мир чувств и мыслей человека»).

Между прочим — это уже не к учебнику претензия, а к общей привычке слепо употреблять слова, — «История Урала» — это ведь не история Урала, а только история людей на Урале. Много миллионов лет Урал существовал без всяких людей: и у дочеловечьего Урала тоже была своя мифическая, мистическая история... Но с мистическим краеведением (какое, в общем, может быть столь же уважаемой дисциплиной, как краеведение фактокопительское) дела обстоят хуже. О судьбе Урала как такового больше переживают не краеведы, а поэты. Павел Заякин-Уральский прямо противопоставляет седой Урал человеку, который слетелся на блеск самоцветов:

Мне жаль тебя, родной Урал:
Ты, щедрый, много людям дал,
Но люди будут в недрах рыться,
И жадность их не утолитс...

И Лев Сорокин рассматривает Урал как вполне автономную метафизически-географическую сущность:

Не просто было
Стать Уралом.
Он морем был,
Равниной был.
Земля тряслась,
Земля пылала,
Корежась от подземных сил.

С Сорокиным — история отдельная. Он был когда-то главой местного отделения СП. Когда ваш покорный слуга начинал заниматься на Урале литературой, среди молодых писателей Сорокин пользовался верной репутацией официозного графомана, но старшие товарищи неизменно говорили, что Сорокин — очень хороший человек. С этого начинается свое предисловие к посмертной книге Сорокина «Я на земле уже не повторяюсь» (РИО Каменск-Уральской типографии, 1997; миниатюрное издание, в супере, с закладочкой) и Валентин Лукьянин: «Красивый, импозантный, неконфликтный...» Однако Лукьянин решил доказать, что Сорокин и поэт неплохой. Для этого он совершил редкую текстологическую операцию: выбрал среди всего написанного Сорокиным лучшие тексты, строфы и даже строки. Операция сколь любопытная, столь же и рискованная: книжка доказывает обратное замыслам составителя, а именно, что поэтом Сорокин, даже представленный без сервильных строчек о партии родной, был, мягко говоря, слабеньким.

Другой опыт Лукьянина (главный редактор дышащего на ладан «Урала») оказался более удачным. Передо мной книжка из серии, издаваемой тем же Каменск-Уральским РИО по заказу Департамента культуры Свердловской области и посвя-

щенной творчеству классиков литературы Урала советского периода. Это сборник умершего в 1995 году Андрея Ромашова «Осташа-Скоморох». Ромашов — автор культовой на Урале повести «Диофантовы уравнения», написанной в начале восьмидесятых. Я перечитал ее сейчас и убедился, что текст впрямь очень качественный. Хладнокровно изложенная судьба жителя Александрии Олимпия, который был и богатым аристократом, и грязным нищим. История разворачивается на фоне раннехристианских издевательств над язычниками. Очень сочное, геометричное, лаконичное письмо, тонкая стилизация, «плотность письма и прозрачность стиливого рисунка» (В. Лукьянин), пример того «ювелирного дискурса», о котором я писал в предыдущем выпуске «Малахитовой шкатулки», приводя в пример сочинения Е. Ройзмана, К. Богомолова, И. Богданова, Ю. Кокошко.

Упомянутый Евгений Ройзман принадлежал лет десять назад к поэтической группе «Интернационал», которая ныне тоже подводит итоги: в издательстве Уральского университета вслед за книжкой Ройзмана вышел сборник Юлии Крутевой, а впереди еще две книги.

В этой главе я располагаю книги по принципу «от хорошего к лучшему» — теперь настал черед еще трех продуктов издательства Уральского университета. Два из них — «Очерки истории Верхотурья и Верхотурского края» (где, кстати, родился Словцов) и роскошный альбом «Невьянская икона». Это классические образцы качественного парадного краеведения, где на высоте не только полиграфия, но и издательско-составительская культура, научный аппарат и качество статей.

И, наконец, третий: самая мощная из краеведческих и околоскраеведческих книжек. Сочиненный В. Дубичевым и Е. Зяблицевым и оформленный А. Шабуровым талмуд «Урал политический. Без тайн и загадок». Книга, в которой на тысячах иллюстраций (карикатуры на политиков, рекламные листовки публичных домов, водочные этикетки, фотографии знаменитых местных криминальных надгробий и т. д.) создается визуально-документальный портрет города и эпохи. Памятник времени и шедевр книжного дела.

Новая урна

«Уральская новь», челябинская литературная газета, превратилась в этом году в толстый литературный журнал. Вышло уже два номера при содействии Института «Открытое общество», тиражом 500 экземпляров. В связи с выходом первого номера мне уже приходилось высказываться в печати, что проект этот не особо организован. Сам жанр толстого журнала предполагает: а) единый литпроцесс и б) читателя, ориентированного на такое единство. И если старые «толстяки» хороши и нужны как наследники своей собственной великой традиции, как «память жанра» и, если угодно, как музей, то новый толстый журнал с тиражом в пять сотен напоминает копию Джоконды, вывешенную в областной картинной галерее. Сегодня куда разумнее смотрятся журналы, более четко ориентированные на определенный сектор интеллектуального рынка.

Второй номер «УрНы» поживее первого, но именно за счет того, что в его составе преобладают материалы из такого как раз «определенного сектора», который я назвал бы «академическим постмодернизмом»: стихи Веры Павловой и рассказы Игоря Клеха, делящийся роман Александра Шабурова «Радости обычных людей», подборка материалов о Льве Рубинштейне, лекция Сергея Хоружего о Джойсе, эссе Бориса Кузьминского, заметки Аркадия Драгомощенко, Анны Альчук, Михаила Рыклина, Федора Ромера. Но ведь не пропаганда этой культуры — задача «Уральской нови»! Уральского в этом — только Шабуров. Надо признать, что «постмодернистская» часть журнала составлена вполне грамотно, дает некое представление о контексте, но «УрНа» — не совсем то место, от которого ждешь этого контекста... Журнал в результате выглядит не «регионально» (как, скажем, челябинские же «Несовременные записки», последовательно занятые современной уральской словесностью), а именно что «провинциально», увы. Но все равно — здоровья ему и долгих лет жизни.

Сторонящийся людей зверь

Блестящий пример «другого краеведения» — книга А. В. Ерникова-Финнкельта «Калевала-1998» (издательство Уральского университета). Поставлена глобальная задача оценить всемирно-историческую судьбу финнов, нации, которая практически не производит знаменитых художников и писателей, но зато держит мировое первенство по числу пользователей Интернета на душу населения и по числу самоубийств. Финны, по Ерникову, — самая «домашняя» нация планеты, чем объясняются и легендарная финская заторможенность, и особая склонность финской культуры к уюту, и фантастическое упорство при защите от врагов (Гитлера СССР победил, а вот финнов не смог; а под фотографией волка в финском альбоме ничтоже сумняшеся сообщается: «Пугливый, сторонящийся людей зверь»). Финляндия — родина Деда Мороза. Финны отказываются заимствовать из мировых языков даже такие слова, как «телефон» и «компьютер», переводя их на свой язык как «говорилка» и «машина думанья»; этим они выделяются из всего мира, но выделяются, заметьте, не оригинальничаньем, а предельной простотой! Высказывается предположение, что финны должны принять у евреев эстафету богоизбранного народа. Новая богоизбранность, очевидно, должна быть связана не со всемирностью-бесприютностью, а с локальностью-домашностью.

Поднят в работе вопрос и о финно-уральских культурных и исторических связях. Разные, но родственные народы, финны и уральцы, живут на оконечностях великой финско-уральской энергетической дуги, которая, возможно, сменит в будущем в качестве оси отсчета такие привычные оппозиции, как Юг — Север и Запад — Восток.

И, наконец, книжка написана в оригинальном жанре: почти пять тысяч стихотворных строчек в размере финского эпоса «Калевала»:

Финны, близкие природе,
Как никто во всей Европе,
Могут послужить однажды
Западной цивилизации —
Дряхлой, хворой и стоящей
В тупике своих исканий...

Другая жизнь

Выходят на Урале и книги по гуманитарной проблематике, выполненные, так скажем, в более традиционной научной технике. Челябинский университет выпустил в прошлом году труд Марка Бента «Вертер, мученик мятежный». Это первая русская монография о романе Гете. Она посвящена не столько тексту, сколько контексту: мироощущению романтического поколения, традиции самоубийств до и после романа, пародиям на него, его роли в судьбе автора и других людей и тому подобным весьма любопытным вещам. Главкам книги даны привлекательные названия типа «Разговоры в салонах, канцеляриях, питейных заведениях и других местах об отсутствующем герое романа и его авторе». Тираж — 500 экземпляров, но если бы работал как следует книжный рынок, книга могла иметь и более увесистую читательскую судьбу. При коммунистах она могла бы выйти, скажем, в престижной серии «Судьбы книг». И, конечно, первое ее издание точно не останется последним.

А Уральский университет издал сразу две книги о Юрии Трифонове. К. Де Магд-Соэп «Юрий Трифонов и драма русской интеллигенции» — подробное славистское исследование, без особых сюрпризов, но весьма добросовестное. Вторая книга — составленная А. Шитовым — «Хроника жизни и творчества» Трифонова. Сей род изданий у меня всегда вызывает эдакий религиозный трепет. Какая странная затея — воспроизвести день за днем жизнь целого человека, склеивая ее из следов событий разной степени значимости! 11 января присутствует на премьере фильма «Утоление жажды» в Центральном доме кино, где была встреча с творческой группой. 11 января при встрече подарил книгу «Отблеск костра» с надписью: «Василию Дмитри-

евичу Поликарпову — с великой благодарностью за помощь в работе над этой книгой». Так в телевизионной программе «Намедни» на равных соседствуют плащ-болонья и какой-нибудь Карибский кризис.

Впрочем, это я уже выдаю желаемое за действительное. Никакого «купил плащ-болонью», «выпил две бутылки водки», «проехал на велосипеде двадцать два километра» в хронике Шитова, как и в большинстве подобных хроник, нет, хотя именно эти мелочи и составляют то, что в названии книжки наречено «жизнью». Понятно, что взять эту информацию особо неоткуда, но понятно также, что дело не только в ее недоступности, но и в жанровой установке. Вот сказано: «подписал договор с издательством», но не добавлено: «получил тыщу сто рублей», хотя последнее для «жизни»-то Трифонова было, вероятно, более значимо, чем факт подписи.

В результате хроника состоит из заметок типа: 8 декабря в туркменской газете «Эдебият ве сунгат» («Литература и искусство») опубликован рассказ «Одиночество Клыча Дурды» (пер. А. Бердыева). Но ведь этот факт не был ни событием жизни Трифонова (вряд ли он выписывал «Эдебият ве сунгат» и, вытаскивая газету утром из ящика, радовался публикации, вряд ли звонил весь день в Туркмению и обсуждал ее с Бердыевым), ни событием его творчества (событием творчества «Клыч Дурда» был, пока сочинялся). Этот факт не хроники жизни и творчества, а библиографии. Как «История людей на Урале» выдается за «Историю Урала», так здесь судьба текстов выдается за жизнь человека...

А также...

А также — как всегда, несколько книжек, о которых, увы, нет места написать отдельно. Это сборник стихов Юрия Казарина «Поле зрения» (Екатеринбург, «Сократ», 1998), включающий избранные тексты, написанные за 20 лет. Самые интересные, на мой взгляд, сочинены в последние годы: в них стало больше каких-то виртуально-физиологических фигур (будто в поэте вдруг проросло влияние модных десятилетие назад «метаметафористов», интерес к поэтике которых, впрочем, сейчас возвращается), напряженных оптических зависаний:

Лопнула — и вспыхнула, и длится
в лампочке летучая ресница.
Повторяя зрения отскок —
боковой — во тьму, наискосок.

Это странный объект Сергея Леготина «Музей боевой сказки» (Челябинск, «Народная польза», 1998), исполненный в столь замысловатой полиграфии, что я не берусь ее здесь описывать, и содержащий юмористически-сказочно-путаный текст из событий Великой Отечественной войны.

Это, наконец, сборник Льва Кощеева «На первой полосе» (Екатеринбург, «Абак-пресс», 1998), состоящий из эссешек на разные темы («О врагах», «О вреде пьянства», «О побеге», «О школе»), которые автор в течение нескольких лет печатает в скромной многотиражной газете, остальная площадь которой заполнена рекламой и объявлениями. Эссе эти печатаются каждую неделю и представляют из себя не по-газетному медленные рассуждения лирического героя о том, что происходит вокруг: о снеге, о жаре, об уличных сценках, о психологии рядового горожанина. Добрые, милые, как правило, остроумные и изящные. «Пассажир трамвая в 21.00 похож на человека, едущего в это же время в джипе, гораздо больше, чем на пассажиров того же трамвая в 18.00 или в 23.00...»

По мне, коли уж эти заметки печатаются в газете с такой-де неизбежностью, с какой над городом каждое утро встает солнце, то стоило их более обильно сдобривать перцем городских происшествий, местных реалий и т. д. Очень правильно, что эти заметки изданы книжкой, что их можно читать подряд. Очень глупо, что верстка книжки дрейфует в сторону верстки журнала «Птюч»: читать тексты в ней неудобно...

Надеюсь, у меня была не последняя возможность рассказать об уральских книгах. Но теперь условия нашего общения меняются: в будущем году я уже не стану каждый месяц надоедать вам «Записками литературного человека», но зато выйдет новая рубрика.



ОКТАБРЬ-99

Аннотации, рецензии, обзорные статьи о словесности, которая сочиняется вне Москвы и Санкт-Петербурга, редко попадают в поле зрения столичных критиков, в то время как назрела необходимость обратной связи — создания единого пространства русской литературы. В грядущем году будет открыта **НОВАЯ РУБРИКА ВЯЧЕСЛАВА КУРИЦЫНА**, полностью посвященная литературе регионов России.

В отсутствие общенациональной торговой сети не только столичные книжки (за исключением, конечно, глянцевого боевика) не доходят до окраин, но книгу, выпущенную в Хабаровске, Кемерове, Ростове или Саранске, нельзя купить в Москве. Поэтому рубрика Вячеслава Курицына не сможет существовать без поддержки региональных авторов, издателей и просто любителей литературы.

Присылайте в редакцию «Октября» (125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13; с пометкой «Отдел критики») опубликованные в местных изданиях краеведческие исследования и научные монографии, сборники стихов и романы, журналы, книги о местных театральных постановках, о социальных и культурных мероприятиях, о региональных политиках и капиталистах, газетные публикации, посвященные гуманитарной проблематике (они будут упомянуты в списке присланных трудов).

Пишите письма, рассказывайте о себе, о ваших издательствах и литературных группах, о культурной ситуации в вашем городе или деревне, о ваших успехах и неудачах. Уверены, что ваши мысли могут быть интересны читателям «Октября».

Павел БАСИНСКИЙ

Красное и белое

В одном журнале мне предложили на рецензию книгу: *Игорь Гергенредер. Комбинации против Хода Истории. Повести. Берлин — Бранденбург, 1997.* Автор был мне совершенно неизвестен. Издательство — тоже.

— О чем? — спросил я.

— О Белой армии. Быль.

Признаться, я не поклонник нынешней «белой горячки» в освещении, а вернее сказать, в переписывании истории России XX века. От белогвардейской же «попсы», то есть от шлягеров а-ля Малинин и Газманов на белогвардейские темы («Есаул, есаул, что ж ты бросил коня...»), меня, откровенно сказать, просто тошнит. Но вовсе не потому, что один мой дед был красным офицером, выпускником троцкистской академии, а бабушка мне рассказывала, что сражалась в отряде ЧОНа (части особого назначения). И не потому, что сам я, бывший пионер и комсомолец, воспитывался все же на книгах Гайдара и Островского, а не Шмелева и Алданова. Просто по зрелом размышлении понимаешь, что Белая идея отошла в прошлое вместе с Белой Россией и реставрировать ее нет никакой возможности — нет объекта для реставрации. Белая идея в России не создала ничего реального, что сегодня могло бы оживать, подобно церквам, например. И оттого возможна лишь фиктивная романтизация этой идеи на уровне перчаток, вензелей, погончиков, бакенбардов и прочей мишуры, что, кстати сказать, весьма энергично делал уже поздний советский кинематограф (вспомните хотя бы талантливый фильм «Адъютант Его Превосходительства» с Соломиным в главной роли). Но, по существу, это не имеет к Белой идее никакого отношения. Ибо она была не театром, но отчаянной и несостоявшейся военной попыткой вернуть Россию на круги своя. Но Россия сошла со своего круга гораздо раньше Октября 17-го. Белая идея в России просто опоздала на десятки лет.

И все же книгу я взял. Одно дело — эстрадная и кинематографическая мишура и совсем другое — воспоминания, как мне объяснили, сына участника Белого движения, ныне живущего в Германии. Заглянув в послесловие, я загорелся еще больше! Игорь Гергенредер передает рассказы своего отца. Его отец, русский немец, бывший гимназист из города Кузнецка, доброволец антибольшевистской Народной Армии, прошедший «грустный путь отступления от Волги до Ангары», затем отработавший пять лет «в так называемой Трудармии — за колючей проволокой лагеря» и затем до конца дней проживший в роли «незаметного советского обывателя», тайно рассказывал сыну о своей молодости. Эти рассказы тот запомнил и, перебравшись на жительство в Германию, воспроизвел в своей книге. Пишет он талантливо и увлекательно...

Но больше всего поразила сама предыстория этой книги! «Незаметный советский обыватель» из бывших белых добровольцев — это заслуживает самостоятельного историко-психологического романа и наводит на множество тревожных мыслей. Как он воспитывал своего сына? Днем сын ходил в школу и — без сомнений! — числился в пионерах. Днем сын отдавал салюты на пионерских линейках и штудировал историю «по Ленину». А по вечерам слышал от своего отца такие, скажем, истории:

«Перед воротами купца Ваксова волновалась толпа. Из дома донесся выстрел, теперь долетали женские крики. Дюжина красногвардейцев с винтовками в руках топталась у приоткрытых ворот. Здесь же стояла бурая лошадь Пудовочкина.

Он вышел на крыльцо; фуражка набекрень на белокурых кудрях. Застегнул казакин на крючки, подтянул пояс, поправил винтовку за спиной. Балетной

походкой пронесся к воротам. Сидя в седле, помахал толпе рукой, дурашливо крикнул:

— Поздравляю с громом «Грозы»! — Простецки рассмеялся. — «Гроза» — мой отряд! — И ускакал.

Красногвардейцы пошли в дом купца грабить. А люди узнали, что Пудовочкин изнасиловал дочку Ваксова, гимназистку пятнадцати лет, а защищавшего ее отца застрелил...»

Даже невозможно догадаться, что происходило в душе мальчика! Сам Игорь Гергенредер об этом ни словом не обмолвился, но это молчание красноречивей любых слов! И неожиданно я подумал: а ведь сегодня почти вся Россия пребывает в детском состоянии Игоря Гергенредера... Что делать нам всем, более или менее знающим теперь всю историю? И что делать школьным учителям? Новые школьные учебники по истории, которые мне довелось читать, сияют сохранить объективность; но, кроме одних только фактов, есть и логика субъективного, глубоко личного отношения к событиям, которые не до конца «остыли», не окаменели. Наконец случилась встреча равновеликих художественных литератур, хотя и написанных на одном языке, но антагонистичных по смыслу. И как нам теперь примирить Аркадия Гайдара и Ивана Шмелева с его «Солнцем мертвых»... да и того же Игоря Гергенредера с его пронзительной книгой?

«— Папка, — усаживаясь мне на живот, попросила Светлана, — расскажи что-нибудь про маму. Ну, например, как все было, когда меня еще не было...»

— Было тогда нашей Марусе семнадцать лет. Напали на их городок белые, схватили они Марусиного отца и посадили в тюрьму. А матери у ней давно уже не было, и осталась наша Маруся совсем одна.

— Что-то ее жалко становится, — подвигаясь поближе, вставила Светлана, — ну, рассказывай дальше.

— Накинула Маруся платок и выбежала на улицу. А на улице белые солдаты ведут в тюрьму и рабочих, и работниц. А буржуи, конечно, рады, и всюду в ихних домах горят огни, играет музыка. И некуда нашей Марусе пойти, и некому рассказать ей...

— Что-то уже совсем жалко, — нетерпеливо перебила Светлана. — Ты, папка, до красных скорее рассказывай...» (Аркадий Гайдар. Голубая чашка).

Боюсь, что окончательного ответа нет и быть не может. Боюсь, что все это может разрешиться только само собой и только в том далеком или недалеком будущем, когда для российского школьника война Белой и Красной армий будет значить не больше, чем для нынешнего английского — война Алой и Белой Розы. До тех пор эта проблема будет кровоточить... Но самое-то главное — и пусть кровоточит! Больше того: самым неправильным и безнравственным было бы стремление по возможности скорее приостановить кровь, присыпать рану порошком и сделать вид, что все затянулось. Ведь пока еще болит этот исторический нерв, мы имеем шанс внушить нашим детям, что история — не шутка и не буквы исторического учебника. Что за ошибки расплачиваются десятилетиями. Что ее мало знать. Ее придется *делать*...



ОКТАБРЬ-99

Рубрика «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» — не о мелочах. Здесь акцент на втором слове — «жизнь». В жизни не бывает ничего не значащих мелочей. И напротив, невнимание, презрение литературы к мелочам жизни делает ее саму ничего не значащей «мелочью», забавой для нищих духом.

В будущем году Павел Басинский продолжит свою авторскую рубрику, намереваясь и впредь проверять не жизнь литературой, а литературу — жизнью. Мы не сомневаемся, что время подскажет немало новых сюжетов для этого разговора. Пока есть жизнь, есть и необходимость в литературе, которая всегда была продолжением жизни, расширением ее в пространстве словесного искусства...

Павел ФЛОРЕНСКИЙ. ОРО. М., «Paideia», 1998. Тир. 3000 экз.

Эта поэма, последнее, что сочинил Флоренский, осталась незавершенной. Адресованная детям философа, поэма должна была вобрать память семьи и память рода, символически воплотить их. Душевное состояние Флоренского видно по фрагментам писем, добавленным составителями. Так, он признается сыну Кириллу в письме от 24—25 января 1935 года: «Моя единственная надежда на сохранение всего, что делается: каким-то, хотя и неизвестным мне путем, надеюсь, все же вы получите компенсацию за все то, чего лишал я вас, моих дорогих». Слова сбылись почти буквально: книга украшена рисунками нескольких поколений Флоренских, среди которых праправнуки Ваня Флоренский и Пауль Нойманн, пятилетние дети, со своими жалкими каракулями уже вошедшие в историю русской культуры. Компенсация бывает столь же абсурдная и несправедливая, сколь потери.

Франсуа ЖИБО. КИТАЙЦАМ И СОБАКАМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН. СПб., Издательская группа «Евразия», 1998. Тир. 500 экз.

Существует загадочный закон прикосновенности, своеобразной партиципации, по нему люди, как бы то ни было связанные с миром искусства, вдруг ощущают в себе художественное дарование и пытаются его осуществить. Особенно это распространено в литературе. Пишут (по крайности переводят) жены писателей, их братья и сестры, племянники и племянницы, секретарши и литературные секретари. Как правило, талант в таких партиципационных рядах нисходит по убывающей, и если Джойс породил Беккета, а Эдуард Лимонов Елену Щапову и Наталью Медведеву, то Селин породил Франсуа Жибо (притом, что самого Селина, за многотомную биографию которого получил две премии, Жибо не знал, а был знаком лишь с его вдовой).

Марк АЗАДОВСКИЙ, Юлиан ОКСМАН. ПЕРЕПИСКА. 1944—1954. М., «Новое литературное обозрение», 1998. Тираж не указан.

В письмах воплотились две совершенно несхожие позиции затиснутых временем и страшными обстоятельствами очень разных людей, что не мешало им глубоко уважать друг друга. Главный урок, который следует извлечь,— урок терпимости к близким. Остальное же — обильные и любопытные подробности для будущего академического курса русской филологии.

Фанна РАНЕВСКАЯ. СЛУЧАИ. ШУТКИ. АФОРИЗМЫ. М., «Захаров», 1998. Тир. 15 000 экз.

Среди десятка культурных мифов, закрытых от пересмотра, есть и миф об остроумии Раневской. Хотя вряд ли кто-то улыбнется, перелистывая страницы этой маленькой книжечки. Здесь нет ни игры ума, ни острых сопоставлений, ни головокружительных каламбуров, нет ничего, кроме желания оставить за собой последнее слово, иметь право на особое мнение. Это форма интеллигентской самозащиты, жесткое противостояние миру, притом что объект насмешки чаще всего сам насмешник и шутки окрашены интеллигентским же самоуничижением. Такие книги полезно читать историкам общественного движения.

Евгений ШВАРЦ. ПЬЕСЫ. М., «Гудьял-Пресс», 1998. Тир. 10 000 экз.

Не стоило бы и упоминать об очередном переиздании классических пьес и сценариев Е. Шварца, но как раз оно и навело на мысль. Наследники с книгоиздателями заодно заступили место былой цензуры. Они, по их разумению, лучше ведают, где писатель был прав, а где заблуждался, что стоит читать широкой публике, а что следует утаить. Например, в один из готовящихся сборников Е. Шварца праводержатели наотрез запретили включать шварцевский очерк «Белый волк». Пишется новая история советской литературы.

Джеймс ХИЛЛМАН. ИСЦЕЛЯЮЩИЙ ВЫМЫСЕЛ. СПБ., Б. С. К., 1997. Тир. 2000 экз.

«Помещая глубинную психологию в пределы поэтико-риторического космоса, я беру на себя ответственность за предположения, которые я высказал в своих лекциях, прочитанных в 1972 году. В этих лекциях я сделал попытку охарактеризовать психологию души, являющуюся также и психологией воображения, такой психологией, которая опирается на процессы воображения, а не на физиологию мозга, структурную лингвистику или анализ поведения. Другими словами, это психология, которая признает существование поэтической основы сознательного разума. Любая история болезни такой психики является имагинативным выражением этой поэтической основы, имагинативным творчеством, поэтическим вымыслом...» Прочитав подобное, резонно спросить, в чем же заключается новизна подхода, новизна, отозвавшаяся скандалом, едва не отлучением Д. Хиллмана от правоверной юнгианской школы. Давным-давно русский мыслитель Я. Голосовкер разработывал философию имагинативного абсолюта, культурного побуда — основы жизни и еще сочинял историю об обитателе психейного дома (историю, по всей вероятности, оставившую след на романе о Мастере и Маргарите). О, западные мастера культуры! Их трагедия, их глубочайшее счастье, что они ничего не знают о нас.

Анри МИШО. ПОЭЗИЯ. ЖИВОПИСЬ. М., ВГБИЛ, 1997. Тир. 3000 экз.

Существование авангарда основано на волевом усилии и имеет целью полный захват власти. Он дерзок, сплочен и при внутренних разногласиях выступает единым фронтом. Тому сигналом книга, приуроченная к выставке Анри Мишо, прошедшей летом 1997 года. Слабые возражения типа «и я бы так смог» отмечаются восторженными отзывами о французском художнике и поэте Октавио Паса, Хорхе Луиса Борхеса, Мориса Бланшо и других. О милитаризованности авангарда говорит и должность одного из инициаторов выставки Вадима Козового — не организатор, не распорядитель, а Комиссар. Несогласных, вероятно, тут же ставили к стенке, на которой были развешаны живописные работы Анри Мишо, и списывали в расход. Революция не в силах обойтись без жертв, особенно революция в эстетике.

Анна АХМАТОВА. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ. Том первый. М., «Эллис Лак», 1998. Тир. 15 000 экз.

Какой-никакой прогресс в литературе все-таки существует. Жанры возникают заново либо осознаются как новые, и сочинители пишут, используя особые жанровые возможности. Пометка в томе ахматовских стихотворений: «Стихотворные циклы сохранены только в тех случаях, когда стихи были написаны практически одновременно», — свидетельствует о том, что очень научные работники желают все привести к первобытному состоянию. Каждый наслаждается на особинку. Приятно считать себя умнее Ахматовой, для этого и большого ума не надо.

Джоан КОМЕЙ. КТО ЕСТЬ КТО В ИСТОРИИ ЕВРЕЕВ. М., ТОО «Внешсигма», [б. г.]. Тир. 5000 экз.

Любая книга, особенно справочная, несет отпечаток времени. Он неистребим, но устранимы ошибки, порожденные неведением. В противном случае, если прежде знаменитая энциклопедия заявляла, что Иван Грозный за особую жестокость был прозван Васильевичем, теперь нужный словарь может утверждать, что Бабель за активное сотрудничество с коммунистической властью получил отчество Эммануилович (а сотрудничество это в статье о Бабеле особо подчеркнуто и выделено).

Б. ФИЛЕВСКИЙ



Москвичи и жители Подмосковья могут оформить подписку непосредственно в редакции (ул. «Правды», д. 11/13) по льготной цене:

стоимость подписки на первое полугодие — 90 рублей,
на один месяц — 15 руб.,
на три месяца — 45 руб.

В редакции также можно будет заказать очередной номер журнала по 15 рублей за экземпляр.

Если вы пожелаете оформить годовую подписку, то получите еще одну льготу:

стоимость годовой подписки — 174 рубля.

Телефон для справок: 214-31-23.

Читайте в следующем номере

НОВУЮ КНИГУ СТИХОВ
ЮННЫ МОРИЦ
«ДИВНЫЙ КАКОЙ Я ЗВЕРЬ...»

*Проспи, проспи, художник,
Добычу и трофей!
Иначе, мой Орфей,
Ты будешь корифей.*

*Проспи, проспи раздачу
Лаврового листа,
И бешенство скота,
И первые места.*

*Проспи трескучий бред
Блистательных побед,
Проспи свою могилу
И в честь нее обед.*

*Проспи, проспи, художник,
Проспи, шалтай-болтай,
Проспи же все, что можно,
И всюду опоздай!*

*А катится клубком
За лакомым куском
Пусть тот, кто тем и славен,
Что был с тобой знаком.*

*Проспи, проспи знакомство
Столь славное!.. Проспи.
Пусть кот не спит ученый
На той золотой цепи.*

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*До конца года и в 1999 году
«Октябрь» предполагает опубликовать:*

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Конец второй книги. Книга третья.

Павел БАСИНСКИЙ. **Гражданин мира.** Повесть.

Юрий БУЙДА. **Сумма одиночества.**

Ролан БЫКОВ. **Дочь болотного царя.** Современная сказка.

Алексей ВАРЛАМОВ. **Купол.** Роман.

Игорь ВОЛГИН. **Пропавший заговор.** Достоевский и политический процесс 1849 года. Книга вторая.

Даниил ГРАНИН. **Повесть.**

Бахыт КЕНЖЕЕВ. **Золото гоблинов.** Роман.

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Юнна МОРИЦ. **Книга прозы «Рассказы о чудесном».**

Книга стихов «Дивный какой я зверь...».

Анатолий НАЙМАН. **Любвный интерес.** Роман, фрагмент романа.

Стихи.

Владислав ОТРОШЕНКО. **Приложение к фотоальбому.** Роман.

Олег ПАВЛОВ. **В безбожных переулках.** Роман.

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Рассказы и сказки.**

Евгений ПОПОВ. **Повесть.**

Михаил РОЩИН. **Рассказы.**

Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.

А. Ф. ЛОСЕВ. **«Любовь на земле есть подвиг...»**

А также новые произведения Петра АЛЕШКОВСКОГО, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Юрия ДАВЫДОВА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Лилии ПАВЛОВОЙ, Григория ПЕТРОВА, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Валерия ПОПОВА, Вячеслава ПЬЕЦУХА, Генриха САПГИРА, Людмилы УЛИЦКОЙ, Марины УРУСОВОЙ, Бориса ХАЗАНОВА, Маргариты ШАРАПОВОЙ, Асара ЭППЕЛЯ и др.